

# СУБЕЛЪ

адмирала  
Канариса

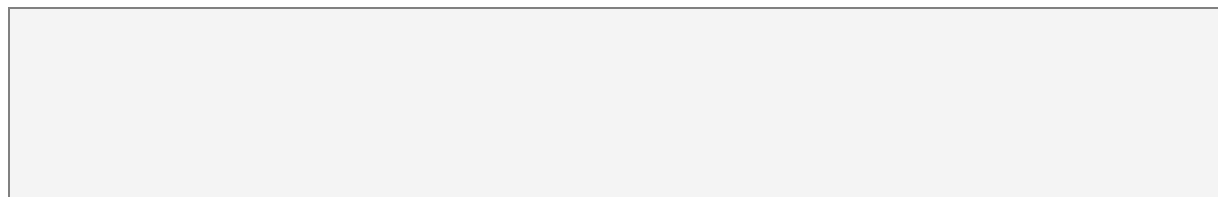
Богдан СУШИНСКИЙ



секретный фарватер

## Annotation

В основу положены малоизвестные события, связанные с деятельностью и гибелью одного из наиболее известных и в то же время одного из наиболее загадочных деятелей Третьего рейха, руководителя военной разведки и контрразведки (абвера) адмирала Вильгельма Франца Канариса, обвиненного в измене и казненного по приказу фюрера буквально накануне капитуляции Германии...



# **Богдан Сушинский**

## **Гибель адмирала Канариса**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Специальный поезд фюрера, направлявшийся из ставки «Волчье логово» в Берлин, медленно, словно бы прощупывая пространство перед собой передними, «противоминными», вагонами, приближался к Одру. Позади в предвечерних сумерках растворялись пойменные, окаймленные чахлыми рощами да перелесками луга Померании, а впереди вырисовывалось холмистое прибрежное пространство какой-то неприметной возвышенности.

Однако всего этого фюрер не замечал. Со смертной тоской в глазах он смотрел в окно, и было в его взгляде что-то от обреченности человека, которого уже нигде в этом мире не ждут и которому все равно, в какие края забросит его предательски безразличная к нему судьба.

Генералы вермахта и чины СС из его ближайшего окружения все еще всячески декларировали свою радость по поводу чудесного спасения при взрыве «бомбы Штауффенберга».<sup>[1]</sup> Вот только в искренность чувств большинства из них Гитлер уже не верил. Они предали его! Все, без исключения, — предали! Все это скопище генералов и фельдмаршалов самым наглым образом отреклось от него — вот что открылось фюреру, как только улеглись пыль и гарь от этого предательского взрыва.

В оценке их предательских отречений фюрер уже отказывался снисходить до отдельных имен, дабы не терзать себя излишними сомнениями, а загонял весь военно-политический бомонд рейха под коллективную, круговую ответственность.

Как эти ничтожества могли позволить себе такое, недоумевал Адольф. Словно это не они еще вчера подобострастно вытягивались перед ним; не они

лебезили, выпрашивая или благодарственно принимая дарованные фюрером Великогерманского рейха чины, должности и награды.

Гитлер нисколько не сомневался, что в эти тяжелые для Германии дни вся верхушка армии, партии, полиции или уже предала его, или же готова предать при первом удобном случае. Просто одни решились на конкретные действия и, сидя в штабах, в течение многих дней планировали его убийство и связанный с ним военно-государственный переворот; другие же на такие действия не решались, однако знали о них и ждали момента, чтобы, уже после гибели фюрера, присоединиться к заговорщикам. Третьи не знали, но догадывались и теперь сожалеют, что покушение «однорукому полковнику» не удалось, а следовательно, фюрерская агония власти продлится еще несколько месяцев.

«Гибель фюрера была бы спасительной и для Германии, и для него самого», — прочел он в одном из представленных ему председателем Народного суда протоколов. В последнее время эта фраза вспоминалась ему тем чаще, чем ярче и убедительнее вырисовывался перед ним ее скрытый, философский смысл. Чтобы остаться в истории нации истинным героем, нужно погибнуть на пике славы, а не тогда, когда уже приходится хвататься за ее обломки, мучительно выясняя для себя **степень** искренности каждого из своих подчиненных — даже тех, кто эту искренность пока еще стремится демонстрировать. А демонстрируют уже немногие. Особенно болезненную подозрительность вызывали у фюрера люди, лично пообщаться с которыми после взрыва он пока еще не успел.

А как же страстно, как по-саdistски мстительно хотелось Гитлеру видеть их перед собой, чтобы «читать» и наизнанку выворачивать их лживые глаза,

их плутовские улыбки, их наглые рожи и червивые, гнилые души!

— Кальтенбруннер прибыл, мой фюрер, — неслышно появился в двери просторного, на полвагона, личного купе Гитлера обергруппенфюрер Шауб.<sup>[2]</sup> Произнес он это, несколько секунд горестно понаблюдав за тем, как Адольф сидит у окна, ссутулившись, наваливаясь тощими локтями на костлявые, нервно подрагивающие коленки и упираясь лбом в вагонное стекло.

Гитлер с трудом оторвал голову от окна, натужно повернулся лицом к адъютанту и едва слышно спросил:

— Что ты сказал, Шауб?

Адъютант набыченно уперся грудью в подбородок — как делал всегда, когда фюрер позволял себе резко прерывать его или, наоборот, вкрадчиво переспрашивать, — и, прочистив голос натужным кряхтением, произнес:

— По вашему приказанию обергруппенфюрер Кальтенбруннер был вызван мною в ставку. Но поскольку обстоятельства сложились так, что он не успел прибыть туда до вашего отъезда...

— А почему он не успел прибыть туда, если получил мой вызов? — не резко, но с откровенной подозрительностью прервал его Гитлер. Он уловил в речи адъютанта явную витиеватость, а ему было хорошо ведомо, что, как только Шауб пытается «ударяться в дипломатию», он либо старается кого-то выгородить, либо, наоборот, «растерзать волей фюрера».

— Обергруппенфюрер и не мог успеть. Распоряжение о прибытии в ставку он получил, не будучи в Берлине, к тому же...

— Почему все они, — упрямо не слышал своего адъютанта фюрер, — исключительно все: Гиммлер, Кальтенбруннер, Шелленберг, Мюллер, Борман... —

позволяют себе опаздывать, когда я срочно приглашаю их в ставку?

— Видимо, так сложились...

— Чем это продиктовано, — все так же медлительно и властно продолжал изливать свои сомнения Гитлер, — а главное, чем оно может быть объяснено?

...Шауб вдруг поймал себя на мысли, что Гитлер говорит сейчас точно так же, как говорил бы на его месте русский диктатор Сталин. Манера общения, манера демонстрации гнева и подозрительности русского обер-коммуниста настолько разительно отличались от обычных манер Адольфа, что не заметить этого подражания попросту невозможно. Причем впадал в это состояние фюрер всякий раз, когда просматривал смонтированный специально для него фильм о «вожде мирового пролетариата». А в последнее время он штудировал его все чаще, заставляя киномеханика ставки завершать этой лентой обычную фронтовую хронику. Что заставляет Гитлера вновь и вновь всматриваться в экранный образ фюрера большевиков — зависть, любопытство, стремление проникнуть в тайну его успеха, в таинство характера и психики? Многие Шауб отдал бы, чтобы получить ответ на этот вопрос.

— Кальтенбруннер, несомненно, предан вам, — поспешил заверить фюрера адъютант, по перечню фамилий уловив, к чему клонит этот разуверившийся в себе и людях, истощенный покушением и порожденным им нервным срывом вождь.

— Откуда тебе знать, Шауб?! — раздраженно проворчал Гитлер, который всегда болезненно реагировал на любые попытки заступиться за кого бы то ни было. Что, однако, никогда не отрезвляло адъютанта. — Тебе-то откуда знать?

Такое отношение к нему фюрера, конечно же, задевало самолюбие Шауба, но он давно успел убедить



себя, что самолюбие с должностью адъютанта несовместимо. Во всяком случае, это не та должность, при которой он имеет право демонстрировать свою гордыню. Хотя и не скрывал, что, являясь одним из зачинателей национал-социалистского движения и пребывая в чине обергруппенфюрера, имеет право на какую-то более солидную позицию в рейхе, нежели положение полуслуги. Пусть даже и самого Гитлера.

Единственное, что удерживало Шауба от роптания, так это все отчетливей проявлявшееся в нем к концу войны чувство опекунской, почти отцовской ответственности за самого фюрера. А следовательно, за все величественное и в то же время хрупкое здание, которое Гитлер сотворил из Германской земли и германского народа и которое теперь уже с трудом, подобно состарившемуся, смертельно уставшему атланту, удерживает на своих согбенных, поникших плечах. Увы!., согбенных и поникших...

— Даже если все остальные отвернутся от нас, мой фюрер, Кальтенбруннер останется преданным, как верный пес. Потому что это... Кальтенбруннер.

— Тогда почему же он позволяет себе не являться по моему приказу?..

— Просто вы слишком неожиданно приказали подготовить свой «фюрер-поезд» и покинули «Вольфшанце», мой фюрер.

Неожиданно даже для гарнизона ставки. Это дезориентирует людей; многие не успевают выяснить, где вы на самом деле находитесь в то или иное время.

Сам Шауб не ощущал какой-то особой приязни к начальнику Главного управления имперской безопасности (РСХА) — грубому и слишком простому, который так и не сумел дотянуться до твердости и влияния своего предшественника Райнхарда Гейдриха.<sup>[3]</sup> Но как адъютант фюрера, он отдавал себе

отчет в том, что Гейдриха из могилы не поднять, а терять такого преданного, неамбициозного шефа службы имперской безопасности, каковым является Кальтенбруннер, непозволительно. Впрочем, теперь для фюрера уже многое становилось слишком непозволительным; вот только жаль, что он все еще упорно не осознавал этого.

— Если Кальтенбруннер опоздал к моему отъезду, если даже не догадывался о нем, тогда откуда он здесь взялся? — вдруг совершенно угасшим голосом поинтересовался Гитлер.

И Шаубу уже в который раз подумалось о том, как непростительно часто вождь оказывается подверженным своим минутным вспышкам гнева и подозрительности и какими страшными последствиями для рейха эти вспышки могут оборачиваться.

— Узнав о вашем отсутствии в ставке, начальник Главного управления имперской безопасности приказал пилоту приземлиться на одном из запасных полевых аэродромов, а затем, пересев в машину, сумел перехватить наш поезд на ближайшей станции.

— Хотите сказать, что полет ему организовал Геринг? — спросил Адольф и, не дав адъютанту времени на ответ, еще более нервно подстегнул его: — Что вы молчите, Шауб?! Почему вы умолкаете как раз в то время, когда мне нужно, чтобы вы, наконец, заговорили?

— Не исключено, что к полету действительно причастен рейхсмаршал Геринг, — пожал плечами Шауб. — Или кто-то из командиров люфтваффе рангом пониже.

— Геринг и Кальтенбруннер? — уже не обращал на него внимания фюрер. — Странная пара. Не знал об этом. И давно эти двое сдружились? — Хищноватый прищур.

— Н-не з-наю, — отчаянно повертел головой Шауб.

— А должны бы знать, — резко осадил его вождь и саркастически скривился. — Хорошо еще, что при Кальтенбруннере не оказалось взрывчатки. Или все-таки прихватил?

— Это исключено, мой фюрер. — Это был юмор протеста и отчаяния, и хорошо, что он остался без внимания.

— Разве кто-нибудь из охраны удосужился заглянуть в его служебный портфель?<sup>[4]</sup> — уныло пробубнил Гитлер, вновь упираясь лбом в прохладное и слегка влажноватое стекло вагонного окна.

— На такое вряд ли кто-либо из охранников решился бы, — покачал головой Шауб.

— Почему не решился бы? Только потому, что он — Кальтенбруннер?

— Но согласитесь: все-таки речь идет о Кальтенбруннере, — бесстрастно признал адъютант. — Слава Богу, кое-какое уважение к высоким чинам рейха у наших воинов все еще осталось.

— А полковника Штауффенберга они не обыскали только потому, что он граф?

— Согласен, мой фюрер. Кальтенбруннер — это одно, но Штауффенберг!.. Уж этого однорукого и одноглазого они попросту обязаны были обыскать.

— Потому и спрашиваю, адъютант: кому нужна такая охрана? При чем такая охрана... фюрера?!

— Меры уже приняты, мой фюрер.

— Эти бездари в эсэсовских мундирах, возомнившие себя элитой вооруженных сил, не способны уже ни воевать за своего фюрера, ни охранять его. Ни на «Лейбштандарт»,<sup>[5]</sup> ни на «Дас рейх» или «Мертвую голову» — ни на кого нельзя положиться!

— ...Что же касается Кальтенбруннера, то он сидел в вагон охраны буквально на ходу, — слегка приукрасил адъютант рвение шефа РСХА, стараясь не

обращать при этом внимания на ворчание фюрера. Он обладал удивительной способностью менять тему разговора, навязывая Гитлеру нужную мысль.

Обергруппенфюрер прекрасно понимал, что, если под подозрение действительно попадут еще и эти трое из верхушки СД и СС, полетят десятки голов из РСХА и штаба рейхсфюрера СС Гиммлера. И, что самое страшное, — голов, все еще преданных фюреру, а их, увы, и так становилось все меньше и меньше.

Шауб никогда не забывал, что он — один из тех, кто начинал вместе с фюрером это немыслимо тяжелое восхождение к вершинам — рейха, славы, арийского духа. Он знал, с какими муками создавалась библия национал-социалиста «Майн кампф»; знал, как вел себя фюрер в камере Ландсбергской тюрьмы, как фанатично он верил в покровительство Высших Посвященных — и как панически боится теперь потерять хоть какую-то толику своей безраздельной власти. Даже не жизнь, нет: больше самой жизни он боится потерять власть! Только она являлась для Шикльгрубера-Гитлера подлинным мерилom личности, высшим критерием человеческого духа и главной ценностью существования.

«Фюрер привык властвовать над всеми нами, и в этом его сила, — раздумывал Шауб. — Однако сам он беспомощен перед силой власти, и в этом его слабость!» С той поры, как Шауб стал личным адъютантом фюрера, в нем жил великий, но пока еще никем не оцененный философ.

Вот уже в течение получаса Канарис<sup>[6]</sup> сидел, откинувшись на спинку кресла, и сосредоточенно, почти ожесточенно разминал нервно вздрагивавшие жилистые руки. Взгляд его при этом был устремлен куда-то в утреннюю серость окна, а подбородок время от времени подергивался снизу вверх, словно адмирал пытался забросить на затылок «копну» давно поредевших, основательно подернутых сединой волос. Это было привычное состояние души и тела стареющего шефа разведки. Теперь уже бывшего шефа...

Когда адмирал нервничал, он не курил, не искал успокоения в рюмке-другой коньяку и уж тем более не метался по кабинету, истаптывая и без того затоптанный «беспородный» ковер, доставшийся ему по наследству от предшественников. Да, по наследству — вместе с этим неухоженным кабинетом на улице Тирпицуфер, 74-76, горой «личных дел» и подборками донесений бездарных по самой своей природе или же давно перевербованных агентов; со всеми теми склоками и подозрениями, которые все напористее умерщвляли абвер висельничными петлями, оскверняя саму святость древнего ремесла разведчика.

Формально новая штаб-квартира Канариса находилась в небольшом, захолустном пригороде Потсдама, однако адмирал не спешил перебазироваться туда — все оттягивал, выжидая, какой будет реакция Гимmlера на его затянувшееся новоселье. Поначалу Канарис словно бы испытывал фюрера и высшее руководство страны на терпеливость и способность смириться с его существованием вне абвера, вне высшего военно-политического командования и уже как бы вне войны. С одной стороны, чисто подсознательно

адмиралу хотелось, чтобы о нем как можно скорее и основательнее забыли, избавляя, таким образом, от подозрений и преследований; с другой — он слишком болезненно, уязвленно воспринимал это забытие, а следовательно, и свою ненужность.

Впрочем, так было лишь в начале его почетной отставки. Изменялись обстоятельства, изменялось и отношение к ним Канариса.

Да, ни руководитель СС, ни сам фюрер теперь уже действительно не обращали на него внимания. Но ведь и сам абвер как самостоятельная организация прекратил свое существование, поскольку его отделы расчленили между подразделениями Главного управления имперской безопасности. Так что теперь и «верховное забытие» начало восприниматься адмиралом как нечто само собой разумеющееся — и уже почти не раздражало его.

Мало того, Канарис вдруг открыл для себя странную, любопытную закономерность: когда он только восходил к вершинам своей карьеры, любое, пусть даже очень кратковременное и кажущееся, забвение представлялось провалом, срывом, трагедией; теперь же, в суеде чистки всего фюрерского окружения, он интуитивно пытался найти спасение именно в этом забвении вождя. Временами ему, старому моряку, хотелось зарыться в ил и замереть там в «зимней спячке», до оттепели военного поражения.

Адмирал взглянул на портрет генерала Франко. Портрет этого кабальеро неизменно висел в кабинете Канариса — с того самого дня, когда адмирал впервые навел вождя фалангистов в разгар гражданской войны в Испании. Да, почти у всех, кому пришлось побывать в этом кабинете, портрет Франко вызывал недоумение: с какой стати?! Тем более что настенный портрет фюрера в этом кабинете так и не появился. Но мнение остальных людей по этому поводу адмирала не

интересовало. Как не смущало и то, что лишь немногие знали: с вождем испанских фашистов Канарис познакомился более тридцати лет назад, когда тот был всего лишь майором. И что именно он, германский морской офицер Канарис по кличке Маленький Грек,<sup>[7]</sup> сумел убедить сначала Геринга, а с его помощью — и Гитлера, чтобы те взяли испанского путчиста Франко под крыло имперского орла.

Когда это происходило — в июне, в июле?.. Кажется, все же в июле тридцать шестого. Фюрер не просто пригласил его на секретное совещание высшего руководства рейха с участием Геринга и военного министра фельдмаршала фон Бломберга, но и попросил доложить о ситуации в Испании. Что и говорить: это было его, адмирала Канариса, время!

Доклад выдался сжатым, предельно насыщенным аргументами, а главное, очень решительным. Фюрер не просто прислушивался к мнению своего оберразведчика, он ловил каждое его слово. Как и Геринг, который, кажется, готов был лично отправиться в Мадрид, чтобы принять на себя командование франкистской авиацией. Даже всегда скрытный и желчный Бломберг, и тот был вынужден признать, что доводы шефа разведки «заставляют задуматься об особенностях дальнейшего германо-испанского сотрудничества»... дипломат недоношенный!

Когда, завершая эту «тайную политическую вечерю», Гитлер заявил, что отныне генерал Франко должен рассматриваться как надежный союзник рейха и ему следует оказать всевозможную военно-политическую, техническую и финансовую помощь, адмирал воспринял это как триумф своей дальновидности. И вместе с Герингом готов был немедленно мчаться на аэродром, чтобы лично разделить радость этого признания с «испанским дуче».

В тот раз с полетом, конечно, пришлось повременить, зато поздно ночью резидент абвера в Мадриде принял по радиосвязи всего лишь одну лаконичную фразу, причем в сугубо испанском духе: «Фиеста была изумительной». Однако этих слов оказалось достаточно, чтобы генерал Франко возликовал: его надежды сбылись! Отныне проблем с финансированием и международной поддержкой его движения не существует!

И после того как Франко оказался во главе покоренной его фалангистами Испании, он не забыл о своем германском друге, который не раз приходил ему на помощь, оставаясь надежным связным между ним и руководством рейха. Как не забыл и о том, что в предоставлении ему пяти миллиардов марок кредита есть заслуга и его, Канариса. Да и германский авиационный корпус «Кондор», успешно противостоявший авиации прокоммунистически настроенных республиканцев, тоже появился в небе над Мадридом не сам по себе... Как и несколько тысяч германских военнослужащих, переброской которых, вместе с вооружением, тоже пришлось заниматься ему — «постепенно и подозрительно испанизирующемуся», как однажды мрачно пошутил Гейдрих, сухопутному моряку Канарису.

Адмирал взял со столика бокал с красным вином и долго всматривался в кровавистую жидкость, словно намеревался утолить душу спасительным ядом. Едва пригубив, Канарис вновь закрыл глаза и блаженно откинулся на спинку кресла. Как и всегда, когда он мечтательно обращался к Испании, в его памяти воссоздавался некий безымянный мыс в заливе Росас, с вершины которого можно было любоваться пенистыми прибрежными банками Коста-Брава. А еще — черноволосая каталонка, миниатюрная, с точеным римским носиком и неподражаемыми очертаниями



бедер — да скромный одноэтажный особнячок, приютившийся в долине, между мысом и окаймленным сосновыми рощицами плато... И всего три дня, на которые он смог уединиться, презрев при этом все посольские дела, утомительно привязывавшие его к Мадриду.

Формально Канарис прибыл туда, чтобы приобрести этот особняк на подставное имя и затем превратить его в явочную квартиру германской разведки. Близость Франции и Андорры, малообжитые места и глубоководная бухта, в которую свободно могли входить подводные лодки, представлялась идеальным плацдармом и для разведки, и для возможных десантных операций. В небольшом городке, на окраине которого располагался его «абвер-особняк», уже обосновалось около сорока германских семейств, и у Канариса родилась шальная идея: постепенно скупить его весь — и германизировать.

Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что в Каталонии созревали гроздья сепаратизма, в соках которого уже бродила идея независимого Каталонского королевства. Группа националистов, обосновавшаяся в Матаро — пригороде Барселоны, упорно искала связи, пытаясь выйти через руководителя абвера на германское руководство. Именно они и подставили Канарису ту некрасивую лицом, но очень жгучую каталонку из герцогского рода, которая безоглядно решила положить свою женскую честь на алтарь возрождающейся каталонской монархии.

Все зашло настолько далеко, что герцогиня даже предложила Канарису стать ее супругом — с тем, чтобы овладеть титулом герцога. Письменная, нотариально заверенная гарантия была бы предоставлена ему сразу же после помолвки. Как оказалось, на нее, сепаратистку, произвел огромное впечатление рассказ сослуживца Вильгельма, морского офицера Франка

Брефта, о переговорах обер-лейтенанта Канариса с президентом Венесуэлы. Как, впрочем, и о его побеге из лагеря интернированных германских моряков на каком-то чилийском островке, и всей той одиссее, которая сотворилась во время его тайного, под чужим именем и поддельными документами, рейда из Латинской Америки в Германию. Очевидно, герцогиня решила, что именно такой супруг способен возглавить — под ее патронатом — национально-освободительное монархистское движение Каталонии.

Поначалу моряк воспринимал все ее порывы то ли как шутку, то ли как прихоть избалованной аристократки. Но уже после разлуки с этой странной сеньорой случайно выяснилось, что герцогиня и в самом деле провела сложные переговоры со своей отечественной и зарубежной родней, а также с двумя приближенными к папе римскому кардиналами. Понятно, что у тех был свой интерес в Каталонии, зато при заключении союза герцогини с Канарисом именно они должны были выступить в роли поручителей.

При этом для герцогини не было тайной, что ее избранник является резидентом германской военной разведки. Однако сепаратистку это не смущало — скорее, наоборот, придавало ему вес в глазах тех ее друзей, которые готовы были пожертвовать всем на свете, только бы однажды проснуться под флагом независимой Каталонии. Словом, операция была разработана с размахом. Вот только оставалось загадкой, кто стоял за ней, кроме герцогини. Была ли она автором этой авантюры или же ее всего лишь использовали?

Кстати, кроме всего прочего, герцогиня позаботилась о том, чтобы ее супругу была выделена рента и обеспечена должность военного атташе в одной из стран. Именно этот ход сразу же вызвал у капитан-лейтенанта подозрение: так вот каким образом

от него захотят избавиться, когда уже не будут нуждаться в его услугах! И еще одно: в свое время у Канариса закралось подозрение в том, что «каталонский проект» стал одним из запасных вариантов для кого-то из очень высокопоставленных лиц в Мадриде на тот случай, если его путь к вершине власти будет решительно прерван.

Проверить все эти сведения Канарис, правда, не удосужился — не до этого было, — но в душе искренне верил им. И верит до сих пор. Слишком уж обстоятельной выглядела в его глазах эта пылкая особа, уже видевшая себя на троне возрожденного при помощи германских добровольцев Каталонского королевства.

Почему он, к тому времени уже закоренелый авантюрист, не решился на столь ослепительную авантюру — этого Канарис объяснить себе так и не смог. Как не смог объяснить и того, почему герцогиня и ее люди так неожиданно быстро и совершенно безболезненно остыли к идее брака и вообще по отношению к его личности. Оскорбительно быстро! При том, что причины и механизм «отката» остались такими же непонятными, как и сам этот «герцогский наскок».

Впрочем, это уже детали. Все прожекты, связанные с воссозданием Великой Каталонии и сотворением шпионской Мекки на берегу Коста-Брава, вскоре развеялись, а сладостные воспоминания трех ночей, проведенных в обществе герцогини Каталонской, как Маленький Грек называл ее про себя, остались в его воспоминаниях навсегда. Они посещали Канариса даже после того, как в его любовницах оказалась одна ослепительная голландка.

«...Однако вернемся к Франко, — сказал себе обершпион, отпивая очередную порцию вина. — И на сей раз каталонскими страстями постарайся не увлечься. Не забывай, что генерал Франко — не только твой спаситель во время войны, но и послевоенный покровитель. Так что пора принимать решение».

Особенно расчувствовался Франко после того, как узнал, что сразу же после «берлинской фиесты» Канарис лично отправился в Италию, чтобы там, вместе с руководителем итальянской разведки генералом Роаттой, склонить на его сторону Муссолини. Это было непросто, поскольку дуче слишком ревниво следил за появлением в Европе еще одного вождя. Он-то считал, что международное фашистское движение должно почитать только одного лидера — Муссолини. Даже Гитлера амбициозный Бенито воспринимал всего лишь как его, «великого дуче Италии», безликую тень.

Встреча, которую генерал Франко устроил затем в Мадриде руководителю абвера, превосходила все ожидания. Но дело не в этом. Все там, конечно, было: и пышные приемы, и случайно оказывавшиеся на его тщательно охраняемой вилле страстные испанки, и инспекционные поездки на передовую, в которые Канарис отправлялся куда охотнее, нежели на очередную загородную прогулку, чем, к слову, очень удивлял Франко...

Адмирал до сих пор помнит контратаку батальона франкистов у Кандел еды, в отрогах горного массива Сьерра-де-Гредос, в котором почти все это подразделение полегло в штыковой атаке на глазах у вождя.

— Вы видели, адмирал?! Вы ведь видели все это своими глазами! Они погибали с тем же презрением к смерти и тем же благоговением к своему полководцу, с какими в свое время погибала французская старая гвардия на глазах у Наполеона! — возбужденно произнес Франко, садясь после окончания боя в свой броневик.

— Внушительное зрелище, — мрачновато признал адмирал, не решаясь напомнить Франко, что тот лишился еще одного своего отборного батальона, не получив при этом никаких доказательств его победы.

— Фюрер должен знать, с каким мужеством мои парни сражаются с русскими, с коммунистами — со всеми теми, с кем германцам еще только предстоит схлестнуться. Знать и по достоинству ценить.

Канарис тогда промолчал. Он видел, что в течение всей этой кровавой штыковой схватки генерал созерцал гибель своих солдат, как если бы созерцал резню гладиаторов на арене Колизея. А потом покинул свою «сенаторскую трибуну», даже не поинтересовавшись, за кем же в конечном итоге осталось поле сражения. Однако подражал при этом не Наполеону, а... Муссолини. Именно Муссолини. И это сразу же бросалось в глаза.

В тот раз адмирал вернулся из Испании с твердым убеждением, что Гитлер, Франко, вожди английских, норвежских, бельгийских, хорватских и всех прочих фашистов — все они, в общем-то, порождены феноменом Муссолини; все, с той или иной степенью бездарности, старались подражать ему...

— Зачем вам это, адмирал? — не удержался Франко, заметив, что при виде кровавого месива, открывавшегося им с небольшого пригорка, на котором остановилась их бронемашина, Канариса едва не стошнило. — Это ведь не ваша война. Так почему бы вам не поберечь нервы?

— Хочу представить себе, как будет выглядеть война, которая станет «нашей», — сдержанно ответил руководитель абвера.

— Здесь, на территории Испании?! — насторожился Франко.

— Скорее всего, Испании она не коснется, поскольку к тому времени в ней окончательно утвердятся вы, наш союзник и единомышленник.

— Вот именно, союзник. Это принципиально важно, принципиально, — взволнованно подтвердил Франко.

— Тем не менее это будет война, от которой нам уже не откреститься, как официально приходится отрешиваться от вашей. Причем отрешиваться настолько, что мы даже предаем суду германских офицеров, осмеливающихся сообщать своим родным, в какую именно страну их отправляют. <sup>[8]</sup>

Тогда, при виде растерзанных тел на берегу речушки, Канариса не стошнило; зато это едва не произошло потом, когда буквально в двух километрах от этой бойни, в ресторане какого-то провинциальном отельчика, Франко устроил «походную фиесту для своего преданного германского друга». И на стол перед ним положили любимое генералом местное блюдо — кусок полусырой, в запекшейся крови, говядины.

...Однако дело не во всей этой визитерской суете. Адмирал терпеть не мог пышных действ, кем бы и по какому поводу они ни организовывались. А вот то, что Франко помнил о его услугах, что, взойдя на испанский «трон», не возгордился и не забыл о скромном шефе германской военной разведки, — это Канарис в испанском диктаторе ценил.

«Так, может быть, теперь самое время укрыться под крылом этого испанского кабальеро? — вновь устало взглянул адмирал на фотографию храброго генерала. — А что, над этим стоит задуматься! Не зря же Геринг

намекнул, что фюрер не решится расправиться с тобой, поскольку опасается гнева Франко. Того последнего правителя, который в роковой час способен укрыть его самого. Можно, конечно, попытаться, но помни, что теперь ты уже не всесильный шеф всесильного абвера. И Франко прекрасно понимает это».

Что ни говори, а фюрер отстранил его от руководства абвером; вся служба военной разведки и контрразведки перешла теперь в ведение Главного управления имперской безопасности, а точнее, под руку Шелленберга. Единственное, что пока что оставалось в его собственном ведении, так это его служебный кабинет.

Назначив Канариса «адмиралом по особым поручениям при фюрере», а также начальником Особого штаба по экономической борьбе с врагами при Верховном главнокомандующем, Гитлер позволил ему временно занимать тот же служебный кабинет, который Канарис занимал, будучи руководителем абвера. Точнее, не запретил ему делать это. Так было удобно всем и во всех отношениях. Впрочем, в восприятии Канариса да и самого фюрера, не говоря уже о Гиммлере, деятельность этого штаба представляла настолько призрачной — а с учетом ситуации на фронтах еще и совершенно бессмысленной, — что по-настоящему создавать его уже никто и не собирался. Тем более что теперь Канарис даже не пытался имитировать некую бурную деятельность.

Он, конечно, получил в свое распоряжение несколько давних агентов абвера, имеющих кое-какое отношение к промышленности вражеских стран. Не прилагая особых усилий, Канарис сумел также завести агентов в нескольких промышленных концернах Германии, используя их в роли контрразведчиков.

Однако дальше этого дело не пошло. Поражение в войне становилось слишком уж очевидным, а

территории рейха и его экономическое влияние столь катастрофически уменьшались, что о развертывании некоей полномасштабной экономической войны против русских или англо-американцев уже не могло быть и речи. Тем более что адмирал и не стремился к этому.

Осваиваясь с этим назначением, Канарис так и сказал себе: «Создавать штаб по экономической войне с «союзниками», сейчас, в середине сорок четвертого?! Бред!» Хотя разве ему впервые было воплощать в жизнь бредовые идеи ефрейтора Шикльгрубера?

И вот теперь всей своей служебной меланхолией Канарис как бы говорил фюреру и прочим недоброжелателям: «Вы хотите видеть меня в должности руководителя этого ничего не решающего, ничтожного штаба? Воля ваша. Я же со своей стороны не стану ни разочаровывать своим усердием, ни убеждать в своем бессилии».

Канарис никогда не забывал, что его бывший непосредственный подчиненный, генерал Остер, все еще томится в подземельях гестапо, а несколько высокопоставленных военных, имевших отношение к заговору против фюрера, уже казнены. Так что же ему еще оставалось, кроме как радоваться каждому дню, проведенному без ареста и приближающему его к спасительному окончанию войны?

— К спасительному... окончанию? — с ироничной мечтательностью пробормотал он. — К окончанию — да. Но спасительному ли?

В последнее время адмирал все чаще заговаривал с самим собой, хотя прекрасно понимал, насколько пагубна для разведчика эта привычка. Еще страшнее и пагубнее, чем болтовня во время сна. А Канарис все еще старался жить по канонам разведки, ритуально придерживаясь тех жестких правил и табу, без которых никто в мире ничего серьезного в разведке не достигал.



Никто, кроме, разве что, Маты Хари,<sup>[9]</sup> позволявшей себе растерзывать само представление о методах шпионажа, конспирации и всем прочем, что составляло «святые папирусы» тайнознания разведки. Во всяком случае, таковой, легендарно незаурядной, она предстает теперь в буйных фантазиях некоторых коллег Канариса; фантазии эти со временем стали появляться и у самого адмирала. Правда, воздействие их всегда было кратковременным и противоречивым, поскольку в действительности насчет этой «постельно-мифической Сирены от разведки» у адмирала было свое собственное мнение, которое он тщательно скрывал. В конце концов, в его деле тоже должны существовать свои мифы и канонические лики. И развенчивать их — последнее дело.

Шауб вышел из купе; едва удерживаясь на ногах при резких качках поезда, преодолел небольшую каморку для охраны, в которой дежурили два вооруженных автоматами офицера СС, и оказался в приемной фюрера.

Кальтенбруннер сидел за одним из столиков и нервно курил, часто поднося дрожащей рукой сигарету ко рту. Он был одним из самых заядлых и неумных курильщиков, каких только некурящему Шаубу приходилось видеть в своей жизни. К тому же адъютант знал, как эта страсть шефа РСХА не нравилась Гиммлеру.

За соседним столиком томились бездельем и неопределенностью три молчаливых армейских генерала, чьи дивизии расквартировывались в Восточной Пруссии, однако они держались особняком, ни в какой контакт с Кальтенбруннером не вступая; а возможно, даже не знали, кто это такой. Фюрер срочно вызвал этих генералов в «Вольфшанце», но сначала не принял их, хотя и отпустить тоже не разрешил, а потом совершенно забыл об их существовании. Время от времени они с надеждой поглядывали в сторону личного адъютанта фюрера, но ему казалось, что это была надежда людей, которым очень хотелось бы, чтобы при этом «вагонном дворе» о них так никогда и не вспомнили.

— Фюрер готов принять вас, обергруппенфюрер, — молвил адъютант и с интересом понаблюдал, как шеф РСХА медленно, неуклюже поднимается из-за своего столика, выпрямляясь во весь свой гигантский рост.

Мощный квадратный подбородок этого человека почти классически соответствовал представлению о его

характере, а сросшаяся с плечами толстая шея точно так же свидетельствовала о его буйволиной силе и тюленьей неповоротливости.

— Что бы он хотел услышать от меня? — вполголоса пробасил Кальтенбруннер.

Шауб мило улыбнулся, поражаясь наивности заданного вопроса «самого страшного человека рейха». А действительно, что фюрер хотел бы услышать от начальника Главного управления имперской безопасности спустя несколько дней после взрыва, прогремевшего в его кабинете?

— Фюрер все еще раздражен, и, как вы понимаете, у него есть на то причины. Слишком уж многие генералы и офицеры оказались предателями или же людьми, не способными противостоять...

— Это понятно, — нетерпеливо перебил адъютанта обергруппенфюрер. — Меня интересует, что ему требуется от меня?

— Не заставляйте меня вещать устами фюрера, господин Кальтенбруннер, — и пергаментное лицо адъютанта стало еще более суровым, чем обычно. — Уже хотя бы потому, что фюрера это может оскорбить.

— Насколько мне известно, — попытался оправдаться начальник РСХА, — обо всех произведенных нами арестах высших должностных лиц рейха Гиммлер ему уже докладывал.

— Прежде всего, фюрер желает убедиться в вашей личной преданности ему.

— Неужели кто-либо может усомниться в этом?! — мгновенно взъярился Кальтенбруннер.

— Лично я никогда не усомнюсь в этом, — вежливо склонил голову Шауб.

— И всё, только вы?! — вдруг совершенно растерялся Кальтенбруннер. — А как остальные? Фюрер, например?

— Как вы понимаете, моего мнения о вашей личности недостаточно.

— Что еще нужно сделать мне как руководителю РСХА, чьи люди только что жесточайше подавили заговор против фюрера, чтобы он не сомневался в моей преданности рейху?

— Оставаться верным фюреру, — не задумываясь, обронил Шауб, вновь на какое-то время выбивая Кальтенбруннера из седла.

Лишь испепелив личного адъютанта суровым взглядом, обергруппенфюрер решился произнести:

— Никто так не предан ему в эти дни, как я. Никто в рейхе! — в голосе руководителя РСХА прозвучала явная обида. — Фюрер может не знать об этом, но вы, лично вы, не знать об этом не имеете права!

— Не сомневайтесь, обергруппенфюрер, уж мне-то известно все, — сурово заверил его Шауб, возрастая в собственных глазах.

— Уж вы-то — не имеете права, Шауб! — не стал вникать в тонкости речей адъютанта Кальтенбруннер. Сейчас он вел себя так, словно палачи уже тащили его к висельным крючьям, вбитым в стене внутреннего двора тюрьмы Плетцензее.

Говорил Кальтенбруннер хотя и громко, но слишком уж невнятно, притом с режущим ухо всякого берлинца австрийским акцентом. Во рту этого служаки большинства зубов уже не хватало; те же, что оставались, источали боль и неистребимый смрадный дух. Не зря Гиммлер — единственный, кто не гнушался делать ему по этому поводу замечания, — уже несколько раз прилюдно требовал от Эрнста всерьез заняться лечением у придворного стоматолога.

Однако всем присутствующим в вагоне было сейчас не до его «духа» и его произношения. Услышав этот рев гиганта со знаками отличия генерал-полковника СС, вермахтовские военачальники панически вздрогнули и

мысленно обратили свои взоры к тому единственному, к кому еще имело смысл обращать его в этой разъедаемой поражениями, заговорами и всеобщей подозрительностью империи, — к Шаубу. В милосердие или хотя бы в благоразумие своего фюрера они уже не верили.

Шауб знал, что, при всей очевидной неприязни к нему со стороны Гитлера и некоторых других высших чинов рейха, Эрнст Кальтенбруннер всегда оставался фанатично преданным национал-социализму и лично фюреру. Причем преданность эта не поколебалась даже после того, как Эрнсту напрочь было отказано в его стремлении стать государственным секретарем имперской безопасности Австрии. С поста которого тот, скорее всего, намеревался со временем взойти на «трон» наместника фюрера в Австрии. А там, кто знает, возможно, и на вполне реальный австрийский имперский трон.

Вот только эти его далеко идущие амбиции в свое время были разгаданы и развеяны еще Гейдрихом, презиравшим Эрнста уже хотя бы за его склонность к буйному пьянству и неисправимую скверность характера. Опасаясь появления еще одного фюрера, на сей раз — в только что присоединенной к рейху, а потому все еще преисполненной сепаратизма Австрии, тот, с одобрения фюрера, ограничил власть Кальтенбруннера всего лишь скромной должностью начальника СС и полиции в Вене. И только в минувшем, сорок третьем году фюрер вспомнил об одном из активнейших участников венского путча и назначил его начальником Главного управления имперской безопасности. С корнями вырвав его, таким образом, из Австрии, стать вождем которой Кальтенбруннер и теперь все еще намеревался.

Вспомнив сейчас об этом австро-имперском зуде, Шауб вдруг подумал: «А разве вождя деленного

устремления австрийца Кальтенбруннера к имперскому трону Вены недостаточно, чтобы привести его в лагерь заговорщиков, которые, конечно же, знают о вожделенных мечтах шефа РСХА? Так почему фюрер не имеет права подозревать его если не в прямом участии в заговоре, то, по крайней мере, в сочувствии заговорщикам или в умышленном бездействии?»

Вот почему, выдержав пронизывающий взгляд карих глаз «венца», личный адъютант Гитлера властно произнес:

— Фюрер имеет право сомневаться в любом из нас, даже в том, в ком абсолютно не сомневается. — А проследив, как отдернулась назад и чуть влево голова Кальтенбруннера, ибо так она обычно отдергивалась всегда в момент его наивысшего удивления, не менее назидательно добавил: — Это все мы, каждый из нас, германцев, не имеем права ни на минуту усомниться в государственной мудрости и преданности нашему делу — великого фюрера.

— И только так, — растерянно пробубнил Кальтенбруннер, оказываясь бессильным против непоколебимой логики личного адъютанта фюрера.

— Или, может быть, вы уже придерживаетесь иного мнения, господин Кальтенбруннер? — все же решил окончательно «додавить» его Шауб. Прибегать к такому прессингу он не только любил, но и мастерски умел.

— У меня никогда не возникало мнения, которое бы расходилось с мнением фюрера.

— Возникало, обергруппенфюрер, возникало, — простецки возразил адъютант. — Когда речь шла о вашей карьере в Австрии. Вспомните: вы решили, что должны стать наместником фюрера в этой стране. В этой... бывшей стране, — исправился Шауб. — Однако фюрер рассудил иначе. У него было свое видение проблемы Австрии.

— Просто Гейдрих испугался, что вскоре я стану истинным правителем Австрии, — мрачно объяснил Кальтенбруннер. И тут же встревоженно спросил: — Неужели Адольф все еще помнит об этом?

— Кому-то хотелось стать наместником в Дании, кому-то приглянулась Франция, а кое-кто уже присматривался к норвежскому «трону», — пожал плечами Шауб, деликатно избегая упоминать о «наместнике Австрии». — А потом вдруг появляется некий однорукий и одноглазый полковник и пытается поднять на воздух ставку фюрера. Пытается или нет? Пытается. А ведь если бы эта авантюра ему удалась, все трое тронюльцев могли бы стать правителями этих стран. Так почему фюрер не имеет права подозревать каждого из них?

— Я не сделал бы ничего такого, что могло бы повредить фюреру, а значит, всему нашему движению. И вы, Шауб, прекрасно знаете это.

— Считайте, что лично меня в этом вы уже убедили, — по-иезуитски потупил глаза Шауб.

— Так и должно было произойти, — воинственно поиграл желваками Кальтенбруннер.

— Меня вы и в самом деле убедили, — повторил адъютант Гитлера, заставив при этом Кальтенбруннера насторожиться, — но теперь попытайтесь убедить в этом фюрера. И, как говорится в подобных случаях, не дай вам Бог оказаться недостаточно убедительным.

Мадрид изнывал от неожиданно сошедшей на него майской жары, и легкий ветерок, с трудом прорывавшийся к непритязательной вилле с предгорий Сьерра-де-Гвадаррама, лишь немного смягчал ее, безмятежно угасая в складках бирюзового балдахина, под которым остывали два разгоряченных тела.

Да, это были минуты их чувственной, любовной сиесты. «И странно, — подумалось Канарису, — что испанцы до сих пор не ввели в своем языке и в своем быту такое понятие, как «любовная сиеста». Впрочем, о «любовной фиесте» тебе слышать тоже не приходилось, хотя, казалось бы... Что такое любовь, как не праздник души и тела?»

— Ты все еще жаждешь меня, милый? — едва слышно проговорила Маргарет, нежно поводя губами по сокровеннейшему из мужских достоинств германского морского офицера.

— Пытаюсь, — в томном придыхании Канариса теперь уже сквозило больше усталости, нежели страсти, однако такие нюансы женщину не интересовали.

— В сексе, как и в танце, нужно жертвенно отдавать всего себя, до самосожжения.

— Я ведь уже сказал вам, что превратить меня в мужчину на одну ночь не удастся, — с едва уловимыми нотками мстительности напомнил ей Канарис. — Я — тот мужчина, который... навсегда. Независимо от того, в каком именно качестве он способен представлять перед вами.

При этом моряк прекрасно осознавал, что за женщина лежит рядом с ним и почему он это говорит.



Вот только саму женщину эти его поучения не интриговали.

Маргарет Зелле, она же Мата Хари, была уверена, что одного прикосновения ее чувственных губ достаточно, чтобы возбудить все, что еще способно возбуждаться, и прекрасно знала, в какое мгновение следует в очередной раз оседлать своего Маленького Грека, чтобы не упустить тот сладострастный момент, когда это еще имело смысл. В конечном итоге Канарис потерял не только счет этим ее забегам страстей, но и способность чувственно воспринимать их.

— Признайся, что, восседая на тебе, ни одна женщина не способна была воспроизводить танец живота с такой самозабвенностью, с какой воспроизвожу я.

— Еще бы: движения профессионалки! Это улавливается сразу, в первые же мгновения близости, — признал Вильгельм.

— Вот именно: профессионалки, — с гордостью подтвердила голландка, не опасаясь, что признание ее профессионализма идет отнюдь не из-за танцевального мастерства.

Маргарет и в самом деле была постельной профессионалкой, для которой тело всякого мужчины, случайно оказавшегося вместе с ней в постели, превращалось в предмет любовных экзекуций. Именно так, экзекуций. Порой в постели Маргарет напоминала самой себе естествоиспытательницу, усердствующую над отданным ей на растерзание очередным мужским телом.

Капитан Коледо, вызвавшийся познакомиться Канариса с Матой Хари, буквально за час до того, как представить германца своей знакомой, сказал:

— Если, не доведи Господь, вы решите связать свою судьбу с этой женщиной, то запомните: нельзя позволять ей растрачивать свои силы на сцене.

— Но это было бы слишком жестоко: она ведь профессиональная танцовщица.

— В том-то и дело, что на подмостках она всего лишь танцовщица, — философски просветил его капитан, — а в постели — богиня.

— Не спорю, вам лучше знать... — скабрёзно ухмыльнулся Канарис.

— Ошибаетесь, — с грустью в глазах молвил Коледо, — мне как раз лучше было бы не знать...

И все же, наблюдая за тем, как самозабвенно эта «колониалка» танцует в небольшом зале отеля «Севилья», улажая сытое благодушие иностранных промышленников, Вильгельм с ним не согласился: наоборот, считал он, нельзя позволять этой женщине растрачивать себя на сексуальные оргии, поскольку на самом деле она создана для театра. И только теперь он вдруг понял, что же на самом деле имел в виду распутный командир 1-й королевской эскадрильи. Впрочем, ни театральные, ни постельные таланты этой голландской провинциалки германского разведчика не интересовали. Лично он собирался выяснить, чего эта танцовщица и фантазерка стоит на поприще международного шпионажа.

Виллу в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларконе, в которой они сейчас развлекались, капитан-лейтенант Канарис содержал за счет германской разведки, однако волноваться по этому поводу Мате Хари было не обязательно. Она уже знала, что ее Маленький Грек является сотрудником германского посольства в Испании, и догадывалась, что, пребывая в должности помощника морского атташе Германии корветтен-капитана фон Крона, тайно занимается вопросами поставок германскому флоту с территорий Испании и Португалии. И то и другое было правдой. Неправда же заключалась в том, что Вильгельм упорно пытался

предстать перед ней в роли преуспевающего германского торговца.

Впрочем, все его потуги явиться ей в образе богатого и щедрого, Маргарет Зелле, дочь голландского шляпочника из Лаувардена, воспринимала с той же долей иронии, с каковой сам Маленький Грек воспринимал ее сбивчивые рассказы о временах, когда где-то в глубине Индии она пребывала в роли храмовой танцовщицы. При этом выводила свою родословную то от английской королевской династии и гордого, однако преследуемого клана некоей индийской княжны; то из рода какого-то воинственного генерала-индуса и некстати подзагулявшей в Ист-Индии голландской аристократки.

В фантазиях своих, как и в откровенной лжи, Мата Хари не знала ни пределов, ни устали. В этом ее уже не раз изобличали, причем порой это происходило в солидных домах, в изысканном кругу и в самой грубой, безжалостной форме. А тут вдруг такой изысканный собеседник, с тонкими наводящими вопросами и с таким воистину щадящим отношением к проколам ее фантазии!

Мата Хари, конечно, понимала — точнее, даже нутром чувствовала, — что Маленький Грек не верит ни одному ее слову. Но поражалась она не его недоверию, а умению выслушивать; не его подозрительности, а стремлению познать логику столь откровенного вранья женщины, постигая при этом тайные порывы, каждодневно побуждавшие ее к этому вранью. Другое дело, что поначалу танцовщице и в голову не приходило, что германец уже испытывает ее на пригодность к шпионской профессии, что он уже видит в ней одну из своих ведущих агенток.

Прежде чем заманить Маргарет под этот бирюзовый балдахин, Канарис успел заполучить из Германии все сведения, которые только можно было собрать об этой

танцорке, исполнительнице восточных, «колониальных» танцев Гаагского королевского театра. И сейчас Око Дня, <sup>[10]</sup> еще вчера выдававшая себя за дочь голландского колониста и работницы с чайной плантации с острова Ява, которую отец продал настоятелю какого-то храма, чтобы тот воспитал из нее храмовую танцовщицу, покаянно доказывала Канарису, что на самом деле ее родила некая английская аристократка, грешившая с недостойным ее положения индусом, принадлежавшим к касте неприкасаемых, и что даже здесь, в Европе, ее, Мату Хари, все еще преследуют индуистские религиозные фанатики... Всего лишь провинциальная лгунья!

Дочь мелкого голландского ремесленника, воспитывавшаяся после смерти матери у дальних родственников, она, бесприданница, в двадцать лет вынуждена была стать супругой сорокалетнего капитана колониальных войск Рудольфа МакЛеода. Да и познакомилась с ним Маргарет по брачному объявлению, понимая при этом, что супруга офицеру понадобилась только потому, что он получил должность коменданта небольшой береговой крепостушки на одном из индонезийских островов и не желал, чтобы детей ему рожала ост-индийская аборигенка.

«Офицер, состоявший на службе на Индийских островах, хотел бы познакомиться с молодой девушкой с целью заключения брака». На что можно было рассчитывать, откликаясь на такое брачное объявление незнакомого мужчины, на двадцать лет старше ее? Знал теперь Канарис и о том, что Маргарет успела стать матерью двоих детей, однако сынишка умер то ли от малярии, то ли еще от какой-то колониальной хвори, а дочь отобрал у нее бывший муж по решению суда. Говорят, он сумел доказать, что Мата Хари ведет образ жизни, недостойный истинной христианки, часто

выпивает, да к тому же множество раз изменяла ему в супружестве. Наверное, ему не так уж и трудно было убедить судей в том, что женщина, зарабатывающая себе на хлеб исполнением каких-то странных тубильских танцев, к благоверным христианам принадлежать не может. Тем более что происходил этот судебный процесс уже в патриархально-богоугодной Голландии, куда бывший комендант крепости, так и не сумевший сделать настоящую армейскую карьеру, вернулся после своего выхода в отставку.

Когда Вильгельм сообщил, что ему известно о судьбе ее детей, Мата оскорбилась.

— Какая беспардонная ложь! — произнесла она возмущенным тоном и прервала любовные утехы.

— То есть на самом деле детей у вас не было? — как можно деликатнее поинтересовался Канарис.

— Почему же не было? Ты что же, считаешь, что я не способна рожать наследников? Кому угодно, даже тебе, Маленькому Греку. — На сей раз это свое «Маленькому Греку» Маргарет произнесла с особым снисхождением.

— В голову не приходило предаваться подобным сомнениям.

— Неправда, ты в этом убежден, поскольку, заполучив мое досье, узнал, что твоя Мата Хари на целых одиннадцать лет старше тебя. Разница в возрасте — вот что тебя шокировало!

В принципе Маргарет была права: во время знакомства он понял, что женщина явно старше его, но даже предположить не мог, что разница в возрасте окажется столь существенной. Однако признаваться в этом не спешил.

— Ваш возраст, Мата, меня не шокирует, — как можно спокойнее и убедительнее произнес двадцативосьмилетний морской офицер. — Мне, моряку, приходилось затаскивать в постель и более...

солидных женщин. К тому же вы все еще свежи, как юная богиня.

— Лжешь ты все... Однако слышать это приятно. И на всякий случай запомни: никакой суд не заставил бы меня отдать свою дочь этому колониальному пьянице и распутнику.

— Считайте, что навсегда убедили меня в этом.

— У меня действительно было двое детей. Было-было! — нервно зачастила она. — Как у всякой порядочной богобоязненной женщины.

— Разве я подверг эту версию сомнению? — вкрадчиво спросил Канарис.

— Вслух не подвергал, однако не поверил. Чутье подсказывает: не поверил.

Канарис внимательно присмотрелся к выражению ее лица: как всегда, оно оставалось красивым и цинично-холодным. После знакомства с Маргарет образ этого полуовального, со смугловатой кожей личика неотступно преследовал Канариса, являясь ему в вечерних и предутренних полубредовых видениях с маниакальной навязчивостью. В ее ангелоподобном лице — с точеным римским носиком, слегка раскосыми, цвета перезрелой сливы глазками и высокими черными бровями вразлет — просматривалось что-то иконостасное; стоило запечатлеть его кистью церковного живописца, и можно было озарять его мифической благодатью любой христианский храм. Впрочем, теперь ореол святости просматривался в этом облике все реже, предательски открывая Канарису свое рисованное кукольное бездушие, припудренное налетом бездумности.

— Хорошо, что это чутье хоть понемногу просыпается в вас, Маргарет. Разведчику оно крайне необходимо. Особенно женское.

— И потом, вы назвали это мое сообщение «версией». Когда женщина говорит, что у нее было двое

детей, то при чем здесь Версия?

— В таком случае, поведайте, почему о своих детях вы говорите в прошедшем времени.

— Потому что их отравила служанка, любовница моего бывшего супруга.

Вильгельм взглянул на нее, как на вещающую с паперти храма городскую юродивую, однако ни один мускул на его лице не дрогнул.

— Отравила-отравила, причем самым садистским, мучительным способом! И не смотрите на меня так. Вы опять не верите мне, Канарис?!

— Не заставляйте меня после каждой высказанной вами версии клясться на Библии, — сухо предупредил ее капитан-лейтенант.

— Ну, как знаете, — мгновенно умиротворилась танцовщица. — История давняя, а шрамы сердца вспарывать не стоит. Тем более — на любовном ложе.

— Пощадим же самих себя и шрамы наших сердец, — оценил ее благоразумие Канарис.

Маргарет лукаво взглянула на него и вновь потянулась рукой к «источнику жизни». Служанка-отравительница и муж-предатель были преданы забвению.

Блаженно закрыв глаза, Канарис какое-то время предавался сексуальным усладам, совершенно забыв о том, что на самом деле встреча с Матой Хари была задумана как вербовочная; секс был всего лишь приложением к той миссии, ради которой он снимал этот особнячок.

Увлечшись ласками танцовщицы, Вильгельм уже решил было, что история о задушенных детях танцовщицы завершена, и был немало удивлен, когда голландка вновь заговорила таким взволнованным голосом, словно разговор их ни на минуту не прерывался.

— Я не заставляю вас клясться на Библии, мой Маленький Грек, но и вы тоже не заставляйте меня колдовать над Святым Писанием. Бог свидетель, что моих детей убила служанка-любовница, эта макака, эта грязная, гнусная тварь, которую я вынуждена была в порыве гнева задушить собственными руками! — и темпераментная тридцатидевятилетняя голландка вдруг разъяренно вцепилась рукой в горло Канариса.

Причем больше всего поразило капитан-лейтенанта то, что даже в порыве артистической страсти второй рукой женщина **продолжала** сжимать «источник жизни», только теперь уже проделывала это с такой силой, словно и его тоже собиралась удушить.

— Глядя на то, что вы проделываете в эти минуты со мной, в вашей способности задушить сомневаться не приходится, — натужно проговорил Вильгельм, не сразу оторвав от горла руку «колониалки» — он так и решил называть ее про себя. Но только от горла.

— И не сомневайтесь.

— Но что-то я не припоминаю, чтобы в вашем досье была запись об отбывании наказания за самосуд. Или, может, в голландском законодательстве подобной статьи не предусмотрено?

— Какой же вы наивный, мой капитан-лейтенант! Ну какой суд решился бы отправить меня за решетку за убийство этой грязной обезьяны? — устало молвила Мата Хари, и только теперь Канарис поверил, что тема действительно исчерпана.

Выслушивая фантазии Маргарет, резидент германской разведки лишь грустновато улыбался. Ни одна из сочиненных женщиной версий на шпионскую легенду не тянула, тем более что пересказывала их Мата с полнейшим пренебрежением к деталям и артистической убедительности. Профессионально исполнять восточные танцы ее, слава Богу, натаскали, а вот профессионально врать — этому капитан-



лейтенанту Канарису еще только предстояло ее обучить.

Как всегда, когда адмирал позволял себе расслабиться, в памяти его начинали всплывать те или иные дни, проведенные с Матой Хари. Он так и не был до конца уверен, что когда-либо по-настоящему любил эту женщину, однако ему было совершенно ясно, что Мата останется — уже осталась! — в его жизни единственной женщиной, которая искренне, до самозабвения была влюблена в него. Впрочем, кто знает; возможно, роль любовницы она разыгрывала столь же талантливо, как и роль непревзойденной разведчицы. Вот именно: роль «непревзойденной»...

Мата Хари уже давно стала одной из легенд мирового шпионажа, но только он, Канарис, знал, что на самом деле все выведенные ею в постели сведения ровным счетом ничего не стоили. Или почти не стоили.

[\[11\]](#) В лучшем случае Маргарет снабжала его отрывочными сведениями, позволявшими Канарису проверять правдивость информации, поставляемой другими агентами.

Адмирал помнил, как многих людей поразили слова главного обвинителя на процессе Маты Хари, которые он произнес спустя несколько лет после того, как танцовщица была расстреляна. «Знаете, — сказал он одному из журналистов, — в деле этой мадемуазель показаний не хватало даже для того, чтобы отстегать кошку». Так вот, Канарис оказался одним из немногих людей, которые улавливали тот истинный смысл, который скрывался за словами прокурора.

Конфликты, время от времени возникавшие между ним и танцовщицей, представавшей перед германской разведкой под кодовым наименованием агент Н-21, как раз и были вызваны тем, что «непревзойденные способности» Маты-Маргарет позволяли ей всего лишь

подобраться практически к любому нужному «источнику» и затащить его в постель. С этой частью задания она действительно справлялась великолепно. Вот только, оказываясь с мужчиной в постели, не в меру темпераментная голландка настолько увлекалась то грубым сексом, то изысканными ласками, что совершенно забывала о своей второй древнейшей профессии.

Примененный Шаубом метод устрашения подействовал настолько, что, представ перед фюрером, Кальтенбруннер ощутил то, что ощущал крайне редко и только в присутствии разгневанного Гитлера, — предательский холодок в мелко подрагивающих коленных чашечках.

«Только бы Адольф не подумал, что я все еще услаждаю себя мечтаниями о великой независимой Австрии! — мысленно взмолился он, не в состоянии избавиться от навязанного Шаубом воспоминания. — Одного этого достаточно будет, чтобы воспринимать меня как личного врага!»

Однако Гитлеру страхи его были неведомы. Он сидел за столиком, крепко сцепив пальцы и глядя в покрытое влажной пленкой окно, и, казалось, даже не заметил появления начальника РСХА.

«Австрия? — самоуспокоительно спросил себя Кальтенбруннер. — Да при чем здесь Австрия?! Мысленно он сейчас под одним из своих Ватерлоо: Сталинградом, Ленинградом или Курском. Впрочем, с некоторых пор у фюрера появилось свое личное, персональное Ватерлоо — ставка «Вольфшанце», под которым он и в самом деле потерпел наиболее сокрушительное и неожиданное для себя поражение. Поскольку нанесено оно было собственными генералами».

Оставшись довольным своими умозаключениями, Кальтенбруннер слегка приободрился и даже взглянул на Гитлера с некоторым сочувствием: что бы там ни думал сейчас о нем «привагонный» служака Шауб, он, как начальник Главного управления имперской безопасности, подобного поражения пока еще не знает.

Только вряд ли в эти минуты фюрер вообще думал о чем-либо конкретном; вполне возможно, что это был момент отрешенного полузабытья, в которое он впадал в последнее время все чаще, предаваясь ему с облегчением человека, радующегося любой возможности вырваться из трясины житейских реалий.

Но как раз тогда, когда Эрнст решил было, что Гитлер настроен слишком благодушно, чтобы пытаться провоцировать его, неожиданно услышал то, что повергло его в изумление:

— Итак, поведайте-ка мне, Кальтенбруннер, насколько глубоко проникли корни измены в вашем Главном управлении имперской безопасности?

Вождь спросил об этом, все еще не отрывая взгляда от окна, спокойным, ровным тоном; тем не менее в голосе его слышались некие зловещие интонации.

— В наших рядах измены нет, мой фюрер, — решительно покачал головой Эрнст, понимая, что наиболее убедительно должны звучать именно эти, первые его слова, которые и определяют ход всей дальнейшей беседы. — И быть не могло.

— Вы и сами в этом не убеждены, Кальтенбруннер.

— Вам известно, мой фюрер, как решительно мы действовали, обнаружив логово заговорщиков в штабе армии резерва генерал-полковника Фромма.

— Неубедительно, — проворчал фюрер, только теперь поднимая голову, чтобы искоса понаблюдать за реакцией Кальтенбруннера.

— Достаточно взглянуть на составленные гестапо списки, приближенных к генералу Фромму, чтобы...

— Когда Фромм понял, что покушение не удалось, — прервал его Гитлер, — он сам принялся истреблять людей, которые еще каких-нибудь полчаса назад были его сообщниками.

— Вы правы, мой фюрер, но...

— Он сам принялся истреблять их, — настаивал на своем Гитлер. — Это обычная тактика заговорщиков. И только благодаря тому, что Скорцени прекратил этот кровавый балаган, нам удалось захватить большую часть подлых предателей, изобличив при этом и самого командующего. Так или не так?

«А ведь Скорцени — единственный, кому фюрер все еще доверяет, — открыл для себя Кальтенбруннер. — Что не так уж и плохо, если учесть, что первый диверсант рейха является моим непосредственным подчиненным».

— Фромм был одним из покровителей заговорщиков — это уже не подлежит сомнению, — еще глуше и невнятнее пробубнил он вслух, благо что его венский акцент австрийца-фюрера не раздражал.

— Но покровителем только той части путчистов, которые пригрелись в штабных кабинетах вверенной ему армии, — парировал Гитлер. — А кто был покровителем тех из них, что обосновались в кабинетах Главного управления имперской безопасности?

— Ни нам, ни гестапо обнаружить хоть какие-то признаки заговора в стенах РСХА не удалось. Убежден, что их и быть не могло. Мюллер тоже убежден в этом, — добавил Эрнст, не будучи уверенным, что шеф гестапо столь же уверенно поддержал бы его.

— Мюллер! — хмыкнул фюрер. — У нас что, теперь так принято — ссылаться на Мюллера, как на Господа? А то, что среди заговорщиков и сочувствующих им оказалось несколько сотрудников гестапо, вам известно?

— Известно, мой фюрер.

Гитлер взглянул на него с явным недоверием, и теперь уже Кальтенбруннеру трудно было понять, что скрывается за этим взглядом: неверие в его информированность или же подозрение в личной неблагонадежности.

— Рейх предали генералы вермахта, — предпринял он последнюю попытку оправдания. — Этот продажный старый генералитет. Причем особо старались тыловые крысы из армии резерва, которые, всячески избегая фронта, решили открыть его в глубоком тылу своей родины. Что же касается войск СС, не говоря уж об РСХА, то они остались верными вам и рейху. И так будет всегда.

Слушая его, Гитлер машинально кивал, однако трудно было поверить, что он действительно убежден в непогрешимости СС.

— И все же я требую, чтобы вы еще раз, самым тщательным образом, прошлись по связям тех путчиков, которые уже изобличены. По любым нитям, которые ведут к любому из ваших сотрудников или агентов.

— Сегодня же мои люди пройдутся по всем связям, которые только возможно будет отследить...

— Причем связям всех сотрудников, без исключения, — врубался указательным пальцем в доску стола Гитлер. — Включая лично вас.

— Даже... меня?! — спросил шеф РСХА, чувствуя, что гортань, словно залитая свинцом, отказывается повиноваться ему.

— Что вас так удивляет?

— Ну, уж меня-то должен был бы проверять кто-либо другой. Не могу же я проверять самого себя! — вскипел Эрнст.

И фюрер понял, что явно перестарался, забыв при этом об особенностях характера шефа СД: как только тот чувствовал, что все возможности оправдания исчерпаны, он не замыкался в панцире молчания и уж ни в коем случае не отступал, а наоборот, становился неукротимо жестким, возрождая в себе непоколебимость.

— Кто-то другой? Кто, например? Мюллер, Шелленберг, Олендорф? Так ведь все они пребывают в вашем подчинении, господин начальник имперской безопасности.

— Но если последует ваш приказ... — из всех сил пытался удержаться в седле Кальтенбруннер, вновь убеждаясь, что выпад против него — не одна из мрачных шуток-нападок Гитлера.

— Пока что пребывают, — многозначительно уточнил фюрер. — Гиммлер к такой проверке тоже не готов, поскольку никогда ничем подобным не занимался. Он вообще никогда ничем не занимался. И я уже, по существу, потерял доверие к нему.

Кальтенбруннер благоразумно промолчал. Он знал, что отношения между Гитлером и рейхсфюрером СС Гиммлером в последнее время стали натянутыми. Однако главнокомандующий войсками СС все еще был слишком сильным и влиятельным, чтобы кто-либо решался открыто выступить против него. К тому же Кальтенбруннер не забывал, что пока еще пребывает в прямом подчинении у Гиммлера.

— В иной ситуации я натравил бы на вас адмирала Канариса со всей его абверовской сворой, — продолжил фюрер, — но ведь вам известно...

— Известно, мой фюрер.

— Кстати, — вдруг прервал Гитлер свою словесную пытку — чем сейчас занимается этот наш абверовский заговорщик Канарис?

Кальтенбруннеру понадобилось несколько секунд, чтобы отойти от нанесенного ему «удара ниже пояса» и привести в систему все, что ему было известно о бывшем шефе абвера. Теперь он мог благодарить случай за то, что лишь недавно поинтересовался его послеарестной судьбой у всезнающего Шелленберга. А еще Эрнст понимал, что переход на личность Канариса — это его спасение. Просто теперь следовало как

можно глубже втянуть фюрера в подробности положения адмирала. Подозрительно неопределенного положения.

— После освобождения из замка Лауэнштейн, где он пребывал под арестом как участник заговора, вы назначили его адмиралом для особых поручений.

— Адмиралом для особых... поручений?! — поразился собственному легкомыслию фюрер.

— Хотя следствие по его делу так и не было завершено.

Кальтенбруннер и сам не заметил, как в голосе его появились обвинительные нотки. «Нет, действительно, как можно было освобождать из-под ареста бывшего руководителя военной разведки, чья причастность к заговору была доказана многими свидетельствами?! Уж не побаивается ли фюрер доводить «дело Канариса» до суда?»

— Не завершено, — с необъяснимой меланхоличностью признал Гитлер, пребывая в эти мгновения в каком-то ином измерении.

— В июне вы уволили его в запас, но затем вернули на службу. С начала июля, насколько мне известно, он все еще возглавляет Особый штаб при Верховном главнокомандующем по ведению торговой и экономической войны против наших врагов.

Гитлер взглянул на Кальтенбруннера с таким удивлением, словно впервые слышал об Особом штабе и вообще о каких-либо назначениях, касающихся опального адмирала. Но потом вдруг взгляд его угас: он все вспомнил — и в очередной раз разочаровался собственным решением.

— Как вы думаете, Кальтенбруннер, адмирал действительно мог принимать участие в непосредственной подготовке к покушению на меня?

«Как же ему не хочется верить в это! — понял вдруг шеф СД. — Многие он отдал бы, чтобы кто-нибудь сумел



убедить его в невинности адмирала. При том, что многих других, в том числе и тебя, готов обвинять вопреки неопровержимым доказательствам преданности и всякому здравому смыслу! Почему так?! Несправедливо!»

... А потом был весенний Париж. Беззаботный и почти не познавший войны, он вспыхивал цветением склонов Монмартра и манил величественными строениями берегов Сены. Все в этом городе — от вечерних бульваров до сладостных предрассветных женщин в отельных номерах — источало такую романтику жизни, прелести которой где-то там, в средневеково-мрачном, пропитанном суровостью фронтовых слухов и безысходностью военной строгости Берлине, даже трудно было себе вообразить.

Канарис специально прибыл в столицу Франции, чтобы повидаться с Матой Хари, но не потому, что все еще безумно увлекался этой женщиной, а потому, что парижский агент, внедрившийся во французскую разведку под псевдонимом Марат, ошеломил его сразу двумя сообщениями, поступившими с интервалом в одну неделю. Первое содержало информацию о том, что его, Канариса, личного агента Н-21 завербовала французская разведка, рассчитывающая, что он будет работать против Германии. Причем пикантности этой ситуации придавал тот факт, что агент Н-21 охотно согласился, однако затребовал за свои услуги миллион франков.

Узнав об этом, Канарис даже не встревожился. И ничего, что сама Мата Хари пока что хранила по этому поводу молчание. Если французам хочется заполучить агента-двойника, он предоставит им такую возможность; а по поводу преступного молчания — основательно разберется с этой паршивкой. Зато второе известие, подробности которого Канарис уточнял у Марата уже там, в Париже, по-настоящему взволновало и даже обозлило его. Оказалось, что, как только

танцовщица заломила за свою вербовку безумную цену, за ней сразу же начали следить... агенты английской разведки МИ-5, занимавшиеся в основном зарубежным дипломатическим корпусом, а также германской и русской агентурой, действовавшей на территории союзников.

У Канариса сразу же закралось подозрение, что французы сами пытались перепродать Мату Хари своим союзникам, чтобы с их участием наполовину сократить собственные расходы. Слишком уж достала их своей жадностью эта жрица элитных салонов. Однако англичане не только не спешили оплачивать парижские похождения стареющей голландской проститутки, но и принялись тщательно отслеживать каждый ее шаг, пока, наконец, не установили, что она встречается с давно засвеченным ими германским агентом, на которого они ловили теперь германские «источники», что называется, на живца.

Прибыв в Париж инкогнито, с паспортом аргентинского торговца, Канарис устроил встречу с Маргарет на одной из известных в городе «квартир для негласных деловых встреч» — в этаким мини-борделе. Именно там, предаваясь греховным утехам, капитан-лейтенант от шпионажа попытался узнать святую правду о французской вербовке из тех же уст, которые с безбожной неутолимостью ласкали его «источник жизни». Однако женщина упорно молчала, даже не догадываясь о том, на какой опасной грани предательства и смертельной игры с тремя разведками сразу она оказалась.

— ...Но, как вы понимаете, — проговорил Вильгельм, когда «храмовая танцовщица» в конце концов оставила в покое его безжизненно увядший объект развлечений, — я прибыл сюда не ради наших постельных экзальтаций.

— Еще пару лет назад подобное признание повергло бы меня в ярость, — и танцовщица припала к бутылке шампанского прямо в постели.

— Что же произошло?

— Мудрею, мой капитан-лейтенант, мудрею.

— И в чем же это проявляется? — усомнился в подобной трансформации Канарис.

— С годами я стала настолько мудрой, что после вашего неуважительного постельного признания даже не снизойду до упреков.

— И как давно постигло вас это благоразумие? — Сидя в постели, он следил, как пенистая струйка шампанского прокладывала себе путь от подбородка вниз, растекаясь по жировым складкам полнеющего живота и рыжеватым лобковым зарослям.

— С годами я стараюсь умнеть.

— Насколько, чтобы и самой предаться покаянным признаниям?

— Это ты о чем, милый? — беспечно поинтересовалась голландка, поудобнее укладывая копну своих длинных черных волос на его бедре. — Неужто о моих невинных парижских прегрешениях? Так ведь после каждого из них я регулярно исповедуюсь перед приставленным ко мне тевтонцем. И сведения, которые ты получаешь...

— ...Никакого интереса для германской разведки не представляют, — жестко осадил ее Канарис. С интимной частью встречи было покончено, и теперь рядом со шпионкой-танцовщицей находился ее работодатель, ее босс.

— Шутить изволите, мой капитан-лейтенант? — спокойно Восприняла эту его «иглу под ноготок» Маргарет.

— Какие уж тут шутки! Ни военные, ни политики ничего достойного внимания в ваших донесениях, как правило, не находят. Все на уровне великосветских

сплетен. Забавных, любопытных, но в военно-политических делах совершенно бесперспективных. Хотя вы уже трижды проходили самый тщательный инструктаж.

— Сладострастные минуты ваших инструктажей я постараюсь запомнить до конца своих дней...

— Советую серьезнее отнестись к тому, о чем мы с вами сейчас беседуем, — холодно предупредил ее германец.

Маргарет на минутку приподняла голову и, скосив свои бирюзовые глазки, выжидающе посмотрела на Канариса. Он, понятное дело, слегка темнил: кое-какая полезная информация сквозь ее агентурные словеса все же просачивалась. Однако женщина поняла, что ставки ее в германской разведке начали резко падать.

— Может, вы даже хотите отказаться от сотрудничества со мной? — с вызовом поинтересовалась она.

— Вас такая перспектива уже... не тревожит?

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Рассчитываете, что вами заинтересуется одна из разведок противников Германии?

Канариса уже начинало раздражать то, что Мата Хари пытается скрыть от него французскую вербовку. К тому же он понимал, что в эти минуты она успокаивает себя как раз тем, что сумела подготовить «запасной аэродром». По своей наивности она не могла понять, что просто так, хлопнув дверью, уйти из германской разведки ей никто не позволит.

— Если только я разрешу заинтересоваться своими возможностями, — самоуверенно ответила Мата Хари. И, пораженный ее наглостью, Канарис едва удержался, чтобы не спросить: «А что, французской разведке вы этого все еще не разрешили?» Но вместо этого произнес:

— Слишком уж радужным кажется вам будущее, мадам. — Стоит ли так убийственно заблуждаться? Подчеркиваю: так убийственно...

— Прежде чем мы продолжим разговор, я хочу знать ваши намерения. Поэтому ответьте на мой вопрос: вы намерены продлить контракт со мной?

Канарис мрачно ухмыльнулся: «Боже мой, в каком мире она сейчас пребывает? «Продлить контракт»! Она что, в самом деле считает, что в разведке работают по временным контрактам, а резиденты выступают в роли импресарио, с которыми можно сотрудничать до тех пор, пока тебе не предложили более выгодные условия гастролей?!»

Он поднялся, несколько минут постоял под душем, вода в котором была чуть-чуть теплее, нежели в обычном кране, и по-армейски быстро оделся. Все это время Маргарет продолжала возлежать на широком приземистом ложе их «последней любви», с бутылкой шампанского в руке, которую она держала двумя пальчиками за горлышко, точно так же, как еще несколько минут назад держала половой орган своего мужчины.

— Вы — шпионка, Маргарет, — вполголоса произнес он, склонившись над ней и старательно застегивая рубаху, которую не успел заправить в брюки. Двое его агентов тщательнейшим образом проверили эту комнату, чтобы убедиться, что никакого устройства, которое бы позволяло подслушивать разговоры ее постояльцев, здесь нет.

— Мне-то казалось, что я танцовщица...

— Вы — шпионка, миледи. А соглашение о шпионаже — это на всю жизнь. Это покер профессионалов, при котором уйти из-за стола можно, только покончив жизнь самоубийством.

— То есть вы хотите сказать?..

— Я хочу потребовать.

— Даже потребовать? И что же вы хотите потребовать, Мой... скорее лейтенант, нежели капитан? — уже с явным вызовом поинтересовалась Маргарет. Она все еще не понимала, что постельные — как и все прочие — игры кончились и что язвительность ее никакого впечатления на Канариса не производит.

— Чтобы завтра же вы обратились в английское посольство и попросили разрешения отбыть на гастроли в Лондон.

Маргарет ожидала какого угодно требования, только не этого. Лицо ее сразу же просветлело, глазки заблестели. Она вновь готова была ласкать своего Маленького Грека до его полного изнеможения.

— А что, гастроли в столице туманного Альбиона... Разве не об этом вы мечтали в последние годы, утверждаясь на европейских подмостках в роли исполнительницы ритуальных восточных танцев?

— Не будем касаться моих мечтаний, — томно вздохнула Мата Хари. — Однако предложение меня уже заинтриговало. Не пойму только, почему вы потребовали добиваться поездки в Лондон?

— Не забывайте, что все еще идет война, — проворчал Вильгельм, не желая прибегать к пространным объяснениям. — В такие времена все предельно обострено.

— Допускаю. Только меня, популярную танцовщицу, военные строгости вряд ли должны коснуться. Мне давно хотелось совершить турне по Великобритании.

— Вы об этом как-то обмолвились.

— Не припоминаю, не припоминаю; но то, что вы угадали мои мечтания, — факт. Только для начала нужно договориться с каким-нибудь импресарио, который согласится организовать мое турне.

— Когда у вас будет разрешение на въезд в Англию, вопрос с вашими гастролями мы попытаемся решить сообща.

Требовать от агента идти в английское посольство действительно не следовало бы. Это был явный прокол. Маргарет пока что не догадывалась, что Канарис уже знает о слежке за ней английской разведки, и попытка получить английскую визу станет проверкой реакции англичан на готовность принять на своих берегах германскую шпионку.

— В Англии все еще остается множество людей, чья судьба связана с королевскими колониями. Уверен, что ностальгия погонит их на ваши концерты индийских храмовых ритуальных танцев, заставив забыть о традиционной английской скупости.

— К чему излишнее многословие, моряк? — сладострастно икнула Маргарет, едва не задохнувшись от большого газо-пенного глотка шампанского. — Вы решили, что следующая наша ночь должна пройти в Лондоне? Как мило! Не возражаю. С условием, что ваша служба возьмет на себя оплату моего переезда от Парижа до Лондона, а также часть гостиничных расходов.

— Опять вы о деньгах... — осуждающе покачал головой Канарис. — Несolidно, госпожа Зелле.

— Не желаю слышать это гнусное «Зелле», — капризно поморщила носик танцовщица. — Вам прекрасно известно, что меня зовут Мата Хари.

— Осмелюсь напомнить вам, госпожа Зелле, что мы не в театре, и ваши сценические имена меня не интересуют.

— Кому, как не вам, помнить, что Мата Хари — не только мое сценическое имя, но и сакральный словесный символ, некий небесный код. Когда я принимала это имя, которое переводится как Свет Утренней Зари, или Око Дня, то прошла путь полного духовного очищения в одной из наибольших и древнейших святынь...



— Остановитесь, госпожа Зелле, — сурово прервал ее капитан-лейтенант, зная, сколь пространно она способна излагать одну из своих легенд. — Пощадите себя и меня.

— С условием, что впредь вы будете называть меня Матой **Хари**, только Матой Хари, **и** никаким иным именем.

Канарис никогда не забывал, что Маргарет терпеть не могла, когда ее называли госпожой Зелле, но уже не раз пользовался этим ее неприятием как надежным, безотказным раздражителем.

— Вчера вы получили вполне приличную сумму... госпожа Зелле, так что советую поумерить свои амбиции.

— Но ведь это же гонорар за мои прошлые услуги. А речь идет о предстоящих гастролях в далекой стране, которые в мои планы не входили.

Капитан-лейтенант знал, что она потребует денег, и не сомневался, что эти деньги он найдет, но его и в самом деле раздражала меркантильность Маргарет, которая достаточно хорошо зарабатывала и сомнительные услуги которой германская разведка неплохо оплачивала. Не говоря уже о том, что в Париже она прожигала жизнь на средства состоятельных любовников.

— Надеюсь, вам не придет в голову затребовать с меня миллион франков?

Только теперь Маргарет по-настоящему насторожилась, и Канарис почувствовал это. Он давал ей шанс признаться в том, что ее перекупили. И если бы она сделала это сейчас, возможно, Вильгельм не стал бы настаивать на скором отъезде в Англию.

Поход Маты Хари в английское посольство действительно нужен был ему только для проверки. Если англичане разоблачили танцовщицу как германскую шпионку, они не позволят ей

гастролировать по своей стране. Маргарет Зелле все еще оставалась подданной голландской короны, в этой войне не участвующей, нейтральной; к тому же речь идет об известной актрисе. Вряд ли англичане захотят омрачать свои отношения с Голландией и вызывать недовольство у европейской артистической богемы арестом столь известной актрисы.

— С вас миллион франков я не потребую, — почти по слогам произнесла Маргарет. — Тем более что я не давала повода обвинять меня в чрезмерности финансовых амбиций.

— Всего лишь поинтересовался вашими финансовыми интересами. А что касается денег, то вы получите их, как только поступит разрешение английских властей на ваши гастроли.

— Что-то вы темните, моряк.

— Когда вопрос касается оплаты агентов, я становлюсь прямолинейным и обязательным.

— Теперь я уже не о деньгах. Говорите прямо: предполагаете, что могут возникнуть проблемы с моим въездом в Англию?

«Оказывается, она не так глупа, — подумал Вильгельм, — как могло бы показаться, глядя на то, что она творит в постели».

— Ну какие еще проблемы? — поморщился он. — Неужели кому-то могло бы прийти в голову подозревать вас в шпионаже? Не вижу для этого каких-либо причин. А вы?

Маргарет поднялась и, так и не набросив на себя халатик, важно прошествовала мимо Канариса в ванную.

— Что-то скрывается за этим вашим «лондонским заданием», моряк, какой-то подвох. Вот только не могу понять, в чем он заключается.

— В полном отсутствии какого-либо подвоха, — соврал капитан-лейтенант. — Просто идет война, и

Германии важно Знать, что по этому поводу думают в аристократических, и прежде всего в армейских, кругах Лондона. Только-то и всего. А для вас это еще и возможность завоевать сердца лондонцев, стать популярной и по ту сторону Английского канала.

...Но, даже внутренне взорвавшись этим своим «Несправедливо!», Эрнст Кальтенбруннер не решился открыто подтвердить подозрение фюрера. Не из благородства, нет, и уж, конечно же, не из желания спасти адмирала, которого всегда недолюбливал. Единственное, что сдерживало его сейчас, так это обостренное, до чиновничьего инстинкта доведенное чувство самосохранения. Стоит ему поубеждать фюрера в том, что Канарис, «сам Канарис», тоже входил в число руководителей заговора, — и ничто уже не сможет удержать диктатора от мысли, что адмирал действовал заодно с шефом СД. Который пытается избавиться сейчас от бывшего руководителя абвера, как еще совсем недавно избавлялся от своих сообщников генерал-полковник Фромм.

— Вряд ли он разрабатывал план подготовки взрыва в «Вольфшанце», — вкрадчивым голосом излагал свое понимание ситуации Кальтенбруннер. — Сомневаюсь даже в том, что он был осведомлен об операции полковника фон Штауффенберга.

Брови фюрера вновь поползли вверх.

— Кто же тогда руководил полковником Штауффенбергом? Кто готовил всю эту операцию?

— Сам полковник. Это была его идея.

— Хотите сказать, что этот однорукий и одноглазый уродец самостоятельно сумел спланировать и провести такую операцию?

— ...Которую, в общем-то, трудно назвать сложной, — неосторожно возразил Кальтенбруннер.

— При такой технической подготовке? — помахал фюрер перед своим лицом указательным пальцем.

— Изготовить мину мог кто-либо из известных ему пиротехников, а доступ к ставке у него был.

— Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, — раздраженно хлопнул ладонью по столу Гитлер. — Речь идет не только о самом покушении. Следует иметь в виду организацию широкого заговора с целью свержения власти и разрушения рейха.

— Понимаю-понимаю, мой фюрер. Я всего лишь хотел уточнить. Кое-кто из генералов, некий узкий круг лиц, действительно знал о предстоящем покушении, но уверен, что готовил его и разрабатывал план проникновения в «Вольфшанце» с миной в портфеле сам Штауффенберг. А вот кто его вдохновлял, гарантируя осуществление государственного переворота... Конечно, полковник поведал бы нам об этом подробнее, если бы только генерал Фромм не поспешил со своим преступным самосудом.

— Генерал Фромм, — проскрипел зубами фюрер. По выражению его лица видно было, как ему горестно и противно вспоминать об этом человеке. — Однако самым заговором этот негодяй не руководил. Нет, только не Фромм. Этот не способен. Знал, догадывался, выжидал, молчаливо поддерживал — да, согласен...

Услышав это, Кальтенбруннер хищно улыбнулся: вот теперь самое время пройтись «ударом кобры» и по адмиралишке.

— Точно так же выжидал и наш Канарис.

— Да не был этот... Канарис руководителем, — появилась на лице фюрера гримаса презрения. — Уже хотя бы потому, что не способен планировать подобные операции или вообще кем-либо руководить.

— Типичный кабинетный оппозиционер, — в тон ему, заискивающе подыгрывая, произнес шеф СД. — Такой склонен ворчать, настраивать людей; в пику существующей власти выдавать какую-то информацию нашим врагам. Но он не диверсант, он не способен хоть

на какое-то участие в покушении. Что, однако, не оправдывает его как одного из руководителей заговорщиков, — поспешно добавил Кальтенбруннер, встретившись с недоверчивым взглядом фюрера.

— Вот именно, не оправдывает, — проворчал фюрер и, по-старчески пожевав челюстями, незло проворчал: — Поэтому арестуйте его, Кальтенбруннер.

— Арестовать?! — опешил шеф РСХА. — Прямо сейчас? Это... приказ?

— Такого человека оставлять на свободе нельзя, слишком уж много у него связей и слишком уж велика опасность того, что он попытается скрыться, — усталым голосом проговорил Гитлер.

Обергруппенфюрер прокашлялся и взволнованно переступил с ноги на ногу, словно собирался уходить, но никак не мог решиться.

— Что должно послужить основанием для его ареста? — задавая этот вопрос, начальник РСХА отдавал себе отчет в том, что именно его слова послужили толчком для принятия фюрером решения вновь взять адмирала под стражу.

— Моего приказа уже недостаточно, чтобы арестовать Канариса?! — изумился Гитлер.

— Вполне достаточно, особенно если это уже... приказ.

— Тогда в чем дело?

— Я всего лишь говорил о какой-либо юридической зацепке. Но поскольку последовал ваш приказ, мой фюрер...

Кальтенбруннер направился к двери и уже готов был покинуть личное купе-кабинет фюрера, когда тот вдруг остановил его.

— Пожалуй, вы правы, Кальтенбруннер.

— В чем, простите? — спросил обергруппенфюрер, опасаясь, как бы Гитлер не увлекся своим красноречивым молчанием.

— Мы уже арестовывали адмирала, обвиняя его в измене, но затем освободили. Поэтому стоит внимательно изучить протоколы допросов тех, кто проходил по делу «Черной капеллы», или же усилить во время допросов натиск на тех, кого еще не успели казнить. Основательно усилить.

— Усилим. Я прикажу Мюллеру... — назвав это имя, Кальтенбруннер осекся и внимательно присмотрелся к выражению лица Гитлера, пытаясь выяснить, как тот относится к шефу гестапо, доверяет ли? Но, так ничего и не выяснив, произнес: — К следователям гестапо мы подключим людей из СД.

— Чтобы те следили за гестаповцами?

Кальтенбруннер так и не понял, было ли это сказано в шутку или же фюрер и в самом деле не уловил смысла его обещания.

— В этом пока что нет необходимости, — ответил он, чтобы снять подозрение. — Просто так будет надежнее. И был немало удивлен, когда в ответ услышал:

— Не забывайте, что в вашем подчинении находится СД. Самое преданное, что у нас с вами осталось.

— Мне ясна ваша мысль, мой фюрер.

— Кстати, не упускайте из виду и то гнусное дело, которое связано с «чайным салоном фрау Зольф».<sup>[12]</sup>

— Там может всплыть много интересного, — неуверенно пробормотал Кальтенбруннер, хотя имел весьма смутное представление об этой группе аристократов-оппозиционеров, судьбами которых занималось исключительно гестапо.

— Нужны какие-то новые факты, которые бы оправдывали арест бывшего руководителя абвера.

— Эти факты будут, мой фюрер.

— Как вы помните, дело о предательской деятельности адмирала Канариса и других служащих абвера открыл еще ваш предшественник Рейнхард

Гейдрих. Но тогда многими это воспринималось как соперничество двух руководителей и двух организаций. Теперь же мы видим, что покойный Гейдрих очень тонко уловил сущность адмирала.

— Я лично ознакомлюсь с делом «Черной капеллы» и связанными с ним людьми, мой фюрер.

— Однако сам арест и разбирательство по делу адмирала действительно лучше всего поручить Мюллеру, его гестапо.

— Именно это я и намеревался сделать, — соврал Кальтенбруннер с чувством признательности фюреру и за то, что в конечном итоге он отказался от своих подозрений относительно него, и за то, что позволил свалить эту миссию на гестапо. Присоединяя к имеющемуся в его записной книжке «списку арестованных по делу о покушении на фюрера» всё новые и новые имена, причем имена людей хорошо известных не только в армии, но и во всей Германии, Кальтенбруннер и сам в последнее время чувствовал себя все более неуютно. «Снаряды ложатся все ближе!» — вот что он понимал, задумываясь над каждой новой фамилией изобличенного. Так что сегодняшняя встреча с фюрером в какой-то степени разрядила его нервозность.

— Дайте возможность шефу гестапо еще раз доказать свою преданность рейху, — в такт каждому своему слову, едва сдерживая дрожание головы, кивал Гитлер.

— И мы предоставим ему такую возможность, мой фюрер.

Сообщить Мюллеру о новом задании фюрера он решил, не дожидаясь прибытия в Берлин. Причем делал это с внутренним сладострастием: ведь еще вчера ему казалось, что в натиске против него Гитлер использует именно его, гестаповского мельника.<sup>[13]</sup> Войдя в купе к



радистам, он приказал немедленно связаться по рации с управлением гестапо.

Шеф зарубежной политической разведки Главного управления имперской безопасности бригадефюрер Вальтер Шелленберг<sup>[14]</sup> уже почти закончил довольно неофициальную беседу со своим подчиненным, гауптштурмфюрером СС бароном Адрианом фон Фёлькерсамом,<sup>[15]</sup> на тему мистической экспедиции в Тибет, возглавлять которую должен был сам Отто Скорцени. Шелленберг уже давно поглядывал на дверь кабинета Фёлькерсама, ожидая момента, чтобы уйти к себе, а хозяин помещения, изрядно наговоривший всякого в ходе беседы, теперь начал побаиваться своей собственной смелости и стремился оправдаться постфактум.

— Будем надеяться, что моим мнением по этому поводу фюрер попросту не поинтересуется. Как, впрочем, и Гиммлер. А следовательно, мое мнение останется сугубо между нами, бригадефюрер.

После этих слов барон имел право рассчитывать на хоть какие-то заверения Шелленберга в молчании, но вместо этого услышал:

— ...Не говоря уже о том, что оно может не понравиться также Кальтенбруннеру.

— Да мало ли кому, — раздраженно признал Фёлькерсам.

— И Мюллеру, — указал Шелленберг на того, кто в любом случае не побрезгует поинтересоваться мнением даже такого «винтика», как гауптштурмфюрер Фёлькерсам.

— Им обоим не понравится, в этом я убежден, — мужественно признал барон-диверсант. И в то же время с надеждой взглянул на Шелленберга.

— Это я к тому, чтобы ваши сомнения не становились предметом обсуждения в... ну, скажем, в широких диверсионных кругах. Иначе я не смогу прийти вам на помощь.

На сей раз барон взглянул на шефа с усталостью и обреченностью во взгляде, и коричневатые мешочки под его близоруко щурящимися глазами — Фёлькерсам упорно не хотел мириться с необходимостью прибегать к помощи окулистов — налились коричневатой желчью сожаления, если не обиды.

«... И не пришел бы, даже если бы мог, — мстительно молвил он про себя, — для этого ты слишком труслив».

Больше всего Фёлькерсама поражало то, что, при всей своей трусости, Шелленберг позволяет себе запугивать его. Хотя в принципе такое поведение бригадефюрера мало кого удивляло. «Красавчик», как обычно называли Шелленберга во все тех же «широких диверсионных кругах», всегда обладал удивительной способностью осаждать своего собеседника с ангельской непорочной улыбкой на действительно красивом личике. Но от этого наскоки его не становились менее досадными.

— С благодарностью принимаю ваше предупреждение, бригадефюрер, — произнес барон, после чего наступила томительная, двусмысленная пауза.

И когда Шелленберг вдруг сказал: «Поднимите же...» — барон не сразу уловил, что это относится к трубке телефона, на жужжание которого он поначалу решил не обращать внимания. Исключительно из уважения к высокому гостю.

Становиться свидетелем этого телефонного разговора бригадефюрер не собирался, да и тема их встречи была исчерпана. Во всяком случае, он так считал.

Шелленберг уже взялся за дверную ручку, но, заметив, что Фёлькерсам застыл с удивленно вытянутым лицом и ошарашенно смотрит на него, задержался у двери.

— Так точно, внимательно изучил, — донеслось до начальника разведки СД, после чего он тут же прикрыл перед собой дверь.

— Кто? — едва слышно поинтересовался Шелленберг.

— Да, это верная информация, — то ли не расслышал его вопроса, то ли попросту не обратил на него внимания Фёлькерсам.

И такое его поведение еще больше заинтриговало бригадефюрера. Оставив в покое дверь, Шелленберг начал медленно, крадучись, словно побаивался, что на той стороне провода расслышат скрип половиц под его сапогами, возвращаться к столу.

— Никак нет. Знакомлюсь с материалами, касающимися предстоящей экспедиции в Шамбалу. По личному приказу Скорцени. Бригадефюрер Шелленберг? — ошарашено взглянул Фёлькерсам на шефа разведки СС. — Да, он действительно все еще здесь. Мы с ним обсуждали ход подготовки к экспедиции и нашу связь с сотрудниками института «Аненербе».<sup>[16]</sup>

— Кто это? — теперь уже открыто подался к телефону Шелленберг. — Неужели Кальтенбруннер?

— Мюллер, — едва слышно проговорил барон, по-школярски пожимая плечами.

— Мюллер?! — искренне удивился бригадефюрер.

— Как это ни прискорбно, — едва слышно проговорил барон.

— Ладно, давайте трубку, — пробурчал Шелленберг, а затем уже довольно громко (все равно Мюллер не мог

догадаться, о чем идет речь) напомнил барону: — И хорошенько подумайте над тем, что я вам посоветовал.

Некстати оживший телефон с трудом вырвал его из состояния «служебной нирваны», но и после этого Канарис дотягивался до трубки, словно новобранец — до раскаленного снарядного осколка.

В последнее время, после всех тех арестов, которые последовали в связи с июльским покушением на фюрера, он возненавидел телефон, воспринимая его чуть ли не как самое подлое изобретение человечества. Все то, самое страшное, что ему в ближайшее время надлежало услышать, неминуемо должно было прийти из телефона. Вот почему по-настоящему защищенным шеф военной разведки и контрразведки чувствовал себя, только когда оказывался недостижимым для его погребального звона.

— Адмирал, старина, вы можете принять меня?

— Простите, с кем имею честь? — как можно чопорнее поинтересовался Вильгельм Канарис, держа трубку не возле уха, а прямо перед собой, словно разговаривал по корабельному переговорному устройству.

Человек, который должен был объявить ему об аресте, не мог так заискивающе просить у него аудиенции. Впрочем, кто знает? Кому не известно, как начинает свои вежливо-иезуитские допросы Мюллер?

— Капитан Франк Брефт, если только вы еще помните старого краба, адмирал. Теперь я уже фрегаттен-капитан,<sup>[17]</sup> однако корма моя от этого шире не стала, и с осадкой тоже все в порядке.

— Брефт? — лишь предельная усталость да еще гнетущее предчувствие чего-то неосознанного, но уже вполне реально надвигающегося на него, не позволили

шефу абвера сполна выразить свое удивление. — Это действительно ты?!

По традициям германского флота, в общении между собой морские офицеры очень быстро переходили на «ты», даже несмотря на разницу в чине. Это было проявлением того особого доверия, особого духа товарищества и морского братства, без которого выходить в море, с его опасностями, под одними «парусами» просто невозможно.

— Мне уже и самому с трудом верится, адмирал. Но недавно я вновь поднял перископ, сурово осмотрел акваторию своей жизни и решил, что все-таки стоит, решительно стоит потревожить старого служаку Канариса.

— Вот уж не ожидал, что ты еще когда-либо объявишься.

— Решили, что давно ржавею на морском дне? — Канарис давно оставил флот, поэтому в общении с ним перейти на «ты» фрегаттен-капитан Брефт не решался.

— Ну, столь глубоко в трюмы твоей судьбы я не проникал, — уклончиво ответил Канарис, чтобы удержаться от более правдивого ответа — что он уже целую вечность вообще не вспоминал о Брефте; просто ситуация вокруг абвера складывалась таким образом, что было не до него.

Да, целую вечность. В свое время Брефт слыл одним из наиболее перспективных агентов абвера, работавшим и на разведку, и на контрразведку И если в разведке он не блистал, то контрразведчиком был от Бога. Понятное дело, что еще до недавних пор кто-то из управления абвера вел его, получал от него сведения, однако самому Канарису в последнее время было не до этого.

— Не стоит оправданий, адмирал, — молвил тем временем Брефт.

— Это не оправдание, — ужесточил тон адмирал, давно привыкший к тому, что это перед ним все оправдываются, причем в большинстве случаев — безуспешно.

— Я и сам понимаю, что пора открывать кингстоны и ложиться на грунт. Непростительно долго задержался я при всем этом побоище. Пора бы, пора... Якоря наши давно поржавели, днище обросло ракушками, — и Брефт то ли засмеялся, то ли хрипло прокашлялся.

И экс-шеф разведки вдруг уловил: то, что так угнетало его, то непонятное предчувствие, которое сжимало ему душу, начало сбываться. Хотя... при чем здесь Франк Брефт? В роли «черного гонца» мог выступать кто угодно, только не этот старый краб. Гонцов, желающих как можно скорее вручить ему «черную метку», уже собралось немало — это Канарис понимал, как и то, что гонцы эти только и ждут команды фюрера... Однако в их числе не было и быть не могло капитана Брефта. Впрочем, если все основательно вспомнить и взвесить... Хотя бы это...

Во время случайной встречи в Испании, у берегов которой рейдировала субмарина Брефта, тот чуть не отбил у него Мату Хари. Собственно, Франк уже сумел договориться с ней о встрече, но когда понял, что оказался между танцовщицей и Канарисом, «публично», за стаканом каталонского вина отрекся от нее, заявив, словно бы в лицо адмиралу плюнул: «Как представил себе, Вильгельм, какое стадо грязных индонезийских макак и какое полчище немытых сикхов переспало с этой нидерландской потаскушкой, меня чуть не стошнило. Не позволяйте ей затащить себя в постель, старина. Ни один венеролог не в состоянии будет определить потом, чем эта богочестивая сеньора облагодетельствовала вас».

Канарис не сомневался, что Брефт знает: Маргарет уже давно сумела «затащить» его, и воспринял



предупреждение как пощечину чести. И вообще, до тех пор, пока они оставались за столиком на террасе ресторанчика в пригороде Барселоны Матаро, адмирал пережил один из тех моментов в своей жизни, когда лишь огромным усилием воли сдержал себя, чтобы не сходя с этого места не пристрелить Брефта. Причем сделал бы это со сладострастием убийцы-маньяка.

Рокового выстрела, ясное дело, так и не последовало, но с тех пор Канарис избавился от пылкой любовной страсти, поглощавшей его всякий раз, когда пред ним представала эта «колониалка». Даже после того, как, по его жесткому настоянию, Мата Хари была чуть ли не насильственно осмотрена «лучшим мадридским сифилидологом со времен Колумба», как его представили Канарису, восстановить «чистоту восприятия» этой женщины ему уже не удалось. Хотя сладострастие, с которым Мата холила его «источник жизни», по-прежнему захватывало Вильгельма.

С тех пор адмирал остерегался встреч с Брефтом. Слишком уж много житейских несуразностей связано было с этим человеком. Впрочем, на восприятие нынешнего звонка Франка это не сказалось. Он почти обрадовался ему.

— Откуда ж ты появился, Франк-Субмарина?

— Даже кличку мою давнюю вспомнили, адмирал? — самодовольно проворчал Брефт. — Похвальная память.

— Я еще многое способен вспомнить и даже... припомнить, — намекнул Канарис исключительно по своей шпионской привычке.

— Потому что все еще чувствуете себя на плаву и при власти, адмирал?

— А кто меня может «списать на берег»? — оживленно и беззаботно отреагировал Канарис, не уловив всей подноготной этого неожиданного и крайне некорректного вопроса, который разрушал ауру задушевности их встречи.

— Многие... — почти не задумываясь прохрипел Брефт. — Не все могут, не всем дано дотянуться до вас, «всесильного шефа абвера», однако стремятся многие.

— Стоп-стоп, сбавь обороты винта, — только теперь насторожился Вильгельм Канарис. — Что-то я не пойму, о чем это ты, старина?

— О том, что слишком многие поспешили списать вас на этот самый берег, адмирал, — не стал деликатничать Брефт — уже хотя бы потому, что так и не научился этому способу общения. — Торопятся, ясное дело.

— Хорошо, что ты понимаешь это, Франк-Субмарина.

— Представьте себе, понимаю. Потому что время от времени поднимаю перископ и сурово осматриваю акваторию жизни. Но почему торопятся, вместо того чтобы опасаться? Как опасались раньше. Как-никак шеф абвера! Признаюсь, что и сам пытался избегать вас, как королевская шхуна — подводной лодки.

— Что ты несешь, Франк-Субмарина?!

Эта кличка — Франк-Субмарина — пристала к Брефту еще в те времена, когда они вместе служили на крейсере «Дрезден», — за его пронырливость, настойчивое желание перейти на подводный флот и любимую поговорку: «Главное — вовремя поднять перископ и сурово осмотреть акваторию жизни». Да, крейсер «Дрезден»... Трудно сказать, какие воспоминания о службе на этом судне остались у тогдашнего фенриха<sup>[18]</sup> Франка Брефта, выпускника того же Кильского морского училища, которое на несколько лет раньше окончил он сам, тогда уже обер-лейтенант Канарис, но адмирал вспоминал о ней, как о почти немыслимой военно-авантюрной истории.

— Я и сам почувствовал, что разоткровенничались мы с вами, как два отставных боцмана в портовом

трактире после **третьей** порции рома, сидя с девицами на коленях.

Брефт был неопишным бабником — может, еще более изощренным и закоренелым, нежели сам Канарис. И вряд ли женился. Собственно, что значит «вряд ли»? Конечно же, не женился. Досье Брефта лежало в сейфе адмирала, и Канарис знал его почти назубок. Однако же не о том он думает сейчас. Слишком странным показался Канарису этот неожиданный звонок, этот прищур прошлого.

— Так вы сможете принять меня, адмирал?

— Что-то случилось, у тебя неприятности? И вообще, откуда ты появился?

— Два часа назад сошел с самолета, приземлившегося неподалеку от Берлина. У меня нет времени напрашиваться к вам на прием... — и Канарис обратил внимание, что голос его стал непозволительно резким.

— Вряд ли я теперь способен помочь тебе в чем-либо. Но если настаиваешь, завтра в двенадцать тридцать...

— Вы не поняли меня, адмирал. Время придется найти сейчас. Иначе нам лучше разойтись прямо на рейде. Я — в каких-нибудь пяти километрах от вашей баржи. Причем не с пустыми трюмами. Есть кое-что важное для вас.

— Но меня уже давно отстранили от руководства абвером и вообще от каких-либо полезных дел.

— Вас понизили, знаю. Тем не менее вы все еще возглавляете экономическую разведку и контрразведку.

— Тебе, оказывается, многое известно...

— Время от времени я очищаю днище от ракушек, поднимаю перископ и осматриваю ближайшую акваторию. Чтобы знать, что там, в зоне всплытия.

— На сей раз ты всплыл не совсем удачно; можно сказать, не вовремя.

— Но то, что мне хочется сообщить, важно не для абвера, а лично для вас, адмирал. И не заставляйте старого краба исповедоваться по телефону, я в принципе не терплю этот вид общения.

— Тогда приезжай. Но не сюда, а в мой загородный дом, записывай адрес: Времени у меня, правда, будет немного, тем не менее... — Даже самому себе адмирал боялся признаться, что появление фрегаттен-капитана было лишь поводом для того, чтобы поскорее убраться из этого осточертевшего кабинета.

— Яволь! Всплываю...

Положив трубку, Канарис тут же вызвал машину и покинул свой кабинет с такой поспешностью, словно спасался от воздушного налета или уходил от врывающихся в вестибюль здания вражеских десантников.

Оказавшись дома, он тут же велел служанке приготовить кофе, бутерброды и проследить, чтобы на столе были сухой вермут, шотландский виски и вишневый ликер. Он хорошо помнил, что подобные коктейли Брефт обожал.

— Ничего вишневого у нас в доме не осталось, — сухо зато заметила служанка, величественно подтягивая свой двойной подбородок.

— Тогда любой ликер, какой еще найдется.

— Сейчас в доме вообще мало что осталось, сеньор адмирал. Как можно сотворить такую великую войну — и так обеднеть на ней, сеньор адмирал?

— Ты о чем это, Амита?

— Почему все остальные — Геринг, Борман, Шелленберг и прочие — на ней разбогатели, а вы обнищали до того, что смогли купить этот дом, эту вашу виллу Грюневальд, как любит называть ее ваша супруга, только благодаря тому, что удачно продали ее личную, очень дорогую скрипку?

— Только не вспоминай о скрипке! — покачал головой Канарис и поморщился так, словно пытался утолить зубную боль. — Только не о ней. Все, что мне надлежало выслушать по поводу ее продажи, я уже выслушал от Эрики.

— Ваша супруга была слишком снисходительна к вам, — тут же вынесла вердикт Амита.

— Она? Снисходительна?!

— От этого все ваши беды и ваша бедность. Будь вы моим мужем... — начала было она, однако, наткнувшись на иронично-суровый взгляд адмирала, умолкла, демонстративно прикрыв рот рукой.

— К твоему счастью, я этих слов не слышал, — резко обронил он, оставаясь верным своему жесткому правилу: пресекать какие-либо попытки Канарии влезать в дела его семьи и пытаться женить на себе.

— Я всего лишь хотела сказать, что ваша бедность способна шокировать любого. Что такое просто невозможно понять.

— Меня она тоже порой шокирует, — признался адмирал.

— А еще странно, что в бедности оказалась ваша супруга, Дочь фабриканта Карла Ваага.

— Провинциального фабриканта, — уточнил Канарис, — с провинциальными доходами и провинциальным мышлением. Вот только тебе, Амита, знать все это не положено. С ужасом думаю о том, какие сведения ты выдашь, когда попадешься в руки русским или англичанам.

— Пусть молят Господа, чтобы я им не досталась, — отрубила Амита, демонстрируя стареющему адмиралу былую элегантность своей походки.

Сразу же после покушения на фюрера Канарис отправил Эрику с двумя дочерьми к родственникам в Баварию, подальше от Берлина. Он, естественно, понимал, что при желании Мюллер достанет их и там, но все же рассчитывал, что гестапо не станет рыскать по горным баварским селам, в одном из которых, у дальних родственников своей матери, нашла приют супруга опального адмирала.

Вспомнив о ней, Канарис как можно сдержаннее, но вполне официально предупредил Амиту:

— Никогда больше не заводите разговор о моей бедности, фрау Канария. О войне и моей бедности. Вас

это не касается, вы ничего в этом не смыслите.

Здесь, на вилле Грюневальд, Канарис пребывал лишь с адъютантом, полковником Йенке, и этой служанкой. Но полковник вместе с двумя агентами абвера, на которых Канарис все еще мог положиться, поехал в Баварию, составив личную охрану Эрики и ее дочерей, без которой адмирал попросту не решился бы отправить их в столь далекий и опасный путь. Но когда на вилле отсутствовали супруга и адъютант, Амида пыталась заменить их обоих, а посему становилась несносной.

— И никогда больше не буду, — воинственно заявила она, давая понять, что сдерживать свое слово не намерена. — Но скажу так: если вы не собираетесь встретить свою старость совершенно нищим, вам придется сотворить еще одну, теперь уже по-настоящему большую войну.

— Как прикажете, сеньора Канария, — грустно согласился адмирал, давно определивший для себя, что у нее свои собственные представления о войне и ее предназначении.

— Самое мудрое, что вы могли бы сделать сейчас, адмирал, это уехать на родину предков, — совершенно не восприняла его легкомыслия Амида Канария.

Медленно, неуклюже повернувшись, словно огромная, не в меру располневшая заводная кукла, она вышла из кабинета, и, глядя ей вслед, адмирал вновь, уже в который раз, с горечью отметил, как сильно она постарела и располнела. Как всякий обиженный ростом мужчина, он отказывался воспринимать таких женщин. Адмирал уже давно намеревался уволить ее, наняв женщину помоложе, но так и не решился. Он все еще был привязан к ней, однако это уже перестало быть привязанностью к женщине. Так привязываются к некогда приبلудившейся к дому, но давно состарившейся беспородной дворняге.

«Родина предков!.. — раздраженно проворчал Канарис. — Знать бы, где она, эта родина и эти предки!»

По сведениям, которые адмиралу удалось собрать о своих предках, один из них оказался греком, заброшенным в начале XVIII века на Канарские острова. Именно там он вскоре и принял фамилию Канарис. Затем более близкие предки перебрались в Италию, а уже оттуда — в Германию, на Рейн. Так кем он должен считать себя — германцем, греком, канаро-испанцем или кем-то там еще?! И к каким берегам его должно было тянуть?

\* \* \*

— Родина предков... — вновь, теперь уже более благодушно проворчал адмирал, переходя в небольшую комнатку по соседству с рабочим кабинетом. Эта комнатка скорее напоминала каюту старого капитана, решившего превратить свое пристанище в некое подобие корабельного музея, нежели жилую комнату на вполне престижной вилле. — А что делать человеку, для которого этой самой родиной предков может служить половина Европы?! Слава Богу, что хоть обошлось без турецкой крови. Впрочем, кто знает...

Амита Канария была для него чем-то вроде талисмана молодости. Они познакомились весной 1917 года в Испании, спустя несколько месяцев после того, как Канарису удалось добраться туда из Чили. Да, из далекого, забытого Богом Чили, у берегов которого в марте 1915 года команда «Дрездена» сама затопила свой крейсер, на борту коего будущий адмирал мечтал дослужиться до его капитана.

Вспоминать об этом происшествии Канарис не любил. Он всегда считал, что решение командира



пустить на дно свой крейсер, дабы он не пал жертвой английского броненосца «Глазго», было проявлением трусости. Ведь даже поврежденный, «Дрезден» все еще мог дать англичанину бой, чтобы погибнуть вместе с экипажем. Нет, такой войны он, адмирал Канарис, не понимал. Впрочем, это были его личные представления. Что же касается команды крейсера, то она искренне благодарила командира за спасение.

Канарис всегда старался выдерживать свою службу в пределах характеристики, выданной ему в свое время командиром крейсера «Бремен». Именно на борту этого корабля Вильгельм отправился в свой первый трансатлантический рейс к берегам Латинской Америки и в сентябре 1908 года получил первый офицерский чин — лейтенанта, сопровождаемый рекомендательной характеристикой: «Хорошая военная подготовка и умение ладить с людьми дополняются скромностью, послушанием и вежливостью». Иное дело, что младший комсостав и матросы очень быстро обнаружили у Канариса омерзительное пристрастие к подслушиванию и подглядыванию, поэтому ко вполне сноному прозвищу Маленький Грек вскоре прилипло гаденькое Слухач-Доносчик. Услышав его впервые, Канарис не на шутку испугался, поскольку знал, как жестоко и бесследно умеют расправляться моряки с теми, кто посмел восстать против их корабельного братства. Однако ему повезло: особого террора по этому поводу команда ему не устраивала. То ли потому, что не воспринимала его всерьез, то ли выяснилось, что на поверку от пристрастия Маленького Грека к подслушиванию и информированию командования никто особо не пострадал. Замечать стали еще меньше — только-то и всего.

Зато в этом походе Вильгельм почти в совершенстве овладел испанским, основательно дополнив его прекрасное знание английского и вполне сносное —

французского и русского языков. Прилежание Канариса в изучении испанского и умение — в роли помощника и переводчика командира крейсера — смягчать суровость переговоров настолько расчувствовали президента Венесуэлы, что перед отходом судна от берегов страны тот наградил молодого офицера орденом Боливара V степени, предрекая ему при этом погоны адмирала и предлагая перейти на службу во флот Венесуэлы.

...Тогда лишь после массы всяческих приключений Канарису удалось добраться до Мадрида, установить там связь с военно-морским атташе Германии и стать офицером германской разведки, работающим в Испании под дипломатической крышей. Но дело не в этом. И вообще, побег из Чили после гибели «Дрездена» — не те воспоминания, к которым можно прибегать всуе; Канарис всегда относился к ним с особым душевным трепетом. Что же касается Амиты...

Там, в Мадриде, весной 1917-го, он и познакомился с этой женщиной, отбив ее — причем в буквальном смысле, в жестокой драке, — у одного испанского морского офицера. Потом эта женщина долгое время была не только его любовницей, но и своего рода агентом. В ее сельском доме неподалеку от Мадрида Канарис, бывало, отсиживался; зализывал свои мужские неудачи у тогда еще прекрасных ножек Амиты; благодаря ее красоте налаживал связи с высокопоставленными испанскими чиновниками.

А знакомство их началось с того, что, сидя в припортовом ресторанчике, Канарис услышал, как за соседним столиком Амида описывала своему знакомому офицеру красоты родных Канарских островов. Очевидно, пыталась соблазнить моряка их прелестями, чтобы вернуться туда вместе с мужем. Вот тогда-то Канарис и вспомнил о том, откуда происходит его фамилия.

Амита даже не подозревала, что, пытаясь завлечь в сети испанского офицера, она на самом деле привлекает германского, на которого — невысокого росточка, худощавого, с довольно невыразительной внешностью — поначалу вообще не обратила внимания.

Когда в Испании началась гражданская война, Канарис, благодаря одному из своих агентов, сам разыскал Амиту и помог ей перебраться в Берлин через Португалию. Вот уже много лет она живет в купленном для нее домике, неподалеку от виллы Грюневальд, по-прежнему одинокая и на удивление быстро стареющая.

— Вам, как всегда, яичный глинтвейн? — донесся до адмирала голос Амиты.

— Как всегда.

— И подавать в «каюту»?

— Я же сказал: как всегда.

— Как же раздражительны вы стали, мой адмирал! — жалостливо и почти капризно молвила Амита, так и не усвоив, что больше всего Канариса раздражала эта ее «девичья» капризность.

— Вы не правы, — стойко возразил он. — Ни тени раздражения в моем голосе не проскользнуло.

— В голосе — да, поскольку вы все еще достаточно воспитаны, — всякий раз, когда Амита волновалась, ее испанско-канарский диалект становился вызывающе резким. — Но я-то чувствую, мой адмирал, я все чувствую...

Состарилась... Кто бы мог поверить, что когда-то она способна была пленять мужчин с первого взгляда и надолго привораживать к себе после первого же пылкого объятия? Вернуть бы теперь хоть одну из тех былых ночей! Хотя... стоит ли возвращать то, что давно угасло и померкло?

Впрочем, о жене ему тоже вспоминать не хотелось. Эрика была слишком холодна и свободолюбива, чтобы сохранять к своему серому, невзрачному мужу хоть

какие-то чувства. К тому же, в отличие от многих других женщин их круга, притворяться влюбленной или хотя бы терпящей своего мужа она не хотела, а играть была не способна. Что же касается самого Канариса, то, несмотря на возраст, он все еще оставался слишком закомплексованным, чтобы чувствовать себя достойной парой рядом с красавицей женой, и слишком ревнивым, чтобы прощать ей холодность и любовные прегрешения. Единственное достоинство Эрики заключалось в том, что она не предавалась публичным скандалам, сотворяя хоть какую-то видимость семейного благополучия.

Неслышно появилась Канария, остановилась у него за спиной и потерлась подбородком об основательно поседевшую голову. За многие годы общения адмирал привык к ее языку жестов, на котором подобное потирание могло означать только одно: «Не надо воспоминаний, они лишь ранят душу». Оно оказалось очень своевременным: старый шпион-моряк как раз вспоминал об унижительном отвержении его Эрикой сразу же после побега из римской тюрьмы, где его ждала высочайшая из шпионских наград — виселица.

Совершив этот изумительный по своей дерзости побег и прибыв домой, он неосторожно взглянул на себя в трюмо рядом с удивительно похорошевшей, зрелой красавицей-женой. Вильгельм и в лучшие свои годы старался не заглядываться на себя в зеркало, безглаголиво презирал свои фотографии и убийственно ненавидел любые, пусть даже самые лестные комплименты по поводу того, как прекрасно он выглядит и как задушевно они с Эрикой смотрятся рядом. Знал: если они и смотрелись, то лишь в том смысле, что рядом с ним, маленьким, хлипким заморышем, жена выглядела еще стройнее и величественнее. Причем самое ужасное, что гордиться обладанием такой женщиной Канарис так и не научился.

А ночью невообразимо соскучившийся по ее телу беглец из-под петли вдруг явственно ощутил, что женщина не только не «голодна» — она сексуально пресыщена, а прикосновения супруга лишь раздражают ее. Впиваясь пальцами в плечи жены, он пытался овладеть ей, как уличный насильник — дворовой шлюхой; но вместо того чтобы смягчить его натиск ласковым словом и податливостью, Эрика попыталась

грубо оттолкнуть от себя мужа, сбросить его со своего тела и соскользнуть с брачного ложа.

В течение своей супружеской жизни они множество раз проходили через подобные стычки, конфликты, истерики. Причем истерики в основном его, Вильгельма, — с обвинениями жены в супружеской неверности, унижительными угрозами и столь же унижительной предутренней мольбой о прощении и клятвами верности. После которых Эрика иногда с королевской милостью снисходила до того, что подавала ему свое тело, как милостыню юродивому.

И именно так, в виде милостыни, он, всесильный шеф абвера, человек, одним видом своим, самой должностью внушавший страх множеству людей во всей Европе, благодетельствованно принимал эту подачку Унижительную подачку одной из самых красивых женщин Германии.

Да, так происходило множество раз, поэтому Канарису не только давно следовало бы привыкнуть к подобному отношению, но и смириться с ним. Однако дело в том, что в ту ночь супруга повела себя с особой жестокостью.

— ...Но ведь мы в течение столь долгого времени не были с тобой в постели! — разъяренно, задыхаясь от ярости, прохрипел тогда Вильгельм, чувствуя, что жена отторгает его уже не столько из-за физиологической пресыщенности, сколько из-за нравственной брезгливости. Причем вызванной отнюдь не мимолетными порывами ревности.

— Верно, не были несколько месяцев, да только не по моей вине, — бросила Эрика, все еще предпринимая попытки вываться из его цепких рук. — Поскольку все это время пустовала ваша, именно ваша, половина этой опостылевшей мне усыпальницы.

— Но и не по моей вине. Ты прекрасно знаешь это! В Риме я выполнял задание фюрера. Его личное

задание, — пытался объяснить он, забыв на время, что на эту несостоявшуюся пианистку авторитет Гитлера абсолютно никакого впечатления не производил. — В этом смысл моей службы фюреру и рейху.

— Фюреру и рейху, но не нашей любви.

«Какой еще любви, черт возьми?! — внутренне взорвался Канарис, чувствуя, что нервы его на пределе. — Какой, к чертям собачьим, любви, если только благодаря Господнему заступничеству да своему хладнокровию я чудом сумел вырваться из камеры, из которой до меня еще никому вырваться не удавалось?!»

— Я был схвачен, находился в тюрьме, и ты прекрасно знаешь, каким трудом мне удалось вырваться уже из рук палача!

Он так и не признался Эрике, что бежать из тюрьмы ему удалось благодаря убийству прибывшего к нему за исповедью священника. Однако для нее не могло оставаться тайной то, что было известно не только руководству рейха, но и многим подчиненным адмирала, и что, хотя и вполголоса, но достаточно оживленно обсуждалось в аристократическо-абверовских салонах Берлина, постепенно превращаясь в «легенду о Канарисе». В еще одну легенду...

— То есть хотите сказать, что вырвались из рук римского палача, — все упорнее отчуждалась от него Эрика, переходя на «вы», — чтобы самому превратиться в палача, только уже целендорфского?! [\[19\]](#)

— Всего лишь хочу уточнить, что с моим вынужденным служебным отсутствием все ясно. А вот с кем ты могла наслаждаться все это время? Кто он и как ты посмела?!

— Как посмела?!

— Вот именно, как ты посмела, зная, в какой опасности находится твой муж?

Попытки вырваться из его рук прекратились, тело Эрики обмякло, совсем как тело того католического священника, которого он задушил в одиночной камере смертника римской тюрьмы. Ассоциации представлялись ему жутковатыми, однако были они именно такими. И каким-то своим, сугубо женским чутьем Эрика уловила это. Вильгельму показалось, что сопротивление ее прекратилось из-за порыва собственного усвоения и раскаяния, и он был поражен, когда вдруг услышал ее лишь слегка возбужденный голос:

— Оставьте меня в покое, Канарис! Мне больно, поэтому лучшее, что вы можете сделать, — это отпустить мои плечи и убраться прочь, — медленно и цинично процеживала она сквозь зубы, повергая Вильгельма в паралич.

— Убираться прочь?! — вновь, теперь уже сугубо инстинктивно, в состоянии некоего аффекта, вцепился в ее плечи Маленький Грек. Причем произошло так, что на сей раз руки его оказались у самого горла жены. — Это мне велено убираться прочь?!

— Уйдите, Канарис, вы мне глубоко противны, — голосом, полным глубочайшего отвращения, процедила Эрика.

— Я? Противен?! В каком смысле?

— Это спальня, а не камера, в которой, спасая свою шкуру, вы удушили ни в чем не повинного священника. Поэтому лучше уйдите!

Если бы Эрика попросту сослалась на недомогание или нежелание вступать с ним в связь, Канарис воспринял бы это спокойно. Пылкости супруги хватило лишь на первые два месяца их супружеской жизни; после этого она допускала мужа до своего тела как до сокровища, которого он не достоин. Однако тонкости их постельных отношений никогда особо не травмировали Вильгельма. А вот то, что она обвинила его в убийстве



пастора!.. Обвинила в убийстве, которым он как разведчик, как солдат, в конце концов, спас себе жизнь... это уже выходило за рамки семейных отношений.

«Невинный священник»! Какой еще, к дьяволу, «невинный священник», если речь шла о его, Канариса, жизни и смерти?! И это говорит жена офицера разведки! Нет, такой морально-этической пощечины Канарис простить ей уже не мог.

Несколько последующих ночей он провел в своем кабинете, в «служебной» кровати. И никто из заключенных, в подвальные камеры к которым шеф абвера наведывался тогда поздними вечерами, даже предположить не мог, с какой это стати их удостаивает своим визитом в столь поздний час сам шеф абвера. И почему, являясь к ним, он даже не пытается провести допрос, а принимается хладнокровно, методично избивать их.<sup>[20]</sup> Им и в голову не могло прийти, что, посадистски изощряясь в избиениях, этот флегматичный на вид седовласый человек с внешностью и манерами то ли тихопомешанного кабинетного ученого, то ли университетского профессора всего лишь срываает на них зло и мстит за все те унижения, которые не способен унять и погасить в своей домашней спальне, в объятиях презревшей его супруги.

Понимая, что проводить слишком много ночей в своем служебном кабинете неэтично, Канарис, предаваясь оскорбленной гордыне, еще несколько ночей спал в кабинете домашнем. Он, конечно, мог бы куда романтичнее проводить эти ночи в домике своей старой подруги Амиты, но это означало бы окончательный разрыв с женой, после которого вернуться домой он уже не смог бы. К тому же Канарис не мог позволить себе искать убежища у служанки, это выглядело бы слишком вызывающе. Впрочем, Эрика не

сомневалась, что с Амитой у ее мужа давний и слишком затянувшийся роман.

Но даже когда супруга снизошла до того, что вновь впустила его под свое одеяло, он понял, что никогда больше не простит ей этого цинизма и этого «римского упрека». Да и брал он ее с того времени все реже, со стыдливym ощущением того, что предается сексуальным усядам с манекеном.

Канарис взглянул на часы. Брефт должен был появиться минут через десять, однако время словно прекратило свое течение. Казалось бы, не такой уж и важный гость, однако Вильгельм ждал его с той нервозностью, с какой обычно ожидают человека, от которого что-то зависит — точнее, зависит очень многое. Какой же сюрприз судьбы готовит ему очередная неожиданная встреча с Брефтом? Неспроста он появился сегодня «на рейде» виллы, ох, неспроста...

Остановившись посреди комнаты, адмирал с минуту осматривал свое пристанище: на стене между окнами — макет штурвала; тут же рядом — небольшая бронзовая рында, морской компас, канатная подвязка с набором всевозможных узлов — подарок одного из сослуживцев по «Дрездену», который затем стал капитаном сейнера; большой глобус с проложенными по нему курсами морских линий...

Для него, стареющего сухопутного адмирала от разведки, «каюта» и впрямь оставалась тем островком, на котором он с одинаковым наслаждением мог предаваться и воспоминаниям, и милому бреду мечтаний. А еще именно здесь, на этой тахте, напоминающей «лежбище» матросского кубрика, он любил предаваться любовным играм с Амитой Канарией...

Несмотря на свою нынешнюю непростительную полноту, эта женщина все еще сохраняла пылкость дикой островитянки (юность девушки прошла в небольшой, забытой Богом деревушке на южной оконечности острова Гран-Канария), каковой она, по существу, так и осталась. Как осталось в ней и восприятие его, Вильгельма Канариса, как повелителя,

мужчины, дарованного ей самим небом. Жаль только, что это все еще было живо только в душе и чувствах Амита, а не его, адмирала Канариса.

Правда, в последнее время Амита тоже все чаще позволяла себе ворчать и даже пыталась давать своему адмиралу всяческие мудрые советы. Но когда Вильгельм однажды решился упрекнуть Амиту во «все разительнее проявляющихся скверностях ее нетерпимого характера», она поучительно заметила:

— Мой адмирал, если мужчина не позволяет своей женщине рожать ему детей, он должен быть готов к тому, что со временем женщина вынуждена будет усыновить его самого.

— Усыновить? Вы о чем это, Амита? С чего вдруг? — непонимающе уставился на нее адмирал.

— Причем усыновить — это в лучшем случае, — настаивала на своем Канария.

— По какой такой логике?

— А что вас так удивляет, адмирал? Неужели непонятно, что этого требует ее материнский инстинкт?

— И он, этот ваш инстинкт, в самом деле еще чего-то там требует? — удивился Канарис, но, не добившись от Амита никаких других объяснений, вынужден был признать, что не ожидал от нее ни подобной трактовки, ни подобной глубины мысли.

Что за жизнь у него пошла: супруга окончательно предала его, служанка Амита Канария вообще дошла до того, что пытается «усыновить»... В то время как самому адмиралу хотелось только одного — чтобы рядом оставалась по-настоящему преданная и любящая его женщина. Только-то и всего.

Теперь Канарис понимал, что в его жизни такая женщина однажды случилась — это была Мата Хари. Жаль только, что понял он это слишком поздно. И потом, любовная привязанность танцовщицы-проститутки вряд ли могла служить аргументом для

того, чтобы испытывать ее в семейных условиях. Уж что-что, а семейная жизнь этой бродячей, разгульной актрисе, не имеющей ни постоянного жилья, ни постоянных привязанностей, ни даже постоянной страны обитания, — была напрочь противопоказана.

...Уж теперь-то адмирал без какой-либо внутренней боязни и излишней гордыни мог сознаться — по крайней мере самому себе, — что все, что исходило во время их знакомства от него, Вильгельма Канариса, конечно же, порождалось ложью. Или же вместе с ложью источалось. И то, как он представал перед ней в облике офицера-богача, и как разыгрывал сцены юношеской влюбленности, и как искренне уговаривал танцовщицу выйти за него замуж — понятное дело, не в сей же час, а когда кончится война...

Когда Маргарет неожиданно покинула свой салон в Париже, который к тому времени охотно посещали не только безоглядно влюбляющиеся в нее молодые французские офицеры, но и министры, известные промышленники и даже иностранные дипломаты, и вернулась в Мадрид, одни восприняли эту ее отлучку как стремление отдохнуть от парижского бомонда другие — как попытку охладить буйный пыл некоего слишком уж навязчивого любовника, которого Мата Хари сначала страстно увлекла собой, а затем, буквально разорив его, столь же страстно отвергла; третьи поговаривали о появлении какого-то нового воздыхателя...

Истинную же причину ее отъезда знал только он, капитан-лейтенант Канарис.

Да, это действительно был не очередной отъезд, а самое настоящее бегство, причем, следует признать, весьма своевременное. Несколько попыток танцовщицы получить разрешение на въезд в Англию ни к чему не привели. Мало того, неофициально ей дали понять, что репутация ее слишком запятнана, причем касается это

отноудь не бесчисленных любовных связей, нет; ей по-джентльменски намекнули на связь с германской разведкой.

— По-джентльменски, значит, намекнули? — устроил после этого своей «разведтанцовщице» форменный допрос Вильгельм Канарис.

— Следует полагать, что да, пока что по-джентльменски.

— Ничего при этом не предлагая?

— Если вы имеете в виду вербовку в английскую разведку, то нет, не предлагали, — затравленно объяснила Мата. Канарис впервые видел ее такой испуганной. До этого она уже не раз рисковала, но, даже оказываясь на грани провала, сохраняла свое привычное ироническое спокойствие.

— Что же тогда предлагали? — настойчиво допытывался Канарис.

— Всего лишь настойчиво посоветовали, что в моих же интересах держаться подальше от посольств тех стран, с которыми Германия все еще пребывает в состоянии войны. Но советовали, подчеркиваю, очень настойчиво.

— Настолько, что вы испугались... — не спросил, а, скорее, задумчиво констатировал Канарис.

— Впервые по-настоящему испугалась, — признала Маргарет. — И вы не заставите меня вновь возвращаться в Париж, а тем более — еще раз обращаться в английское посольство во Франции. С меня хватит!

— Ну, заставим или нет — это покажет время, — с неожиданной угрозой в голосе произнес тогда резидент германской разведки.

— И в этом заключается вся ваша благодарность?! — мгновенно оскорбилась Маргарет Зелле. — Вместо того чтобы поддержать меня в такие минуты, вы, наоборот,

пытаетесь шантажировать меня! Вы ведете себя так, словно...

— Ваши истерики, мадам Зелле, меня не интересуют, — еще более холодно и сурово произнес германец. — Однако помочь я вам все же попытаюсь. Начну с того, что постараюсь навести по своим каналам кое-какие справки, чтобы выяснить, насколько серьезен был этот отказ. Что за ним стоит. Вдруг это всего лишь неджентльменская месть английского посла за некогда не подаренную вами ночь?

— Не подаренную ночь? — удивилась Мата Хари самому подходу к проблеме, с которой она столкнулась в Париже.

— Вспоминайте, мадам Зелле, вспоминайте. Когда вопрос касается оскорбленной, точнее, неудовлетворенной мужской гордыни, даже истинные джентльмены порой способны на неджентльменские поступки.

— Однако ничего такого я не припоминаю. Английский посол...

— Или же кто-то из англичан, оказавшийся другом этого самого посла... Вспоминайте, Маргарет; успокойтесь и вспоминайте!

Кое-какие справки германский капитан-лейтенант действительно навел. Для Маргарет Зелле они оказались неутешительными. Мало того, в них просматривалась угроза для него самого, поскольку английской разведке уже было известно, что для германского резидента Канариса любовная связь с танцовщицей уже давно служит всего лишь прикрытием.

Когда эта угроза была подтверждена и другими источниками, Канарис вынужден был признать, что из Франции Маргарет удалось вырваться только чудом, как понял и то, что при необходимости французская или английская разведка легко достанет ее в Мадриде или

в любом другом уголке Испании. Точно так же, как достанет и его, особенно после того, как Мата Хари начнет давать показания на допросах в любой враждебной контрразведке.

Канарис вынужден был задуматься над своим положением еще и потому, что в Мадриде, куда он прибыл вскоре после возвращения туда Маргарет, его вдруг навестил высокий худощавый джентльмен из английского торгового представительства.

— Есть необходимость представляться, господин Ридо Розас?

— Такая необходимость возникает в любом случае. Тем более что вы решили говорить с офицером, обладающим дипломатическим иммунитетом.

— Терпеть не могу дипломатов. Но если вы так настаиваете... Мое имя вам все равно ничего не скажет, а визитку, с вашего позволения, я вручу перед своим уходом, — учтиво склонил голову джентльмен. — Так что давайте на этом покончим с ненужными формальностями.

Только теперь помощник военно-морского атташе Германии внимательнее присмотрелся к холеному, аристократическому лицу англичанина и резким движением руки указал ему на кресло.

Понятно, что имя чилийца Ридо Розаса было тем паролем, обладать которым могла только Секрет Интеллидженс Сервис,<sup>[21]</sup> — это Канарису стало ясно сразу же. Но дело не только в этом. Теперь капитан-лейтенант еще и узнал англичанина. Это был тот самый лейтенант английской разведки, который в 1915 году поднялся на голландский теплоход «Фризия» с твердым намерением встретиться там с неким лже-чилийцем Розасом. Но вовсе не для того, чтобы раскрыть и погубить его. У англичанина был свой интерес к этому



германцу. Впрочем, это уже были дела давно минувших дней.

Теперь же Канарис тоже любопытствовал у англичанина, не ошибся ли он, обращаясь к нему как к чилийцу Розасу, тем более что торговые поставки из Великобритании его не интересуют. Но это была всего лишь попытка выиграть время, чтобы, с одной стороны, собраться с мыслями, а с другой — заставить гостя чуть поподробнее рассказать о себе.

— Такие вопросы поставок, с которыми решила обратиться наша фирма, вас, бывший обер-лейтенант крейсера «Дрезден», несомненно, заинтересуют.

— Не уверен, однако готов выслушать.

— Вполне приемлемый подход. Мудрость нашей с вами профессии заключается именно в том, чтобы научиться выслушивать каждого, кто готов предаваться красноречию.

— Нашей с вами профессии? Не похоже, чтобы когда-нибудь вы числились в команде какого-либо из кораблей флота Королевского Величества, тем более что...

— Вы прекрасно знаете, кто я, потому что уже узнали меня, — жестко осадил его англичанин. — Один из канонов нашей с вами профессии как раз в том и заключается, что при решении важных деловых вопросов мы не должны ломать комедию. Вы готовы обсуждать мои предложения серьезно, не заставляя меня прибегать к шантажу?

— Шантаж — самое бессмысленное, к чему вы и ваши люди можете прибегнуть, находясь в стране, в которой германское влияние сильнее, как и сам авторитет Германии намного выше, нежели авторитет Великобритании.

— Очень спорный тезис. Здесь действительно не очень уважают старую амбициозную Леди, но вполне терпимо относятся к ее весьма щедрым подданным. Тем

не менее обсуждать наши предложения... о неких поставках, исключительно о поставках, — англичанин уже не скрывал своей иронии, — как вы понимаете, лучше всего на свежем воздухе.

— К вопросам поставок я всегда отношусь с особой тщательностью, — заверил его Канарис. С формальностями действительно пора было кончать.

Несмотря на жару, англичанин был одет в темно-синий костюм с блестящими пуговицами на удлиненном пиджаке, а ворот белой рубахи тщательно стягивался строгим коричневатым галстуком. Трость в руке тоже выдавала в нем английского денди, хотя и не скрывая офицерской выправки.

Впрочем, было похоже, что лейтенант умышленно рассекречивал свое подданство, памятуя о старинном шпионском правиле: «Лучший способ конспирации — отсутствие всякой конспирации!» Тем более что, несмотря на древнюю вражду двух океанских империй, англичан в Испании действительно уважали, чего нельзя было сказать о германцах, которых здесь недолюбливали и почему-то опасались. Недолюбливали, судя по всему, за мелочную расчетливость, граничащую с жадностью. А вот почему опасались — этого Канарис понять так и не смог.

Они вышли из представительства и, молча пройдя три квартала, вошли в фойе филиала итальянского «Банка ди Рома», основной капитал которого принадлежал ватиканской «черной знати».<sup>[22]</sup> Только теперь Канарис вспомнил, что однажды заметил, как человек, очень смахивающий на этого английского лейтенанта, входил в этот же банк. Но тогда он не сразу сообразил, кого именно напоминает ему этот человек; к тому же сбила с толку принадлежность банка.

— В свое время вам, господин Канарис, действительно удалось заметить меня входящим в этот банк, — англичанин предельно точно уловил этот, очень важный психологически, момент опознания.

— Какая наблюдательность! — кисло ухмыльнулся Канарис, хотя должен был бы, по крайней мере, удивиться. — А вот я вас что-то не припоминаю.

— Не юлите, капитан-лейтенант, я специально подставился вам, дабы напомнить о ваших «великобританских обязательствах». Но то ли вы действительно не успели разглядеть меня, то ли специально умудрились не узнать.

— Скорее второе.

— В таком случае, напомню о себе: лейтенант О'Коннел. А еще напомню, что это не первая наша встреча.

— Я не коллекционирую псевдонимов и разведывательных кличек.

— Это не псевдоним и не кличка.

— Уж не хотите ли вы сказать, что на задания по делам разведки выезжаете под своим собственным именем?

— В этом и состоит моя конспирация.

— Сомневаюсь, что только в этом.

— О'Коннел — моя настоящая фамилия, черт возьми, — вежливо возмутился его недоверием англичанин. — В дружественные нам страны я предпочитаю приезжать под своим именем и со своими собственными документами. Советую вам, Канарис, поступать точно так же.

— Тогда, в Плимуте, мне пришлось предъявлять те документы, которые позволили мне выжить в Латинской Америке и пересечь Атлантику, — не менее вежливо объяснил ему Вильгельм.

— Фальшивые документы — не самый большой грех разведчика.

— Для него это, скорее, реквизит, как для фокусника — колода карт или платочек в рукаве.

— Очень своевременное и мудрое толкование.

— Нам нетрудно будет договариваться — это вы хотите сказать?

— Опытные, умудренные жизнью люди, — развел руками англичанин. — Когда-то же она должна наступать — пора степенности и зрелости!

— Что привело вас ко мне, лейтенант?

— После вашего отплытия из Англии я проследил по карте путь вашего бегства из лагеря интернированных германских моряков, снятых с тонущего крейсера «Дрезден». Признаюсь, это впечатляет: остров Квириквина из архипелага Хуана Фернандеса, континентальное Чили, губительные перевалы Анд в обход чилийских и аргентинских пограничных постов.

— Поверьте, это не столь романтично, как вам представляется, лейтенант. Даже в восприятии такого романтика, какого вы видите сейчас перед собой.

— ... Затем судно, на котором, выступая в роли кочегара, вы сумели наладить приятельские отношения с несколькими англичанами, дабы усовершенствовать свой английский, — все с той же долей восхищения завершил англичанин.

— Совсем уж несущественные детали.

— Не скромничайте, Канарис: совершить подобный вояж дано не каждому. Таким можно гордиться потом всю жизнь.

— С этим трудно не согласиться. При всей моей скромности.

— Почел бы за честь оказаться вашим спутником.

— Как только вновь окажусь в плену у чилийских аборигенов, сразу же телеграфирую вам, лейтенант.

— ...А что касается всевозможных неприятностей, выпадавших тогда на вашу долю, — простил ему и этот выпад О'Коннел, — то ничто так не оправдывает и не облагораживает наше поведение вдали от родины, как непредвиденные обстоятельства и борьба за жизнь.

Англичанин чопорно уселся за столик для клиентов, стоявший у широкого окна и, прежде чем предложить второе кресло Канарису, посоветовал ему взглянуть в окно.

Прямо перед ним открывалась небольшая площадь, а вправо и влево — только не перпендикулярно банку, а под углом от него — уходили вниз по склону две оживленные улицы.

Канарис мог бы признать в лейтенанте любителя уличных сценок, если бы не два любопытных момента: на площади перед банком отлично просматривались подходы к представительству, в котором служил О'Коннел, а справа точно так же хорошо просматривались подходы к зданию, в котором располагалось германское посольство.

— Прекрасное времяпрепровождение, — согласился Канарис, отодвигая свое кресло так, чтобы не закрывать лейтенанту часть пространства перед окном. — Что привело вас ко мне, лейтенант?

— Согласитесь, что мы не слишком навязчивы.

— По крайней мере, так было до сих пор.

— Вот видите, в кое-каких вопросах мы уже находим понимание.

У окошечек банка не наблюдалось ни одного клиента, зато Канарис заметил некоего крепыша, околачивающегося в дальнем углу зала, за столиком у конторки. Тот явно не был похож на человека, торопящегося снять что-либо со своего банковского счета, а тем более — пополнить его.

— Что же заставило вас нарушить обет молчания, Британец? — без особого труда вспомнил его агентурную кличку капитан-лейтенант Кригсмарине.

— Нас интересует одна особа, именующая себя Матой Хари. Она же нидерландская подданная Маргарет Гертруда Зелле.

— Как, и вас она тоже интересует? — едва заметно ухмыльнулся Канарис. — Какое совпадение привязанностей и интересов!

— Что конкретно вы можете сообщить о ней, Канарис? **Нужна** хоть какая-то доза полезной для нас информации.

— Информации — море. Начнем с того, что Мата Хари — прекрасная танцовщица, сумевшая вскружить голову не одному испанцу.

— Так считают не все. Ее бывший муж, нидерландский офицер Рудольф Маклид, вполне определенно заявил: «У нее плоскостопие, и она абсолютно не умеет танцевать». Мы ему не поверили. Но вскоре наши агенты сумели получить отпечатки ступней Маты Хари, и медики убедили нас: плоскостопие в самой ярко выраженной форме! Специалисты утверждают, что женщину с таким природным недостатком вообще нельзя подпускать к танцевальным подмосткам.

— Любопытно, — повел подбородком Канарис.

О плоскостопии Маргарет капитан-лейтенант и в самом деле даже не догадывался. И не мог припомнить хотя бы один случай, когда оно как-то слишком уж резко проявилось или каким-то образом бросилось в глаза.

— Кроме того, у нас есть заключение сразу нескольких специалистов из Индостана. Каждый из них самостоятельно пришел к выводу, что по уровню мастерства она не тянет даже на ученицу храмовой танцовщицы, поскольку в ученицы попадают девушки, получившие определенную подготовку. Причем, заметьте, речь шла о юных девушках, а в данном случае мы имеем дело с сорокалетней матроной.

Выслушав его, Канарис загадочно ухмыльнулся.

— Стоп, хватит, Британец. Считайте, что меня вы уже убедили. Теперь постарайтесь убедить в этом же Париж, Мадрид, Берлин, Монте-Карло...

— Мы тоже пытаемся понять, что происходит, — не стал оспаривать его аргументы англичанин. — Но единственное, что мы пока что способны констатировать, — мы ни черта не понимаем.

— Происходит массовый гипноз, порождаемый таинством таланта, — вот что на самом деле происходит, когда эта женщина выходит на подмостки парижского «Фоли бержер» или не менее знаменитой «Олимпии». И когда она обнажает свое прекрасное тело, тысячам мужчин всех национальностей и возрастов глубоко наплевать на то, есть у нее плоскостопие или нет. Как, впрочем, и на мнение ее бывшего супруга. Прочтите, что пишут об ее искусстве в «Ля пресс», «Курьер франсэ» или «Нью-Йорк геральд».

— Что тоже справедливо, — проворчал О'Коннел. — Чувствуется, что вы внимательно следите за прессой, а главное, все еще влюблены в нашу танцовщицу.

— Вынужден разочаровать: на сей раз нюх разведчика вас подводит. Лично я к танцовщице Мате Хари давно охладел, если только наши отношения с ней интересуют вас как профессионала.

— Охладели? Мы так не считаем, если учесть навязчивый интерес этой особы к английскому посольству и старой доброй Англии. Есть все основания считать, что он подогревается именно вами, Канарис. Чем холоднее вы воспринимаете ее как женщину, тем пылче интерес к ней как к шпионке.

— Вас удивляет интерес актрисы к Лондону? — пожал плечами Канарис. — А куда еще отправляться танцовщице, покоровшей Мадрид, Париж и Берлин, если не в Лондон?



— С этим можно было бы смириться, если бы мы знали ее лишь как агента французской разведки.

— То есть как агент французской разведки вам она уже известна?

— Само собой разумеется.

— Вот видите, а для меня это новость.

— Не лукавьте, Канарис. Вербовка Маргарет французами Действительно оказалась для вас неожиданностью. Но это уже в прошлом. А вот то, что французы завербовали эту неутомимую бордельную танцовщицу, не догадываясь, что она работает на германскую разведку, — это уже пикантно.

— Однако ни у вас, ни у французов достаточных доказательств того, что Маргарет Зелле танцует под аккомпанемент германской разведки, нет.

Прежде чем ответить, О'Коннел проводил взглядом какого-то испанца — судя по его поясу и крестьянской одежде, баска, — который, проходя мимо окна, приподнял широкополую шляпу и вытер лицо розовым платочком. При этом они встретились взглядами: контакт состоялся.

Еще через несколько мгновений англичанин взглянул на карманные часы и предложил Вильгельму перейти в небольшой ресторанчик «Карильон», располагавшийся неподалеку, на небольшой площади у старинного собора.

— Фиесты устраивать мы не станем, но самое время утолить жажду.

Канарис не возражал; действительно, самое время поговорить за стаканом вина.

— Вы ведете скучный образ жизни, Канарис, — сказал англичанин, усаживаясь за свободный столик, стоявший между двумя толстыми колоннами, за которыми чернело чрево богато орнаментированного камина — большой редкости для испанских ресторанчиков.

— Не стану оспаривать.

— Скучный и скудный. Уже хотя бы потому, что вас ни разу не видели в этом ресторанчике.

— Дай-то Бог, чтобы на этом список моих прегрешений завершался. Маргарет Зелле, насколько мне известно, тоже не навещает его, — деликатно напомнил капитан-лейтенант о причине их встречи.

— Этот она пока что не навещала, тут вы правы.

— По крайней мере, так утверждает безликий тип, с которым вы общаетесь через окно «Банка ди Рома».

— Кстати, мы не стали разочаровывать наших французских коллег по поводу Маргарет и ограничились лишь мимолетным намеком.

— ...Которому, однако, не доверились даже легкомысленно-доверчивые французы.

— Они тоже устроили слежку за ней, но все еще мало преуспели в этом.

— А вы, мистер О'Коннел?

Возможно, англичанин и собирался что-то ответить, но в это время приземистый седовласый официант подошел к их столику, мельком осмотрел посетителей и, распознав в них иностранцев, произнес по-английски:

— Мясо молодого быка, красное кастильское вино и много сыра. У нас это называется «обедом матадора».

— На обед матадору подают яйца убитого им быка, — напомнил ему Британец. — Или, может, я что-то путаю?

— Когда устраивают фиесту по поводу большого боя быков. Но вы мало похожи на матадора.

— Это уж как взглянуть на бой быков. И потом, кто знает, не придется ли вскармливать быка «прелестями» матадора...

Испанец вяло улыбнулся.

— Итальянцы обычно требуют еще и спагетти. Однако англичане предпочитают завершать подобные

пиршества обычной яичницей, щедро усыпанной кусочками куриной грудинки.

— Принимайте нас за французов, — посоветовал Канарис официанту, желая как можно скорее отослать его от столика. Однако, запрокинув голову и победно улыбаясь, официант решительно произнес:

— Французы слишком легкомысленны, чтобы подражать им в чем-либо. Кому угодно, только не французам!

— Ни подражать, ни доверять французам нельзя, — охотно согласился с ним Канарис.

— В таком случае принесите нам по стакану хереса и по куску сыра, — степенно произнес англичанин.

Официант отходил, кланяясь и долго не решаясь повернуться к ним спиной, словно опасался выстрела в затылок.

— Что с них взять? Это же англичане! Ни черта они не смыслят ни в хорошем вине, ни в хорошем испанском сыре, — пожаловался он основательно подвыпившему кабальеро, стоявшему у края стойки, не смущаясь того, что посетители могут услышать его. Но в ответ кабальеро лишь сладко икнул.

— Вот он, испанский национализм — во всей его несуразности, — назидательно молвил О'Коннел.

— Мало чем отличающийся от английского или германского, — заметил Канарис.

— При чем здесь германский? У вас и национализма порядочного пока что нет; так, сплошное пруссачество...

Вино оказалось слишком теплым и кисловатым для настоящего хереса, однако Канарис старался не придавать этому значения.

— Почему вы решили заговорить о Маргарет Зелле? — поинтересовался Канарис, зажевывая винную кислятину ломтиками сыра.

— Потому что вы упорно стараетесь внедрить ее в круги английской аристократии. Английские генералы и дипломаты не столь болтливы, как французские, но ведь эта танцовщица не зря провела несколько лет в буддистском храме... — Услышав это, Канарис про себя скептически ухмыльнулся: он-то знал, что ни в одном храме мира Мата Хари ни одного дня не провела. — К тому же она подпаивает своих клиентов каким-то восточным снадобьем.

— Даже так?! — искренне удивился Канарис. Он многое знал о роковой танцовщице, однако ни о каком восточном снадобье слышать ему пока что не приходилось. — Вам пришлось испытать его на себе?

— До снадобья дело не дошло, но...

— ...Но тоже успели побывать в числе ее постельных почитателей? — прямо спросил Канарис. — Непростительная промашка для джентльмена столь безукоризненной репутации, прямо скажу — непростительная.

Англичанин отпил вина, закусил его сыром и только потом выразительно пожал плечами:

— Само собой разумеется, я тоже побывал в ее салоне на бульваре Сен-Мишель. — Британец выдержал паузу, достаточную для того, чтобы позволить разгуляться фантазии своего собеседника, и только потом добавил: — Особого впечатления эта голландка

на меня не произвела, особенно если учесть, что в амурных делах я человек безгливый.

Отведя взгляд, Канарис надолго задержал его на одной из колонн. В данном случае ему тоже стоило бы прослыть если уж не более безгловым, то, по крайней мере, более осторожным. Ну да что уж тут!

— Но это еще не повод... — медлительно произнес он, возвращая свой взгляд из бесплодных блужданий.

— Слишком уж она обнаглела, — резко отреагировал Британец. — Когда какая-то стерва пытается обвести вокруг пальца три разведки сразу — меня это начинает раздражать. А вас, сеньор Розас?

«Интересно, за какую из возможных «шалостей» Маргарет англичанин так упорно пытается мстить ей? — подумалось капитан-лейтенанту. — И стоит ли эта ее шалость такой кровной мести?»

— Она откажется от попыток проникнуть в Лондон, — снисходительно пожал плечами Канарис, понимая, что это единственное, чем он способен помочь сейчас Маргарет. — Мои люди позаботятся об этом.

Британец мысленно улыбнулся: все же он заставил прямо признать Чилийца — именно под таким псевдонимом проходил по его картотеке Канарис, — что подстава с этой грязной колониальной потаскушкой-двойником — дело его рук.

— Ваши люди позаботятся о том, — еще жестче и повелительнее стал его голос, — чтобы она вернулась в Париж и была сдана там французской разведке. Немедленно и самым банальным образом — сдана. — Канарис иронично хмыкнул, однако британец не придавал этому никакого значения. — Причем со всеми возможными компрометирующими ее как германскую шпионку... ну, скажем так, подозрениями.

Канарис угрюмо помолчал: британец требовал от него невозможного. Давненько капитан-лейтенант не

испытывал такого унижения. Он отпил хереса, но теперь вино представилось ему еще отвратительнее.

— Стоит ли все настолько усложнять? Когда вы объявите миру, что изобличили известную танцовщицу в шпионаже, английскую контрразведку и английское правосудие попросту засмеют.

— Не сомневаюсь, засмеют.

— Тогда в чем смысл этой авантюры?

— В том, чтобы засмеивали контрразведку и правосудие Франции. Потому что сдавать ее вы будете французам, а не англичанам.

— Вот такой хитроумный ход? Прикажете воспринимать это за юмор в чисто английском стиле?

— Если вы этого не сделаете, господин Чилиец, то французы арестуют ее сами. Они достанут ее и здесь, в Испании. Но тогда вслед за Матой Хари будете арестованы и вы. Пребывание в общей камере с ней не гарантирую, а вот одну виселицу на двоих — вне сомнений.

— Ох, и щедры же вы, Британец...

— Национальная черта. Кстати, о национальной черте, французам как раз нужна шумиха в прессе, которая отвлекла бы внимание общественности от бездарных действий военного командования на фронте, а заодно объяснила обывателю, почему враги-германцы так легко разгадывали замыслы французских генералов и кто в действительности становился источником информации.

— Какая новизна разработки иностранного шпиона!

— Кажется, я уже дал вам понять, что вся прелесть этой операции — в ее исключительной банальности.

— Вот тут-то перед разгневанной публикой и возникнет образ некоей колониальной танцовщицы, свившей свое змеиное гнездо в самом сердце Парижа! — все еще пытался иронизировать Канарис, однако это уже была ирония Иуды.

— И публика ухватится за эту наживку. Грязная танцовщица, которая совращала темпераментных французских штабистов и таким образом поставляла германцам такие сведения, которые те никак не могли получить от своей фронтовой разведки.<sup>[23]</sup> Сведения, позволявшие германскому командованию наносить упреждающие удары по французским войскам, приведшие к немыслимым потерям. Кого такой поворот карьеры известной танцовщицы может оставить равнодушным?!

— Вы действительно намерены организовать судебный процесс против Маты Хари?

— Еще какой! Дело в том, что в ее сексуальные сети попало несколько очень уважаемых джентльменов. Поэтому мы будем рады убрать ее стараниями наших парижских союзников.

\* \* \*

С минуту Канарис пребывал в состоянии некоей прострации. Он не знал, как ему реагировать на обвинения Британца, как вести себя, и вообще как воспринимать все здесь происходящее. Позиции англичанина крепки. В таком случае приходится уступать свои...

— Давайте порассуждаем. Считайте, что сумели убедить меня: вывести агента из-под удара ваших парижских коллег мне действительно не удастся.

— Просто не вывести из-под удара — этого уже недостаточно. Вы знали о том, что Мата Хари работает против нас, однако, будучи нашим агентом, не только не убрали ее с театра действий, но даже не поставили нас в известность. Вам не кажется, что это непорядочно?

— Знать бы, что именно в нашем с вами ремесле подпадает под это определение — «непорядочно»!

— Если просто не вывести из-под удара... В таком случае в прессе появится ваше имя, которое Маргарет неминуемо сдаст французам, и тогда как разведчик вы уже не будете представлять интерес ни для германской разведки, ни для британской. На вашей карьере будет поставлен крест. Мало того, неминуемо всплывет ваша британская вербовка, и за вами начнется охота всех европейских резидентур, способных достать вас даже в кубрике субмарины посреди Атлантики.

Возле столика вновь возник говорливый официант, однако О'Коннел обронил какую-то фразу на непонятном германцу наречии — возможно, на баскском, — и тот мгновенно ретировался.

Канарис не видел причин для того, чтобы в связи с делом Маргарет Зелле его английская вербовка неминуемо всплывала, но понял, что вести полемику по этому поводу бессмысленно: Британец нагло шантажирует его.

— А в Париже никого не интригует тот факт, что в прессу просочатся сведения о танцовщице, как агенте-двойнике французской разведки?

— Именно поэтому Сикрет Интеллидженс Сервис не желает, чтобы ваш агент оказалась в ее лондонском подвале. Доказывать, что французы заслали в Британию свою шпионку... — передернул он плечами. — Кого в наши дни это способно воодушевить?

— Да уж... — вздохнул Канарис, хотя никакой особой горести во вздохе его Британец не уловил.

— Хорошенько подумайте, сеньор Чилиец, стоит ли создавать из-за этой танцовщицы проблемы себе и нам? — поморщился британец, давая понять, что тема исчерпана, и обсуждать ее подробности не имеет никакого смысла.



— Нужно все основательно взвесить. Разоблачение Маты Хари сильно ударит по моим собственным позициям в германской разведке, — произнес Вильгельм, а мысленно добавил: «Ты, Канарис, всего лишь такой же агент-двойник, как и эта колониальная потаскушка Мата. И если ты уже ничем не способен помочь ей, то, по крайней мере, позаботься о собственной шкуре!»

— Ударит, несомненно, если не прибегнуть к тщательной разработке этой операции. Но в этом я вам попытаюсь помочь.

— Поскольку мой провал, в свою очередь, ударит по вашей карьере, — мстительно улыбнулся Канарис.

— В поле зрения французской разведки, — не придав значения его выпаду Британец, — давно попала другой ваш агент, некая Элизабет Шрагмюллер.

«А вот и шулерская «крапленая дама из рукава»!» — побледнела переносица капитан-лейтенанта от разведки. Если они возьмут в оборот Шрагмюллер, <sup>[24]</sup> проходившую по его картотеке под кличкой Кровавая Баронесса, это будет провалом значительной части агентуры во Франции и Испании. С таким трудом, такими усилиями созданной агентуры!..

— Это еще что за дама? — попытался он соорудить все ту же пресловутую «хорошую мину при скверной игре».

— Вы заходите слишком далеко, Канарис, — вновь осадил его Британец.

— Вы не позволяете мне задавать уточняющие вопросы.

— Зато позволю себе уточнить, что вряд ли вам станет легче от того, что в Берлине вам, британскому шпиону, предателю Германии, придется взойти на эшафот в то же мрачное утро, что и двум вашим агентам в Париже.

Канарис конвульсивно передернул кадыком, словно петля палача уже затягивалась на его шее. Знал бы этот самый Британец, скольких врагов он сумеет ублажить своим разоблачением и с каким вожделенным трепетом они прочтут в газетах о его казни!

— Не спорю, перспектива мрачная.

— Понимаю, вам понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя, но делать это следует по-мужски, не пытаясь сжигать мосты... через Ла-Манш.

— Мосты через Ла-Манш сжигать теперь уже действительно не стоит, — задумчиво согласился Канарис.

— Вашу госпожу Шрагмюллер французы деликатно завербуют, и с ее помощью вы сольете им всю нужную информацию об Утренней Звезде, или как там именует себя госпожа Зелле.

— Но вы не тронете Шрагмюллер.

— Одно из правил английской королевской разведки гласит: «Никогда не следует ни влюбляться самому, ни влюблять в себя своих агентурных женщин». Никакие разъяснения его не сопровождают, однако всем известно, что это слишком дрянная примета, обычно преследуемая неминуемым, умопомрачительным провалом.

— Это мое условие: вы не тронете Шрагмюллер, — не стал оправдываться Канарис.

— Если вы так настаиваете, — благодушно согласился Британец.

— Вы гарантируете, что она сумеет вернуться в Берлин.

— Лучше в Мадрид, — уже откровенно подтрунивал над ним Британец. — Ради сотворения хоть какой-то конспирации, которая понадобится больше вам, нежели Элизабет.

— Вы гарантируете это, — фанатично настаивал на своем Канарис, не вызывая этим у Британца ничего,

кроме оскорбительного сочувствия.

Но и его Канарис воспринимал сейчас с благодарностью. Стремление выступить в роли спасителя Элизабет было продиктовано уже вовсе не тем, что и с Кровавой Баронессой святую заповедь английской королевской разведки он тоже умудрился нарушить. Просто таким образом он пытался спасти уже даже не Шрагмюллер, а собственную честь, остатки профессиональной порядочности и элементарной шпионской этики.

— Предлагаю вполне приемлемый вариант. После сдачи танцовщицы мы позволим госпоже Шрагмюллер благополучно — через милую вашему сердцу Испанию — вернуться в Берлин, чтобы использовать ее в самом крайнем случае, в роли связной. Между мною и вами — связной, — победно улыбнулся Британец.

— Не интересует, каким образом мне удалось установить ваше местонахождение, генерал?

В последнее время Мюллер обращался к Шелленбергу только так: «генерал», вместо принятого в СС «бригадефюрер». И шеф внешней разведки СД нередко задавался вопросом: с чего вдруг? Случайностей у «главного мельника» рейха, как правило, не происходило. Тем более что свое «генерал» он произносил с той долей плебейской иронии, которая выдавала в «гестаповском Мюллере» не уважение к чину и даже не зависть, а все то же, плебейское, пренебрежение ко всяким чинам, заслугам и регалиям.

— Следует полагать, что здание рейхзихерхайдтсхаутамта<sup>[25]</sup> наполнено духами погибших разведчиков и отставных генералов, группенфюрер.

— Отставных генералов? На что вы намекаете, генерал, и кого имеете в виду?

— Это я всего лишь о способности нашего здания порождать слухи и воссоздавать полезную информацию.

Отвечая, Шелленберг мельком взглянул на барона. Однако тот предпочел отойти к окну и теперь, вложив руки в карманы брюк, беззаботно рассматривал очерченный решетками окон мир, легкомысленно покачиваясь на носках своих вечно запыленных сапог. Как бы щегольски ни был одет гауптштурмфюрер Фёлькерсам, сапоги его всегда оставались такими же, как после марша его десантного батальона по склонам Большого Кавказского хребта. На которых барон действительно отличился настолько, что мог теперь

позволить себе даже такую непростительную вольность, как неухоженная обувь.

— Ответ, достойный начальника отдела внешней разведки, — сухо признал шеф гестапо. — Ваш коллега, адмирал Канарис, придерживался такого же мнения.

— Полагаю, что это о чем-то свидетельствует.

— Только о том, что шеф абвера слишком уверовал в своих разведчиков. Настолько, что больше полагался на духов тех из них, что погибли, нежели на живых и все еще действующих агентов. Если бы мы с вами вовремя заметили это, возможно, не допустили бы того, чтобы адмирал и сам превратился в одного из агентов.

— Превращение адмирала Канариса — в агента? — рассмеялся Шелленберг. — Это уже начинает забавлять. И куда, в какую страну вы предполагаете забросить его?

— В агента, генерал, в агента. Но только уже вражеской разведки, — объяснил шеф гестапо непонятливому и слишком уж расшалившемуся Шелленбергу. В трубке было слышно, как злорадно он при этом хохотнул.

— Какой именно? — улыбнулся бригадефюрер, давая понять, что воспринимает это обвинение как очередной ведомственный анекдот.

— Полагаю, что английской. Впрочем, французский след тоже отвергать не стоит, хотя французам сейчас не до него, а ему — не до французов.

— Я помню, что в свое время адмирал пытался наладить связь с английской резидентурой в Ватикане, однако делал он это, по его убеждению, во благо рейха, пытаясь отвлечь англичан от враждебных по отношению к нам мыслей. Считал, что это позволит сосредоточить весь потенциал рейха для борьбы с коммунистами. И, насколько я помню, адмирал сумел убедить фюрера...

— Неверная информация. Убедить в чем-либо фюрера адмиралу так и не удалось, — прервал его Мюллер. — Вы безнадежно отстали от хода событий, Шелленберг. Даже не представляете себе, насколько безнадежно. Впрочем, если окажется, что Канарис на самом деле не английский шпион, а американский или же обеих разведок сразу, в придачу с разведкой Японии, — нас с вами это уже не оправдывает.

— Почему «нас с вами»? — ловил его на слове Шелленберг. — Мы-то с вами какое отношение ко всему этому имеем?

— И нас с вами — тоже, генерал, тоже.

— Разве что в смысле круговой поруки, — скептически проворчал бригадефюрер. — Чего в СС, насколько я знаю, до сих пор не практиковалось.

— До сих пор — да, не практиковалось...

— Тогда кто заинтересован в создании прецедента? И вообще, следует ли воспринимать обвинение Канариса в шпионаже всерьез?

«Мельник» рейха недовольно побряхтел, что напоминало всхрапывание остановленной на полном скаку лошади. Он не ожидал, что Шелленберг захочет схлестнуться с ним.

Поняв, что речь идет об обвинении в шпионаже самого Канариса — о подозрениях, возникавших вокруг адмирала, словно грозовые тучи, барон уже был наслышан, — Фёлькерсам предпочел тотчас же оставить кабинет. Причем сделал это почти на цыпочках, словно побаивался, что до Мюллера может долететь стук его армейских подков.

— О том, что обвинение это следует воспринимать всерьез, вы узнали еще из уст покойного Гейдриха. Вам известно о расследовании по делу, касающемуся «Черной капеллы».<sup>[26]</sup>

— Я помню об этом нашем разговоре с начальником главного управления имперской безопасности, — как можно официальнее подтвердил Шелленберг. — Но совершенно непонятно, почему вдруг мы возвращаемся к нему почти четыре года спустя.

— Только что вы говорили о витающих в этом здании духах. Так вот, можете считать, что на сей раз ожил дух убиенного шефа СД Рейнхарда Гейдриха.

— Говорят, это не первый случай, когда в штаб-квартире СД возрождается тень Гейдриха. Но всегда некстати.

— Не богохульствуйте, генерал.

— В мыслях не было.

— И немедленно зайдите ко мне. Лучше будет, если мы обсудим ваше задание с глазу на глаз.

Когда Шелленберг положил трубку, гауптштурмфюрер Фёлькерсам попытался было войти в кабинет, но, опасаясь столкнуться с решительно направлявшимся к двери бригадефюрером, предусмотрительно отступил. И совершенно не удивился, когда тот прошел мимо него так, словно не заметил.

«Мюллер совсем озверел! Как старший по чину, он, конечно, может потребовать, чтобы я явился к нему в кабинет. Но задание?! — оскорбленно терзался Шелленберг духом сомнений. — С какой это стати Мюллер пытается давать мне задания? И вообще, с каких пор шеф гестапо решил, что ему позволено давать задание руководителю внешней разведки СД?!»

Адмирал проводил взглядом потянувшееся на север, в сторону Померании, звено бомбардировщиков, и мысленно перекрестился. Ничего, что каждый такой полет «коршунов люфтваффе» отдалял его от часа, когда безумие, именуемое войной, наконец-то завершится. Все-таки это были свои.

Впрочем, кто теперь у него «свои»? Похоже, что ныне он чужой для всех — бывших коллег и сегодняшних врагов; для тех, кто отмечал его чинами и регалиями в рейхе, и тех, кто, пребывая по ту сторону Ла-Манша, расценивал его восхождение всего лишь как продвижение своего платного агента...

Канарис ждал и одновременно боялся дня капитуляции, поскольку не знал, что ждет его за этой чертой запоздалого благоразумия. А еще он боялся, что фюрер и Кальтенбруннер не позволят ему дожить до капитуляции. Они не отдадут его в руки англичан или американцев, не говоря уже о русских. Конечно же, не отдадут! И не потому, что слишком уж ненавидят его, нет. На месте любого из них он тоже не позволил бы экс-шефу абвера, вместе со всеми его агентурными связями и имперскими секретами, оказаться во власти какой-либо иностранной разведки. Лучшее, что он мог сейчас предпринять, это скрыться в какой-нибудь из нейтральных стран или, в крайнем случае, затаиться где-нибудь в Альпах, в одной из глухих деревушек, под чужими документами, в глубоком подполье. Канарис прекрасно понимал, что бежать следует немедленно; тем не менее не бежал и даже не предпринимал ничего такого, что способствовало бы его бегству в будущем. Уже сейчас он вел себя как человек, давно смилившийся со своей обреченностью. Причем это было смирение



человека, уставшего бороться за свою жизнь, потерявшего к ней всякий интерес.

Отставной шеф абвера в очередной раз взглянул на часы. Франк-Субмарина явно задерживался. Неспешно прохаживаясь по «каюте», словно предающийся мечтательным экскурсам в историю профессор — перед притихшей студенческой аудиторией, он неохотно и в то же время неотвратно возвращался к тому дню, когда, после встречи с лейтенантом О'Коннелом, вынужден был отправиться в отель «Кордова».

Мата Хари встретила его, лежа в низкой полуовальной кровати. Руки разбросаны, полуоголенные ноги похотливо раздвинуты, подол платья «а ля кастильская цыганка» заброшен почти на живот, и складки его сливались с изгибами небрежно сброшенного аквамаринового сари, в котором она предавалась своим «храмовым ритуальным танцам». Причем нередко зрителем ее становился один-единственный человек — Маленький Грек Канарис.

— Как же долго вы добираетесь, моряк! — проговорила она, не поднимая головы и заставляя Канариса усомниться, за того ли, кого ждала, она принимает его.

— Опять вы не в форме, — проворчал капитан-лейтенант.

— Наоборот, только теперь я по-настоящему в форме.

Миниатюрный столик с графином вина стоял по ту сторону кровати, и Мата Хари дотягивалась до него, не меняя позы, захватывая бокал грациозным движением танцовщицы.

Почувствовав, что женщина и так уже слишком пьяна, Канарис решительно обошел ее лежбище и бесцеремонно изъясил бокал из цепких пальцев.

— Прекратите накачиваться, Маргарет, — сурово пожурил он своего агента. И «колониалка» вдруг

восприняла его бестактность с сугубо восточной покорностью, что случалось с ней крайне редко.

— А что мне еще остается делать? Вы вот уже третий день прожигаете жизнь в Мадриде, но только теперь соизволили навестить всеми покинутую и забытую.

— Всему свое время. И потом, я ведь прибыл сюда не для фиесты.

— Выражайтесь поточнее: вы прибыли в Испанию только ради меня, — приподняв ножку, она поиграла кончиками оголенных пальцев.

Канарис взял графин и принялся к содержимому в нем. Все тот же разведенный водой кисловатый херес. Как испанцы могут литрами поглощать эту гадость?

— Почему вы оставили Париж, Маргарет?

— Он порядком надоел мне, — томно выдохнула «колониалка» и, приподняв грудь и сложившись в мостик, попыталась заглянуть в лицо германцу. Она заранее знала, что на него подобные игры впечатления, как правило, не производят, и все же предпочитала оставаться верной своим привычкам.

— Это не ответ. В Париже у вас был прекрасный салон, отличная клиентура и чудные отзывы в прессе. Там было достаточно болтливых генералов, государственных чиновников и дипломатов...

— Вы бы еще вспомнили о начальнике берлинской полиции бароне фон Ягове. [\[27\]](#)

— А кто убедил вас в том, что мы когда-либо забывали о щедротах обер-полицмейстера Берлина? — с явной угрозой в голосе поинтересовался Канарис. — Но разговор сейчас не о нем. Мы помогли вам снять отличный салон, укорениться в Париже, наладить связи с высшим светом, с бомондом Франции. Вы же все это попытались перечеркнуть одним взмахом своей избалованной ручки.

— Изощренной — так будет точнее.

— Поэтому я и требую, чтобы вы вернулись к себе в салон на бульваре Сен-Мишель.

— Там действительно все выглядело слишком успешным, — признала Маргарет. — Подозрительно, я бы даже сказала непозволительно успешным. Именно поэтому мне осточертела эта столица лягушатников.

— Эмоции меня не интересуют. Вы оставили свой салон без моего разрешения.

— В Испании болтливых генералов и дипломатов будет не меньше, — забросила ногу на ногу Маргарет и принялась ритмично покачивать ею, словно факир своей укротительской дудкой.

— Вы правы, их и здесь будет предостаточно, да только болтовня их Германию не интересует. Я даю вам неделю для того, чтобы ублажить своим присутствием местную публику, после чего вы опять вернетесь в Париж.

, — Это слишком маленький срок, — капризно произнесла Маргарет, поудобнее усаживаясь в постели. — Мадридцы и прочие испашки вам этого не простят.

— Не позже чем через неделю вы вновь объявитесь в Париже, — голос Канариса становился все более угрожающим, — объясняя свое отсутствие снисходительностью по отношению к мадридскому импресарио и условиями контракта.

С минуту Мата задумчиво молчала, затем, глубоко и безнадежно вздохнув, произнесла:

— Это уже невозможно, мой капитан-лейтенант.

— В принципе не приемлю подобных ответов.

— Чего вы добиваетесь, Канарис? Вы ведь прекрасно понимаете, что просто так во въезде в Англию мне бы не отказали. За мной началась слежка. Из Парижа, из Франции я вырвалась только чудом. И теперь, когда я, наконец, вновь оказалась в этой

богоизбранной стране матадоров и прочих бычатников, предательски пытаетесь загнать меня в Париж, прямо на расставленные флажки загонщиков! Жестоко и опрометчиво.

— Мне известно, что за вами была организована слежка. Но, как видите, меня она не встревожила.

— Даже так, вам все было известно?! Позвольте не поверить. Но если это действительно так, тогда чего вы от меня требуете?

— За вами следили не французы, а представители другой разведки, у французов вы все еще вне подозрения.

— У меня более достоверные сведения. Причем полученные от очень надежного человека. Французы уже заподозрили во мне агента германской разведки.

— Как заподозрили бы любого другого агента, который потребовал бы от них миллион франков за свою вербовку, — резко объяснил ей Канарис. — Уже за то, что вы скрыли эту свою «парижскую шалость», вас следовало казнить. Впрочем, казнить, как вы понимаете, никогда не поздно.

— Тогда чего вы тянете, мой Маленький Грек? — Мата томно улеглась на подставленную под бедра подушку. — Приступайте прямо сейчас, — и медленно, похотливо раздвинула стройные, но, как сейчас показалось капитан-лейтенанту, слишком худые ноги. В портовых тавернах такие ноги обычно не котировались.

— Вы не расслышали, Маргарет, я сказал: «Никогда не поздно». Поэтому ровно через неделю вы сядете на судно и отправитесь в Марсель, а оттуда — в Париж. Сейчас вы нужны нам в этом городе, а не в благословенной Богом стране матадоров.

Маргарет поднялась, нервно прошлась по номеру, послала к черту официанта, сунувшегося к ней с вопросом: «Не занести ли сеньоре обед в номер?» — и, схватив графинчик с вином, отчаянно приложились к

нему. При повторной попытке Канарис вырвал посудину из ее рук, но при этом заметил, что какие-либо признаки опьянения с лица женщины неожиданно исчезли. Зато теперь она была явно встревожена.

— Не посылайте меня туда, в этот ваш чертов Париж, господин Канарис, — тихим, упавшим голосом попросила она. — Меня сразу же схватят. Допросы, пытки, казнь... Я этого не выдержу. Не выдержу, не выдержу! — нервно, раздраженно, с нотками отчаяния в голосе, твердила Маргарет, мечась по номеру от стены к стене, словно загнанная в клетку волчица.

— Вы прекрасно знали, на какой риск идете, когда давали согласие сотрудничать с двумя разведками сразу, — холодно процедил Канарис.

— Никакого толка от моей работы в Париже уже не будет. Но если меня разоблачат, мне придется предстать перед французским правосудием в образе германской шпионки. Неужели вы не понимаете, как ужасно это будет выглядеть и для меня, и для вас?

— Тем не менее вы вернетесь туда и продолжите выполнение задания.

— Но зачем, зачем вам это нужно?! Пошлите кого-либо другого, любого из своих агентов! А меня перебросьте в Швейцарию, Норвегию, в Индию или Латинскую Америку. Куда угодно, в любой конец света. А еще лучше — просто оставьте в покое.

— Ни в одном из названных вами регионов никакого интереса для нас представлять вы уже не будете, — цинично гнал ее на охотничью засаду Вильгельм.

Отчаянно покачав головой, Маргарет вновь заметалась по комнате. Она понимала, что немец предал ее, однако понятия не имела, зачем ему это понадобилось и почему он так упорствует в своем стремлении погубить ту, которая подарила ему столько прекрасных мгновений любви.

— Я не могу больше, Канарис! — уже откровенно взмолилась «колониалка». — У меня сдают нервы.

— У меня они тоже сдают, — почти прорычал германец.

— Отпустите меня с миром. Все, что могла сделать для вас, я, видит Бог, сделала, а теперь отпустите меня. Выведите из этой сатанинской игры!

Канарис прошелся по ней холодным, оценивающим взглядом. «Стареющая сорокалетняя матрона!» — последовал его приговор. Ни сочувствия, ни снисхождения эта женщина уже не вызывала. Германец помнил, какие безумные цены за свои услуги заламывала она при вербовке в разведку Германии и как своей алчностью повергала в шок французских вербовщиков.

Эта стерва, сказал он себе, никогда не стоила и четверти того, чего требовала от своих почитателей и резидентов. Как никогда не стоила и четверти тех сумм, которые заламывала за свои услуги в постели. Просто она позволяла себе то, чего не позволяли другие. Но он знал добрую сотню женщин, рядом с оголенным телом которых плоть этой безгрудой, худосочной голландки стоила бы столько же, сколько стоит «походная» подзаборная услуга списанной портовой потаскухи.

\* \* \*

Чтобы как-то успокоиться, Канарис подошел к балкону и отдернул легкую голубоватую занавеску. С высоты третьего этажа он увидел черепичные крыши нескольких домов, теснящихся на склоне холма, за вершиной которого уже просматривалась подернутая легкой дымкой вершина горы, напоминающая растрескавшийся конус вулкана.

Ступив еще шаг, Канарис оказался на балконе и заглянул вниз. Там, вдоль забора, опоясывавшего соседнюю усадьбу, прохаживался человек в светлой, расшитой ярко-зелеными узорами и опоясанной алым кушаком куртке. Лицо его скрывалось под широкополой шляпой, однако Вильгельм мог поклясться, что это был тот самый тип, который условным знаком приветствовал лейтенанта О'Коннела в окне «Банка ди Рома».

— Однажды я уже объяснял вам, Маргарет Зелле, — проговорил Канарис, уловив за спиной едва слышимые шаги приближающейся танцовщицы, — что, дав согласие сотрудничать с германской разведкой, вы оказались за покерным столиком для самоубийц, уходить из-за которого не принято.

— Понимаю, что все не так просто, — Маргарет подалась к нему, протянула руки, чтобы обнять своего «немецкого морячка» за шею, однако Вильгельм спокойно, холодно развел их и направился к двери.

— Вам никогда не объясняли, что такое русская рулетка?

— Кто же не знает эту игру?

— Так вот, больших любителей русской рулетки, чем германские разведчики, вы не встретите.

— Попытаюсь принять ваше утверждение на веру. Тем не менее вы должны изменить свое решение, господин Канарис. Потому что только вы способны спасти меня от неминуемого разоблачения. Или, может быть, меня вы тоже умудрились проиграть в русскую рулетку?

— Соглашение с разведкой — это вам не контракт с импресарио, который можно разорвать, когда заблагорассудится.

— Я понимаю, что продаться разведке — то же самое, что продать душу сатане.

— Только выглядит все это еще необратимее.

— У меня такое впечатление, что вы попросту хотите перепродать меня еще и английской разведке.

— Французской я вас не перепродавал.

— В свою очередь, — не поверила ему Зелле, — сволочные англичане тотчас же предадут меня, выдав французам; точно так же, как в свое время они поступили со своей шпионкой Эдит Кавель.<sup>[28]</sup>

— Мы не станем обсуждать судьбу Эдит Кавель. К тому же для нас не является тайной, что свои встречи с потенциальными информаторами вы большей частью использовали всего лишь для сексуальных забав.

— Жестоко и несправедливо, — каким-то уставшим голосом прокомментировала Маргарет Зелле.

— Шпионаж — уже сам по себе приговор, — вежливо улыбнулся Канарис, прощально приподнимая шляпу, — потому что это навсегда. Независимо от того, какой именно приговор ожидает вас в конце вашей богоугодной службы.

— Сам по себе шпионаж никогда не бывает приговором, если только ему не сопутствует измена, — сверкнула своими миндалевыми глазками Мата Хари.

— Справедливо: если только не сопутствует измена, — мгновенно отреагировал Канарис, уже приоткрывая дверь. — Но в данном случае она уже сопутствует. Так что вам будет над чем поразмыслить, Маргарет Гертруда Зелле.



Мюллер нервно прохаживался по кабинету. Даже после того как бригадефюрер доложил о своем прибытии, он продолжал вперевалочку измерять просторный, но хаотично заставленный креслами и стульями кабинет. При этом он слишком неуклюже лавировал между мебелью, то и дело натываясь на одно из массивных, старинной работы кресел и раздраженно отталкивая его.

— Надеюсь, вам известно, где проживает адмирал Канарис? — наконец поинтересовался он, почти отшвырнув в сторону приставного столика надоевшее кресло.

— Попробовал бы я заявить, что неизвестно, господин группенфюрер!

— Не посмели бы, генерал, не посмели бы. Слишком уж часто вам доставляло удовольствие поглаживать его любимую таксу, восхищаться породистостью его лошади и с благоговением выслушивать его мудрствования по поводу животных, причем с язвительными намеками на нашу с вами человеческую сущность. Попробуйте утверждать, что я хоть в чем-то оказался неточным.

Шелленберга эти познания шефа гестапо не удивили. В свое время, поддавшись источаемому Мюллером крестьянскому обаянию, он сам поведал о визитах к Канарису и о прогулках с ним, а еще о том, как однажды адмирал сказал ему: «Всегда помните о доброте животных, Шелленберг. Возьмем, например, мою собаку — таксу. Она ведет себя скромно и никогда не нагрубит мне, а главное, никогда меня не предаст, чего я не могу сказать о людях».

Вспомнив сейчас эту фразу адмирала, Шелленберг невольно вздрогнул: «А ведь сказано это было тебе! Шеф абвера словно бы предчувствовал, что в роли жандарма, явившегося к нему с арестом, выступить придется именно тебе! И если вспомнить, что по самому образу своего мышления Канарис всегда оставался мистиком, точнее — религиозным мистиком, то, черт возьми!.. Получается, что уже тогда, пару лет назад, он сумел разглядеть на тебе каинову печать!»

— Да-да, Шелленберг, мне прекрасно известно, как дружны вы были с Канарисом, как часто вместе отправлялись в зарубежные вояжи и как адмирал пленил вас своими воспоминаниями о побеге из плена в Чили, о его латиноамериканском броске через Анды, наводненную бандами грабителей Аргентину и контролируемый англичанами Тихий океан.

— Побег Канариса из плена, — не удержался Шелленберг, — и в самом деле достоин того, чтобы лечь в основу если не романа, то, по крайней мере, мемуаров или путевых заметок.

— То есть в деле о «Черной капелле» мы должны будем указать, что ваши частные визиты к адмиралу были связаны с написанием романа о его юношеских похождениях? За вдохновением, так сказать, приходили?

— Характер наших отношений не выходил за рамки великосветской вежливости.

— Еще бы! Прекрасно сказано: «великосветской вежливости». Только вряд ли вам удалось бы убедить в этом кого-либо из моих подчиненных, предающихся душещипательным беседам в подвалах гестапо, — сочувственно покачал головой Мюллер. Он не угрожал, он и в самом деле был убежден, что на его «подвальных извергов», как совершенно справедливо назвал их недавно один из арестованных абверовцев, генерал

Остер, объяснения Шелленберга никакого впечатления не производят.

— При этом в беседах с Канарисом мы почти не касались проблем, связанных с делами наших служб, — завершил свою мысль Шелленберг, стараясь произносить слова так, чтобы они не звучали как оправдание.

Мюллер же выслушивал их, почти вплотную приблизившись к бригадефюреру. Только теперь он по-настоящему оживился, в глазах появился азартный огонек то ли игрока, то ли гестаповца, наостряющего уши при любой неосторожно сказанной фразе.

— Продолжайте, генерал, продолжайте, — добродушно подбодрил «гестаповский мельник». — Прежде всего, хотелось бы уточнить, что стоит за словами «почти не касались». Вы что, вообще никогда не говорили об успехах абвера и СД, о провалах, о связях с англо-американцами, о политике фюрера и будущем рейха?

Все это шеф гестапо произнес таким тоном, что Шелленбергу вдруг показалось, что за ними последует приказ: «В глаза! Когда отвечаете, смотреть в глаза!»

— У нас было достаточно других тем...

— Не верю, чтобы два профессионала от разведки ограничивали свои беседы у камина воспоминаниями о юношеских проделках, собаках и лошадях.

— Только потому и ограничивали этими темами, что чувствовали себя профессионалами от разведки, — язвительно заметил Шелленберг. Однако у Мюллера был слишком большой опыт допросов, чтобы его можно было сбить с толку подобными выходками.

— Генерала Остера, по-вашему, тоже интересовали только кони и дворовые псы? Других тем у них с Канарисом не вырисовывалось?

— Не припоминаю, чтобы наши встречи происходили в обществе генерала Остера.

— Странно, а вот сам генерал Остер... то есть я хотел сказать, бывший генерал, а ныне заключенный одной из камер гестапо Остер, в своих тюремных мемуарах не раз восторгался задушевными беседами на вилле адмирала, в обществе коллег Канариса и Шелленберга.

— После пыток в подвалах гестапо человек способен нести любой бред и давать показания на любого человека, на которого вы ему укажете.

Вот такого выпада Мюллер не ожидал. Высказанная Шелленбергом мысль, конечно же, была до презрения банальной; поражало лишь то, что высказана она была именно им, Шелленбергом. Причем прямо ему в лицо, с явным вызовом.

Мюллер вновь, расшвыривая мебель и чертыхаясь, прошелся по своему кабинету; стоя у окна спиной к бригадефюреру, о чем-то долго ворчал, затем, окончательно успокоившись, повернулся лицом к Шелленбергу:

— Остер, несмотря на безнадежность своего положения, все еще кое-как держится, а вот вы, Шелленберг, не продержались бы на его месте и полдня. Больше чем на два допроса вас не хватило бы.

— Мне не раз приходилось слышать мнение о том, что вас, лично вас, господин Мюллер, в застенках тоже хватило бы ненадолго. Вы сломались бы во время первого же допроса. Правда, я всегда высказывал иное мнение.

— Я всего лишь хотел слышать ваше мнение об адмирале Канарисе, а вы, Вальтер, начали зарываться, — холодным, угрожающим тоном объяснил ему суть назревающего конфликта шеф гестапо.

— Всего лишь сдержанно защищаюсь, — прояснил свою тактику Шелленберг. Однако шеф гестапо никаких объяснений не принимал:

— ...И коль уж вы начали зарываться, то позвольте напомнить, что агент Йозеф Мюллер, имевший неосторожность слыть моим однофамильцем, проходил по вашему ведомству. Его непосредственно вел ваш сотрудник Кнохен. И именно через этого Йозефа, — «гестаповский мюллер» не стал лишним раз упоминать его фамилии, — адмирал Канарис осуществлял связь с высшими иерархами и чиновниками Ватикана, которые, в свою очередь, имели прямой выход на английского королевского посланника в Ватикане сэра Осборна, чье сотрудничество с английской разведкой не требует никаких доказательств. Вы согласны со всем сказанным? Или же опять последуют какие-то возражения?

— Не со всем, но в основном — да. Нет смысла отрицать то, что уже общеизвестно, — помрачнел Шелленберг.

— Тогда, может быть, стоит напомнить вам о том майском, сорокового года, разговоре, который состоялся у меня и у вас с начальником РСХА Гейдрихом. Который прямо приказал вам расследовать дело агента Йозефа Мюллера и провести первый, пусть пока еще неформальный, допрос адмирала Канариса.

— Гейдрих действительно просил меня поговорить с адмиралом...

— Гейдрих не признавал и даже не ведал такого способа общения с подчиненными — «просить». Он приказал вам, Шелленберг, вплотную заняться этим делом, — жестко парировал шеф гестапо. — И я поддержал его в этом решении. Теперь вижу, что мы с Гейдрихом ошиблись в выборе. Вам нельзя было поручать расследование дела Канариса, Вальтер. Вы сделали все возможное, чтобы увести его из-под удара.

— Подобных попыток я не предпринимал, — неуверенно ответил бригадефюрер. Шелленбергу было крайне неприятно то, что Мюллер начал углубляться в

события трехлетней давности, о которых сам он давно хотел забыть.

— Предпринимали, Вальтер, предпринимали. Причем это еще не самый странный и страшный для вас вывод, к которому неминуемо можно прийти, глядя на то, как вы нападаете на старого добряка Мюллера. И, что самое странное, нападаете по совершенно пустячному поводу, — неожиданно мягко, с покровительской отцовской улыбкой на устах, произнес шеф гестапо, — когда добряк Мюллер всего лишь поинтересовался вашим мнением об адмирале Канарисе. Несерьезно это, Вальтер.

— Как вы уже поняли, свое мнение о Канарисе я высказал, — слегка стушевался шеф разведки СД, удивляясь еще и тому, что в кои веки Мюллер вспомнил его имя и теперь не устает повторять его.

— А меня сейчас не интересует ваше мнение, — помахал у него перед лицом своим коротким, загрубевшим крестьянским пальцем обер-гестаповец рейха. — Меня, Шелленберг, интересуют те самые мемуары, или дневники адмирала Канариса, о которых вы, похоже, проговорились.

И вот тут Вальтер впервые за время сегодняшнего общения с «гестаповским мельником» по-настоящему струсил. Бригадефюрер знал, какие головы, и при каких чинах-должностях, ложатся сейчас, в связи с покушением на Гитлера, на плаху гестаповской тюрьмы Плетцензее, а посему не чувствовал себя защищенным от гестапо даже под крылом всемогущего шефа Главного управления имперской безопасности Кальтенбруннера. Весьма ненадежным, кстати, крылом.

— Наверное, вы неправильно меня поняли, господин группенфюрер, — едва сдерживая дрожь в голосе, проговорил Шелленберг. — Мне ничего не известно о каких-то там дневниках, или мемуарах адмирала Канариса.

— О дневниках, именно о дневниках, — с непосредственностью простолюдина подергивал себя двумя пальцами за кончики ноздрей шеф гестапо, — которые сейчас очень заинтересовали бы всех, включая фюрера.

\* \* \*

Только теперь Шелленберг вспомнил, что еще во время ареста одного из ближайших соратников Канариса, абверовского генерала Остера, вдруг всплыл вопрос о неких секретных дневниковых записях, к которым якобы пристрастился шеф военной разведки и контрразведки рейха.

Информацию о ходе следствия по делу Остера гестапо хранило очень тщательно, поэтому даже в стены разведки СД не проникли сведения о том, кто первым упомянул об этих дневниках Канариса.<sup>[29]</sup> И вообще упоминал ли кто-либо. Возможно, сведения о них следователю гестапо действительно удалось вырвать из уст самого генерала Остера, а возможно, они всплыли из иного источника или же появились в виде предположения. Но Шелленбергу было прекрасно известно, как, не имея пока что «доступа к душе и телу» самого главы военной разведки, гестаповцы пытали подчиненного ему генерала в надежде заполучить хоть какие-то сведения об адмиральских мемуарных упражнениях.

— Сам-то я, как вы знаете, вообще не любитель чтения, — наваливался тем временем на него обергестаповец, словно айсберг — на утлую лодчонку рыбака, демонстрируя явное нежелание воспринимать его благородное неведение, — а уж тем более — чтения чьих-либо дневниковых стенаний. Но ведь кому, как не вам, — оскалил он желтизну своих полуразрушенных

зубов, — шефу разведки СД, зная, какой благодатный материал ждет нас на скромных страничках адмиральских откровений.

— Мне действительно ничего не известно о дневниках адмирала, — как можно жестче произнес Шелленберг, полагая, что именно в его жесткости Мюллер постарается узреть искренность. И был оскорбительно поражен, когда в ответ услышал:

— Вы слишком молоды<sup>[30]</sup> и простодушны, Шелленберг, чтобы лгать старому доброму дядюшке Мюллеру.

Несколько секунд бригадефюрер колебался между вулканическим извержением гнева человека, которому официально плюнули в лицо, и наивным стремлением убедить обер-гестаповца рейха в своем искреннем неведении, покорив его при этом своим спокойствием и кротостью. Однако эти его колебания Мюллер переживал, уже стоя у окна, спиной к нему, мерно покачиваясь на носках своих новеньких, до блеска надраенных сапог.

— Мой ответ вам уже известен, господин группенфюрер, — избрал Шелленберг нечто усредненное между гневом и кротостью, хотя и понимал, что за оскорбительное подозрение, за «плевок в лицо», извиняться перед ним не станут. — Мне никогда не приходилось слышать от адмирала ни о каких его дневниках, ни о каких записках.

— Печальна и неубедительна ваша исповедь, Шелленберг. Создается впечатление, что как шеф разведки СД вы ничего не почерпнули и даже ничего не пытались почерпнуть из бесед с Канарисом.

— Как и он — из бесед со мной, — иронично парировал Шелленберг. — Или такое объяснение вами тоже не воспринимается?

— С трудом.



— К тому же, — не стал придираться к этому замечанию Шелленберг, — мне трудно представить себе, чтобы шеф абвера хранил у себя некие дневниковые записи, которые касались бы его преступных связей с иностранными разведками или с заговорщиками, покушавшимися на фюрера.

— Мне тоже казалось, что руководитель внешней разведки СД Шелленберг не должен увлекаться дневниками, — проговорил Мюллер, все еще стоя к нему спиной и медлительно переваливаясь с пятки на носок. — Но ведь втихомолку вы все же кропаете, все же не брезгуете пачкать свои пальчики в мемуарных чернилах. Ведь не брезгуете же!

— Не веду ничего, кроме сугубо деловых, служебных записей, которые затем уничтожаю.

— Дай-то Бог, — «гестаповский мельник» явил ему свой победно ухмыляющийся лик. — Но пока что в этом здании мне известен только один человек, которого тошнит от самого вида чернильницы. Не думаю, что вам нужно называть его имя.

— В этом нет необходимости, — попытался изобразить некое подобие улыбки Шелленберг, моля Господа о том, чтобы «гестаповский мельник» не устроил ему форменный допрос по поводу существования его собственных дневников. Правда, там Мюллер не нашел бы ничего такого, что способно было бы скомпрометировать шефа разведки СД в глазах фюрера. Уже хотя бы потому, что он, Шелленберг, ни в какие сети заговорщиков никогда не попадался. И все же это было крайне опасно.

Ведь если бы шеф гестапо действительно добрался до его записей, то, к своему удовольствию, обнаружил бы одну из них, сделанную уже после того, как, в день покушения заговорщиков, будучи насмерть перепуганным, Канарис направил фюреру преисполненное раболепия письмо, в котором

благодарил Бога за то, что тот сохранил вождю нации жизнь. А еще — желал Гитлеру долгих лет, а главное, заверял в своей неподкупной верности. И это адмирал Канарис благодарил Бога за сохраненную фюреру жизнь! Бред какой-то! Действительно, бред, но... основанный на суровых реалиях жизни.

Так вот, если дневник Шелленберга в самом деле оказался бы в руках Мюллера, тот нашел бы там немало строк, посвященных Канарису Проникновенных, душевных строк. Потому что, узнав о восторженном письме адмирала, бригадефюрер по-детски возрадовался за своего коллегу, за то, что тот остался в лагере фюрера, а не переметнулся к путчистам. Но, как он начинал понимать теперь, возрадовался слишком поспешно и легкомысленно.

Мюллер был прав: он, Шелленберг, и в самом деле, втайне от всех вел дневник, кропал, старался увековечить для будущих поколений все то, чем жил он сам и чем жила верхушка рейха. И, понятное дело, там находилось немало места для шефа абвера, для их с Канарисом встреч, бесед, размышлений и зарубежных поездок. Не хотелось бы Шелленбергу, чтобы эти записи уже завтра оказались в руках Мюллера. Не потому, что в них и в самом деле содержалось что-либо такое, что представляло интерес для следователей гестапо или Народного суда. Наоборот, там даже содержалась определенная критика абвера и его руководителя. Просто Шелленбергу противно было бы сознавать, что Мюллер получил очевидное подтверждение своей правоты: оказывается, шеф разведки СД действительно «не побрезговал испачкать свои пальчики в мемуарных чернилах».

Вспомнив о своих записях, Шелленберг с детской наивностью в глазах взглянул на Мюллера. Это был взгляд нерадивого школьника, надеющегося на то, что ему удастся провести учителя.

— Что, Вальтер, оживили свою память и пришли к скорбному выводу — что вам тоже будет что вспомнить по поводу дневниковых записей: и адмирала Канариса, и своих собственных?

— Я не об этом думал, группенфюрер.

— Мой вам дружеский совет: не пачкайтесь чернилами, сотворяя свои походные дневники. Чернильные пятна, остающиеся на полях послевоенных мемуаров разведчиков, слишком трудно выводятся. А если их и удастся выводить, то вместе с кровью. Да, зачастую — с кровью. Не знаю, как вы, а вот адмирал Канарис очень скоро убедится в этом на личном опыте.

Шелленберг выжидающе уставился на первого гестаповца рейха. Ему вдруг показалось, что данный ему совет, скорее всего, адресован Канарису. Шеф гестапо стремится таким образом использовать его в качестве курьера, который должен предупредить Канариса: «Пора жечь все, что может вас скомпрометировать!»

Но, во-первых, это могло быть лишь очередной провокацией «гестаповского мельника», которая позволила бы уличить его в преступных связях с «адмирал-предателем». Во-вторых, бригадефюреру даже трудно было себе представить, что после предыдущего ареста и всех тех потрясений, которые адмиралу Пришлось пережить, уже стоя, по существу, под петлей палача, в его сейфах и тайниках все еще может оставаться нечто такое, что могло бы

окончательно скомпрометировать его перед законом и фюрером.

Но самое важное, что по своему внутреннему убеждению Вальтер не желал быть хоть каким-то образом причастным к столь бездарно спланированному и окончательно провалившемуся заговору против Гитлера. К этому воистину бездарному заговору! Уж кто-кто, а он, лично он, перед фюрером и рейхом чист. Во всяком случае, перед рейхом. При всем его, Шелленберга, ироничном отношении лично к фюреру. Как, впрочем, и ко всем тем, кто готовил заговор против него.

— А теперь о том главном, ради чего я пригласил вас к себе, генерал, — внезапно вырвал его из потока раздумий Генрих Мюллер, считая, что Шелленберг получил хороший урок примерного поведения в здании гестапо. А главное, теперь уже достаточно подготовлен к тому, чтобы приняться за выполнение приказа Гитлера.

— Значит, все предыдущее было не главным?! — исподволь вырвалось у Вальтера.

— Могу же я время от времени позволять себе просто так поболтать с моим юным другом Шелленбергом?

— Естественно, — холодно отчеканил тот. — Всегда к вашим услугам.

— Так вот, приказ фюрера предельно прост. Вы должны немедленно отправиться к своему коллеге, бывшему шефу абвера, и объявить, что он арестован. [\[31\]](#)

— Бригадефюрер никак не отреагировал на приказ, и Мюллеру показалось, что он попросту не уловил его смысла. — Вы должны арестовать Канариса, — почти по слогам повторил шеф гестапо, который так и не понял, что на какое-то время Шелленберг буквально оцепенел

от удивления. То, что он только что услышал, показалось ему совершенно невероятным.

— Простите, группенфюрер?.. — почти заикающимся голосом произнес он.

— Что вам непонятно, бригадефюрер Шелленберг? Я обязан повторить приказ?

— Скорее, разъяснить его.

— Это начальник РСХА Гейдрих в свое время просил вас, как вы утверждаете, «всего лишь поговорить с Канарисом». Я же приказываю арестовать его. Без каких-либо утомительных выяснений и расспросов о здоровье. Короче, вообще без лишних разговоров, просто взять и арестовать.

— Во-первых, на каком основании мы должны арестовывать Канариса?

Мюллер саркастически ухмыльнулся. Он вспомнил свой недавний разговор с Кальтенбруннером, на распоряжение которого об аресте Канариса отреагировал почти так же, как только что Шелленберг отреагировал на его собственное распоряжение.

— На основании приказа.

— Вашего личного приказа?

Мюллер хотел сказать, что речь идет о приказе фюрера, однако в последнее мгновение вдруг взревел:

— Да, моего! Этого вам недостаточно?!

— Я имел в виду юридические основания.

— Приказ об аресте и есть то юридическое основание, которое позволяет вам взять адмирала под стражу.

— Речь идет о вашем письменном приказе? Мне хотелось бы получить его, прежде чем я отправлюсь.

Мюллер замешкался и растерянно пожевал нижнюю губу. Ему и в голову не приходило задумываться над тем, что Шелленбергу может понадобиться его письменный приказ.

— Никаких письменных приказов не последует, — наконец отрезал он. — Сами рассудите: к чему все эти канцелярские излишества?

— А если адмирал потребует, чтобы я предъявил какое-то основание, некий ордер на арест?

— Объявите ему, что действуете по личному приказу Кальтенбруннера. Что вы простреливаете меня взглядом? Считаете, что адмиралу этот аргумент покажется недостаточным и он потребует санкции прокурора? — По тому, с какой хищной яростью рассмеялся Мюллер, шеф германской службы внешней разведки понял, что тот настроен крайне агрессивно.

— Так все же, по приказу Кальтенбруннера или по вашему личному приказу? — не мог скрыть своей уязвленной язвительности Шелленберг.

— Считаете, что по моему личному приказу вы бы к адмиралу не отправились? — вмиг посуровело лицо Мюллера, а в глазах его взблеснули огоньки мстительности. — Вы действительно так считаете, бригадефюрер?!

— Речь идет об аресте человека, все еще занимающего довольно высокое положение в рейхе и хорошо известного далеко за его пределами, — вынужден был сменить тон обер-разведчик СД. — И для меня важно было...

— Для вас, — резко перебил его «гестаповский мельник», — сейчас важно только одно: подчиниться приказу. Арестуйте его и отвезите в Фюрстенберг.

— Разве в Фюрстенберге когда-либо была тюрьма или создан какой-либо лагерь?

— До сих пор не было, — наконец-то отвел от него Мюллер свой пронизывающий взгляд и прошелся взад-вперед по кабинету. — Но мы организовали там тюрьму, Шелленберг.

— Понимаю, — обронил бригадефюрер, убеждая самого себя, что уйти от выполнения этого приказа

группенфюрера СС не удастся.

— Это хорошо, что вы понимаете, Шелленберг.

— К кому я должен буду обратиться в Фюрстенберге?

— Начальник тамошней школы пограничной охраны генерал СС Трюмлер будет предупрежден. Некоторое число арестованных уже содержится под его опекой, поэтому скучать Канарису не придется.

— Но это уже будет заботой генерала Трюмлера.

— Не обольщайтесь, бригадефюрер. Через своих людей вы должны будете контролировать пребывание адмирала в Фюрстенберге до тех пор, пока те, кто занимается его делом, не выяснят все детали этого рейхс-скандала. Именно рейхс-скандала, Шелленберг.

Внешне бригадефюрер никак не отреагировал на повышение его тона, и в кабинете воцарилось молчание, которое начало раздражать Генриха Мюллера буквально с первых же секунд. Когда, по его мнению, оно слишком затянулось, шеф гестапо буквально взорвался.

— Что вы молчите? Вам все еще не ясен приказ? Или же вам не ясно, что это не дружеская просьба добряка Мюллера, а именно приказ?

И тут вдруг взвинтились нервы у Шелленберга, который понял, что в центре этого рейхс-скандала вместе с Канарисом окажется теперь и он сам.

— Просто я все еще жду объяснений.

Мюллер поперхнулся от его наглости, начал было говорить, но голос настолько осип, что ему пришлось повторить первые слова:

— Каких таких объяснений, генерал?

— Почему вдруг эту грязную работенку решили взвалить да меня?<sup>[32]</sup> У вас, господин группенфюрер, что, нет под рукой офицеров, предназначение которых — осуществлять подобные аресты?

— Ну, не так уж часто мы арестовываем адмиралов, да к тому же руководителей абвера. Так что вы в роли жандарма — **это** оказание чести, если хотите — дань былым заслугам Канариса и его чину, которого он пока еще не лишен.

— Но вы должны понимать, что ваше поручение крайне неприятно для меня, и если будете настаивать на его выполнении, я вынужден буду доложить об этом рейхсфюреру СС Гиммлеру.

— Я бы не советовал впутывать в эту историю еще и рейхсфюрера СС, — ничуть не смутился Мюллер. — При всей вашей склонности к подобным авантюрам.

Об авантюрах Мюллер сказал вроде бы шутя, однако Шелленбергу было не до шуток. Мало того, что ему неприятно осуществлять арест адмирала, так он еще и не мог понять, кто же в действительности отдал приказ об этом аресте. Ведь не мог же Мюллер сам решиться на такой шаг!

— Мне казалось, что, кроме фюрера, такой приказ мог отдать только Гиммлер... — как можно деликатнее начал подступаться к разгадке этой тайны будущий тюремщик адмирала.

— Вы ведь прекрасно осведомлены о том, что расследовать заговор 20 июля фюрер поручил обергруппенфюреру Кальтенбруннеру, а не Гиммлеру. Зачем же сваливать на рейхсфюрера то, что мы обязаны сделать без него? Вот я сейчас пытаюсь свалить на вас эту грязную работу, и вас это обижает, не правда ли? Так пощадим же нервы и самолюбие Гиммлера!

«Он слишком уверен в поддержке Кальтенбруннера, — понял Шелленберг. — «главному Мюллеру» рейха кажется, что вдвоем, плечо в плечо, они несокрушимы, даже перед угрозой со стороны Гиммлера. Который, конечно же, не станет впутываться в «абверовскую историю», предоставив мне самому выяснять отношения с этими монстрами».



— Итак, — вернул его Мюллер к суровой реальности, — вам надлежит немедленно отправиться в дом к адмиралу Канарису, арестовать его и доставить в Фюрстенберг. В принципе, я могу повторить приказ еще раз, но если вы откажетесь выполнять его, придется расценить это как неповиновение.

Для того чтобы в словах «гестаповского мюллера» прозвучала угроза, ему не обязательно было повышать тон и демонстрировать решительность. Всякий имевший дело с шефом гестапо знал: чем мягче и рассудительнее он становился, тем большая опасность нависала над каждым, кто оказывался избранным в качестве жертвы.

«Дело не в неповиновении, — понял Шелленберг. — Все значительно сложнее. Откажись я сейчас арестовывать Канариса — и Мюллер, и Кальтенбруннер сегодня же заведут на меня уголовное дело «О предателе рейха бригадефюрере Вальтере Шелленберге». В результате меня постигнет та же участь, что и некоторых подчиненных Канариса, которых арестовали задолго до ареста их шефа. Похоже, что для полноты общего впечатления в списке врагов рейха не хватает сейчас только меня».

— Мне очень жаль, господин группенфюрер, что в этой ситуации вы пытаетесь низвести меня до роли рядового исполнителя. Хотя я понимаю, — тотчас же попытался спасти свою **гордость** Шелленберг, — что речь идет об адмирале, руководителе разведки...

— С этого и следовало начинать ваши размышления. Речь идет об адмирале, а также о вашем коллеге по разведке и даже, в определенном смысле, приятеле.

— О том, что меня причисляют к приятелям Канариса, узнаю впервые. Но промолчу по этому поводу, понимая, что в создавшейся ситуации мои возражения могут быть истолкованы как отречение труса.

— Видите, как важно беречь свою репутацию, бригадефюрер, — назидательно молвил шеф гестапо. — К тому же, в конечном итоге, все мы — рядовые исполнители. Так стоит ли огорчаться по этому поводу?

На сей раз ожидать реакции бригадефюрера Мюллер не стал, а разрешил ему покинуть кабинет, причем сделал это со спокойствием человека, честно исполнившего свой долг.

Вернувшись в кабинет Фёлькерсама, бригадефюрер обнаружил, что барона там нет. Впрочем, его присутствие и не понадобилось, поскольку интересующая Шелленберга папка лежала на столе. Но, прежде чем вновь обратиться к знакомству с бумагами, Вальтер еще какое-то время настороженно смотрел на трубку телефонного аппарата, словно ждал, что она опять оживет, послышится голос шефа гестапо и выяснится, что все ранее сказанное следует воспринимать как шутку.

— Позвольте войти? — появился в дверях фон Фёлькерсам, и Шелленберг заподозрил, что за все то время, которое он провел у Мюллера, барон так ни разу и не заглянул сюда. Слово бы опасался, что следующим звонком шеф гестапо и его тоже потребует к себе.

Гауптштурмфюрер даже предположить не мог, каким странным образом его возвращение способно осенить Шелленберга.

«Хорошо, я поеду к Канарису, — сказал себе шеф разведки СД, — но только с Фёлькерсамом в ипостаси конвоира! Присутствие при этом гауптштурмфюрера хоть в какой-то степени облагородит мою жандармскую миссию. Ибо не генеральское это дело — арестовывать адмиралов!»

— Благодарю, что вы проявили достаточное чувство такта, гауптштурмфюрер, когда оставили кабинет, чтобы дать мне возможность пообщаться с шефом гестапо, — сухо молвил Шелленберг, стараясь найти в нем союзника и как бы заранее извиняясь за всю ту историю, в которую собирался втравить барона.

— Я так понимаю, что разговор с Мюллером выдался не из приятных?

Барона не интересовала суть беседы двух генералов СС, он всего лишь стремился дипломатично посочувствовать Шелленбергу и был крайне удивлен, когда узнал, что, оказывается, и к нему эта беседа тоже имеет самое прямое отношение.

— Я бы даже уточнил, что он оказался из очень неприятных. И не только для меня, но и для вас. — А выждав, пока лицо барона достаточно посереет, поскольку бледнеть оно уже, очевидно, было не способно, пояснил: — Нам вместе придется отправиться к адмиралу Канарису. Как говорят в таких случаях дипломаты, с весьма деликатной миссией.

— В абвер?

— Адмирал Канарис абвером уже не руководит, — напомнил ему Шелленберг. — Так что отправимся мы с вами к адмиралу домой.

— Прямо сейчас? — недоуменно взглянул гауптштурмфюрер на лежащие на его столе бумаги, словно собирался сослаться на спешные дела. Хотя прекрасно понимал, что никакие ссылки в его положении воздействия не возымели бы.

— Немедленно.

Фёлькерсам старательно помассировал ладонью подбородок.

— Неужели дело дойдет даже до ареста? — недоверчиво покачал он головой.

— В гости, насколько мне помнится, адмирал нас не приглашал.

— Что же в таком случае? Неужели действительно арест?

— Вы ведь прекрасно знаете, что к этому все и шло.

— В свое время я служил под командованием адмирала Канариса, — угрюмо напомнил Фёлькерсам. —

И до сих пор не считаю эти дни самыми мрачными в своей жизни.

И Шелленберг понял, что сейчас барон чувствует себя таким же оскорбленным, как еще недавно чувствовал себя он сам. В этом не было бы ничего страшного, если бы сам он, Шелленберг, не оказался в глазах гауптштурмфюрера в роли... Мюллера.

— Лично мне, барон, служить под началом Канариса не довелось. Но отправиться к нему домой и выполнить приказ обергруппенфюрера Кальтенбруннера, — шефа гестапо Шелленберг упоминать не пожелал, давая понять, что тот — всего лишь передаточное звено, информировавшее о воле их общего шефа, — нам придется вместе. Спишите это на один из парадоксов войны. — Барон хотел что-то возразить, однако Шелленберг резко прервал его: — Это в наших интересах, гауптштурмфюрер. В общих интересах!

Барон взглянул на Шелленберга каким-то отрешенным, стекленеющим взглядом, по которому тот понял, что его собеседник даже и не пытается прояснить для себя, о каких таких интересах идет речь.

— Ладно, — вдруг неожиданно для самого себя произнес бригадефюрер, — перенесем поездку к адмиралу на завтра.

— Действительно, давайте перенесем, — оживился Фёлькерсам. — Подарим адмиралу еще один день свободы.

— Я не собираюсь дарить этому изменнику ни часа свободы. Просто мы перенесем время ареста.

— Именно так я и воспринял ваше решение.

— Кроме всего прочего, мне бы еще хотелось посоветоваться с Кальтенбруннером, а возможно, и с самим Гиммлером.

— Предвижу, что затягивание нашего визита вызовет у Мюллера раздражение, однако ничего изменить в вашем решении он уже не сможет. Зато мы

позволим старику еще один день провести у себя на вилле, в родных стенах, — произнес Фёлькерсам, отдавая себе отчет в том, что говорить такое по поводу Канариса после гневного обвинения его Шелленбергом в измене — прямой вызов.

Но в эти минуты Фёлькерсаму уже было все равно: решение Шелленберга привлечь его к аресту адмирала взбудоражило душу. Не хватало только, чтобы он, потомок благородного прусского рода Фёлькерсамов, завершал войну в роли подручного «гестаповского мюллера», лично арестовывавшего Канариса!

«Как бы со временем ни оценивали роль Канариса в истории Третьего рейха, — сказал он себе, словно зачитал приговор самой Истории, — от клейма «тюремщика адмирала» ни тебе, ни потомкам твоим уже не отмыться! И кто знает, каким боком приплетет тебя народная молва к самому факту провала и казни адмирала, не окажешься ли ты потом козлом отпущения? Поэтому молись, чтобы произошло чудо, вместе с Канарисом — молись!»

И благо, что бригадефюрер предпочел не обращать внимания на его излишнюю, такую не свойственную барону, нервозность, на его антимюллеровский настрой.

— Да и нам с вами тоже следует подготовиться к этой поездке, — явно подстраховываясь, подбросил он Шелленбергу еще одно оправдание.

— В конечном итоге вы правы, — задумчиво ответил тот, прерывая какие-то собственные терзания, — все равно получается, что то единственное, что я мог сделать для адмирала как для человека, которого когда-то уважал, я сделал: подарил ему еще один день свободы, а возможно, и жизни. Ни он, ни кто-либо иной не вправе требовать от меня большего.

Все еще пребывая в состоянии едва сдерживаемого раздражения, Фёлькерсам взял в руки первую

попавшуюся папку, подержал ее на весу и швырнул на кипу остальных бумаг.

«Все, что угодно, только не арест Канариса! — было начерчено на его лице гримасами страдальца. — В любой фронтовой ад, на гибель, только не этот позор!»

Расшифровав его страдания, Шелленберг злорадно улыбнулся: «Не одному же мне терзаться муками совести и сомнений, барон!» А вслух спросил:

— Или, может быть, вы решили, что и в этом случае я не прав?

— Независимо от моего мнения по этому поводу... Мне так и не понятно, почему арест Канариса Мюллер поручил именно вам.

— Можете предполагать любую причину, кроме какого-то особого уважения Мюллера ко мне, грешному.

— Вот и я считаю, что для выполнения этого задания «гестаповский мельник» мог бы послать кого-либо из своих подручных.

— В том-то и дело, — с безысходностью в голосе произнес Шелленберг, — что этими подручными он теперь считает нас с вами, гауптштурмфюрер.

Брефт заставил себя ждать лишних пятнадцать минут, которые Канарису показались слишком томительными. В какие-то минуты адмирал даже усомнился: появится ли его старый сослуживец вообще. Уж не померещился ли ему весь этот разговор с Франком-Субмариной, о котором в течение многих месяцев ничего не было слышно, и Канарис даже собирался причислить его к легиону исчезнувших без вести, коих в последнее время в абвере становилось все больше и коих называли теперь «агентами-призраками».

— В прихожей вас ждет какой-то моряк, мой гран-адмирал, — доложила Амита как раз в ту минуту, когда адмирал уже почти убедил себя, что ждать фрегаттен-капитана бессмысленно.

— Это не он, это я жду, — сухо уточнил Канарис. — Только потому, что этот наглец заставляет меня томиться ожиданием.

— Сейчас же дам ему это понять, заставив теперь его самого около часа ждать в вашей прихожей, — воинственно пригрозила служанка.

— Не имеет смысла: этот нахал все равно ворвется сюда. Поэтому пригласите его, Амита, и приготовьте нам чего-нибудь.

— Гостю — покрепче, а вам, мой важный гран-адмирал, как всегда в подобных случаях, придется довольствоваться яичным глинтвейном, — объявила испанка тоном, который не допускал возражений.

Этим странным чином — гран-адмирал, Амита наделила Вильгельма еще в те далекие годы, когда он даже не мечтал об адмиральских погонах. Для нее он



всегда был «важным большим адмиралом» и таковым останется до конца дней своих.

Вместо того чтобы остановиться у двери и если не доложить о своем прибытии, то хотя бы из вежливости, из дани традиции отдать честь, Брефт ввалился в адмиральскую «каюту» так, словно спасался от погони. Как ни странно это выглядело для Канариса, его агент-полупризрак был облачен в черный мундир офицера флота. Хотя с тех пор, как он стал агентом абвера, ходил только в гражданском.

«С офицерскими погонами сейчас надежнее», — признал его правоту Канарис, дважды смерив гостя придирчивым взглядом.

— Что это за типы у вас там внизу, адмирал?

— Какие еще типы? — насторожился бывший шеф абвера.

— Ну, те, что бродят у вашей виллы? На ваших личных охранников они не похожи.

— Да нет у меня никакой охраны. Хотя, конечно, полагалось бы...

Обычные человеческие плечи у Брефта почти отсутствовали, они были заменены двумя гиреподобными довесками к хребту. Произнося ту или иную фразу, он время от времени вращал ими, словно цирковой борец перед очередной схваткой.

— Тогда это гестапо. Наверняка Мюллер постарался.

— Эти люди пытались задержать вас, устанавливали вашу личность?

— Всего лишь прохаживались по дорожке, наблюдая за вашей виллой. Увидев мою машину, они ввалились в «опель» и укатили. Но, очевидно, ненадолго.

«Неужели Мюллер решил «пасти» меня?! — возмутился адмирал. — С каких это пор? И по чьему приказу? Разве что Кальтенбруннеру захотелось окончательно покончить не только с абвером, но и с Канарисом? — Подозрение, касающееся Гитлера, он

почему-то сразу же отверг. Может, только потому и отверг, что в этом ему чудилась последняя надежда на спасение. — Впрочем, это не так уж и важно, кто именно...»

— А ведь вполне может быть, что у вашего дома разминались люди Шелленберга, — вклинился в его бурное молчание Брефт и, не ожидая приглашения, уселся в высокое массивное кресло. — Скорее всего, Шелленберга.

— Почему ты так решил, Франк-Субмарина?

— Кто же теперь ваш непосредственный преемник? Получается, что он, бригадефюрер.

— Люди могут быть чьи угодно, да только Шелленберг палец о палец не ударил, чтобы получить в наследство моих абверовцев.

— Кто знает, кто знает, — настоятельно продолжал рассеивать семена подозрения фрегаттен-капитан.

Ему хватило нескольких мгновений, чтобы окинуть взглядом превращенные в музейные стенды шкафы и книжные полки и понять, что адмирал продолжает существовать в своем псевдоморском мирке, к которому абвер как таковой никакого отношения не имеет.

— Впрочем, все может быть; допускаю, что здесь действительно резвятся парни Шелленберга, теперь это не так уж и важно, — вяло согласился Канарис, чувствуя, что ему уже и в самом деле безразлично, чьи там люди маются бессонницей у ворот его виллы.

— Гестаповцы ведут себя более нагло. Вряд ли, завидев меня, они уехали бы. Скорее, наоборот, устроили бы проверку документов.

— Возможно, они просто не торопятся с проверкой, — только теперь опустил в кресло по ту сторону журнального столика адмирал. — Особенно если мой телефон уже прослушивается. Считают, что у них все еще достаточно времени.

— А может, это лишь мы с вами самонадеянно верим, что у нас все еще есть время, адмирал? А на самом деле...

— Что «на самом деле»?..

Они встретились взглядами, и серое, с запавшими щеками, лицо Брефта почудилось адмиралу Канарису посмертной маской. Жаль только, что в течение какого-то времени он все еще вынужден будет созерцать его.

— На самом деле мы уже давно вспарываем днищами прибрежное мелководье на кладбище кораблей.

— Что тебя привело ко мне, Брефт? Тебе ведь известно, что я уже не у дел?

— Это все они, отстранявшие вас, вскоре останутся не у дел.

— Очевидно, ты не понимаешь всей серьезности моего положения, Брефт. Одиннадцатого февраля фюрер приказал отстранить меня от руководства военной разведкой, подчинив абвер общему командованию рейхсфюрера СС Гиммлера. Понятно, что сам рейхсфюрер никакого особого интереса к абверу не проявляет. Зато мне пытались преподнести это как стремление фюрера сосредоточить всю разведку — армейскую и СД — в одних руках, конкретно в руках Шелленберга. Аргументы, правда, оказались слишком неубедительными, но кого это теперь волнует?

— Особенно после того, как на условиях домашнего ареста вас поместили в замке Лауэнштейн, строго-настрого запретив покидать его пределы и контактировать с кем бы то ни было, кроме коменданта, охраны и следователей гестапо.

— Оказывается, тебе все известно, хотя в то время мое местопребывание оставалось одной из величайших государственных тайн...

Брефт криво ухмыльнулся и, предаваясь то ли многолетней привычке, то ли давнему нервному

расстройству, подергал левой щекой.

— Просто время от времени мне приходится поднимать перископ и осматривать акваторию жизни.

— И что же там, на поверхности?

— Океан свободы, адмирал. Отстранив вас от руководства гориллым заповедником, именуемым абвером, они оказали вам неоценимую услугу.

— Странное у тебя представление о чувствах человека, потерявшего столь высокую государственную должность.

— Я не о чувствах отставника, есть мысли подальновиднее... Когда союзники войдут в Берлин, им прежде всего понадобятся те, кто боролся с Гитлером и кого можно привлечь к сотрудничеству, не особенно мараясь близостью с военными преступниками.

— Вам, господин Брефт, коньяк, — появилась с подносом Амита. — А вам, гран-адмирал, — яичный глинтвейн.

— Все та же «канарка-канарейка»? — довольно ухмыльнулся Брефт, поведя ладонью по раздобревшему бедру женщины. — Завидное постоянство, господин адмирал, в самом деле завидное. А главное, теперь она уже в моем вкусе. Раньше чуточку недобирала в весе, возможно, самую малость, но... не добирала. Вкусы старого моряка, знаете ли. Сейчас о ней этого не скажешь.

Спокойно отреагировав на его прикосновение и на сомнительный комплимент, сорокалетняя Амита, со всей возможной в ее возрасте и при ее комплекции грациозностью, повернулась и, сопровождаемая жадными взглядами обоих мужчин — а ведь еще недавно адмирал оставался безучастно холоден к ней, — вышла.

— Я не собираюсь радоваться приходу англичан и уж тем более не готовлюсь к сотрудничеству с ними.

— Даже в вашем отношении к этой служанке проявляется одно из лучших ваших качеств, господин адмирал: вы не предаете старых друзей, — ушел Брефт от разговора об отношении к англичанам. — Редчайшее по нынешним временам качество. Многие предательство почитают теперь за благо.

Прежде чем увлечься глинтвейном, Канарис налил и себе немножко коньяку, и они как-то поспешно, без тоста, словно бы прячась от кого-то, выпили. Потом еще по одной. Лишь после этого Франк принялся за бутерброд — и по тому, как бурно он жевал, угадывалось, что человек этот основательно голоден. Канарис же взял бокал с глинтвейном и медленно, аристократически потягивал из него, время от времени ожидая поглядывая на гостя.

— Три месяца назад твои следы затерялись где-то в Великобритании, — наконец заговорил он о том, что больше всего интересовало его сейчас.

— Причем основательно затерялись, — беззаботно подтвердил Брефт.

— Что же происходило дальше? Мы уже собирались было зашвырнуть твое «личное дело» в особый сейф убитых и пропавших без вести.

— В «сейф призраков», значит. Ну да, понятное дело: чуть что — сразу в «сейф призраков»! — Правая бровь Брефта поползла к длинной желтоватой залысине и замерла где-то там, в складках черноватых морщин. — Стоило ли так торопиться, адмирал? С этим всегда успеется. И вообще, скоро все мы превратимся в призраков.

— Отбросим общие рассуждения, фрегаттен-капитан, — чуть пригасил свое раздражение Канарис. — Что происходило дальше?

— В Англии оставаться мне уже было нельзя.

— Это понятно.

— С трудом, через Ирландию и Испанию, я сумел добраться до Шербура. Но вскоре туда же устремились англичане. Первые две волны «очистки территории»

мне пришлось пережить в подземелье одного нормандского замка.

— Но ведь у тебя был британский паспорт.

— ...Который в Нормандии представляется еще более ненадежным и подозрительным, нежели в Англии. И потом, я не доверяю армейским патрулям и контрразведке.

— Скорее всего, ты прав. Странно, что тебя не взяли прямо в Лондоне.

— Почему «странно»? — неожиданно поперхнулся Брефт. И Канарис замер, почти испуганно глядя на него и понимая, что проговорился. — Вы сказали: «Странно, что вас не взяли прямо в Лондоне». Что вы имели в виду?

— Твою слишком уязвимую «английскую легенду».

— Понятно, вам сообщили, что я провалился.

— Что было очевидным и без этого сообщения.

— Не совсем, адмирал. Меня ведь не арестовывали. Была лишь слежка. И если учесть, что связник мой исчез...

Брефт умолк, ожидая, что адмирал хоть как-то прокомментирует это сообщение. Но Канарис отрешенно смотрел на глобус, словно отгадывал по его параллелям и меридианам свою судьбу.

— С твоим арестом англичане действительно не спешили. Что в их положении вполне естественно.

— Так вот, когда я понял, что со связником что-то стряслось, я переметнулся через пролив в Ирландию, а уже оттуда... Стоп, господин адмирал! Очевидно, о моем провале вам было известно что-то такое, что до сих пор не известно мне?

— Нет-нет, — слишком поспешно открестился Канарис. — Ничего такого особого мне известно не было, обычные умозаключения и предположения профессионала. Тебе же следует изложить свою версию

в обычном отчете, который затем будет тщательно изучен в ведомстве Шелленберга.

— Непременно изложу.

— А теперь начистоту: что привело тебя ко мне? Только ли ностальгические воспоминания о «Дрездене»? Сентиментальностью ты вроде бы никогда раньше не отличался.

— Скажем так: не только. — Франк-Субмарина с удовольствием впитал в себя винную жидкость. Он не торопился. То, о чем ему предстояло сообщить экс-шефу абвера, не терпело спешки. — В Испании на меня каким-то образом вышел английский агент, назвавший себя Томпсоном.

— Это и есть тот эпизод твоей «нормандской легенды», отсутствие которого до сих пор мешало нашему взаимопониманию?

— Просто без него разговор не приобретал той значимости, которую мне хотелось бы придать ему.

— Итак, он назвал себя Томпсоном. То есть вообще не назвал себя.

— Можно сказать и так. Суть не в этом. Главное, он предупредил, что вам угрожает опасность.

— Мне постоянно угрожает опасность, Франк. Почему ты считаешь, что это предупреждение должно каким-то образом насторожить меня?

— Уже хотя бы потому, что исходит не от германского, а от английского агента.

— Точнее, от агента-двойника.

— Допускаю. Однако существа дела это не меняет. Важно, что этот агент вышел на контакт со мной, а следовательно, был наведен на меня своим лондонским руководством; затем выяснял, отслеживал, устанавливал личность...

— Но это же обычная, банальная провокация, Брефт! Стоит тебе передать через этого же двойника привет Черчиллю от фюрера, и завтра же родится слух



о том, будто Черчилль стал осведомителем Кальтенбруннера.

— Он предупреждает, что вам грозит серьезная опасность. В чем уже сегодня, по дороге к этому трюму, я смог убедиться лично. Поигрались мы с вами в шпионаж — и все, достаточно! Очевидно, пора поднять перископ и сурово осмотреть акваторию жизни.

— То есть ты прибыл сюда специально для того, чтобы предупредить меня? При чем делаешь это уже по заданию Секрет Интеллидженс Сервис?

— Скорее — используя сведения, случайно добытые от иностранного агента, что является обычной практикой разведки. А почему я это делаю? Да потому что старый краб Франк Брефт порой способен откусить собственную клешню, рискуя ради своего давнишнего друга.

Адмирал допил глинтвейн и долго, задумчиво прокручивал глобус, словно выбирал ту единственную точку мира, в которой его еще способны приютить. Пожелают приютить.

— Откуда же исходит опасность? — наконец поинтересовался он, все еще не отрывая взгляда от глобуса. — Кого конкретно мне следует остерегаться?

Адмирал прекрасно понимал, что ничего нового сообщить ему Брефт не сможет, все имена личных врагов ему известны. Свой вопрос он задал исключительно из снисхождения к человеку, решившему испытать себя в роли спасителя адмирала Канариса. Желających погубить его — множество, а вот объявлялся ли хоть кто-либо, кто стремился бы спасти его, вывести из-под удара или хотя бы в чем-то помочь?

— Теперь вам следует опасаться Гимmlера. Прежде всего, рейхсфюрера СС Гимmlера.

— С чего вдруг? — безучастно поинтересовался адмирал.

— А что, было время, когда вы ходили в его любимцах?

— Не припоминаю.

— Так вот, там, по ту сторону Ла-Манша, тоже почему-то ничего подобного не припоминают.

— Почему вдруг они так забеспокоились, Брефт?

— Пытаетесь понять, что конкретно мне известно?

— В какой-то степени. Ладно, согласимся: угроза исходит от Гиммлера... Что ты можешь сообщить мне в этой связи, фрегаттен-капитан?

— Папка с досье на вас опять легла на его стол. На сей раз в ней вполне достаточно компромата, чтобы выдать ордер на арест или же устроить вам еще одно крушение «Титаника». В зависимости от конъюнктуры.

— Лондону известны даже такие тайны эсэсовского двора?

— Реакция истинного разведчика, — саркастически хохотнул Брефт. — Адмиралу, изгнанному из абвера, говорят, что готовится ордер на его арест, а он интересуется каналом утечки этой информации! Трудно себе представить что-либо подобное. Зачем вам понадобилось знать о канале утечки?

— Это многое объяснило бы...

— Кому? В данном случае знание утечки нам с вами ничего не объяснит. Разве что вы хотите рядом со своим досье положить на стол Гиммлера и мое? Валяйте, старина. Доставьте удовольствие Мюллеру, Кальтенбруннеру и прочим трюмным крысам.

— Дело не в досье, Франк. И не смей говорить со мной в таком духе. Просто для меня важно знать, с кем я имею дело и в Берлине, и в Лондоне. В общем-то, это важно всегда, а уж в такой ситуации, в какую ты ставишь меня...

— По-моему, вы рановато рубите мачты, адмирал. Шторм еще только разгорается.

— Когда ты стал двойником?

— Я не двойник. Формально я продолжаю оставаться агентом абвера. Но на меня вышли и, как видите, используют в роли то ли связного между английской разведкой и вами, то ли агента влияния. Или просто курьера.

— Любой из этих ролей достаточно, чтобы повесить тебя по приговору Народного суда во дворе тюрьмы Плетцензее.

— Разве что по вашему доносу, адмирал. Что же касается англичан... Если уж вместо того, чтобы убрать, меня с миром отпускают и даже помогают пробраться сюда через Францию, прикрыв германским диппаспортом...

— Фальшивым, следует полагать?

— Вполне возможно.

— Но согласись: получить дипломатическое прикрытие англичан... Такого удосуживается не каждый агент. Уверен, что Народный суд учтет это обстоятельство, — грустно зубоскалил Канарис.

— Не перебивайте меня, адмирал! — довольно неделикатно возмутился Брефт. — Я ведь не штатный оратор рейхстага, а посему очень легко сбиваюсь с мысли. Так вот, если уж англичане пошли на такой шаг, значит, намерения у них вполне серьезные.

— Вот именно, очень серьезные. Вот почему меня удивляет, Франк, почему ты до сих пор не сказал главного...

— Зависит от того, что считать главным.

— Что именно этот твой резидент Томпсон предлагает?

— Бежать. Он предлагает вам немедленно бежать, адмирал.

Канарис отрывисто, нервно рассмеялся.

— Куда? Уж не в Англию ли?!

— ...Что было бы для вас идеальным вариантом. Хотя вы даже не представляете себе, насколько это

сложно в нынешних условиях. Поэтому бегите куда угодно; важно скрыться, отсидеться. Отправляйтесь в Баварию или в Австрию, скройтесь где-нибудь в Альпах, отсидитесь пару месяцев в какой-нибудь горной деревушке. У вас наверняка есть заветная нора, хозяин которой готов смириться с вашим присутствием. Спектакль ведь все равно приближается к финальному занавесу.

— Кое-кто из слабонервных уже даже лихорадочно пытается этот занавес опустить.

— В конце концов, можно бежать во Францию.

— Собираешься помочь мне в этом, старый краб?

— Если только смогу, — попытался Брефт не заметить иронии в словах Канариса.

А ведь можно биться об заклад, что на самом деле в роли Томпсона выступал агент О'Коннел.

— То есть никакой реальной связи с Томпсоном у тебя нет, — пришел к заключению Канарис, смерив Брефта уничижительным взглядом.

И только сейчас Брефт понял, что весь его разговор с экс-шефом абвера очень уж напоминает допрос. По крайней мере, на той стадии, на которой в камерах абвера его называли «аристократическим». Причем роль допрашиваемого досталась почему-то ему.

— Британцы не настолько доверяют мне, чтобы давать координаты своего берлинского агента. Тем не менее в Нормандии мы сумеем выйти на его след.

За столом опять воцарилось тягостное молчание. Брефт угасшим взглядом смотрел на рынду, которой никогда уже не отбить склянок ни на одном из кораблей мира, а Канарис — на глобус, испещренный пунктирами морских линий, ни по одной из которых им, двум «старым пиратам», уже не пройти.

Вновь появилась — теперь уже с чашечками горячего кофе на подносе — служанка. Однако на сей раз даже у небезразличного к испанкам Брефта она не вызвала абсолютно никакой реакции. Мужчины были поглощены собой, своими страхами и раздумьями, а значит, женщине делать здесь было нечего.

Убирая тарелочки из-под бутербродов, Амита умышленно наклонилась так, что своей вызывающе выпяченной грудью едва не коснулась плеча Брефта, провоцируя тем самым и ревность адмирала.

— Если я верно понял, запасного варианта отхода с позиций вы, адмирал, не подготовили, — первым нарушил молчание Брефт, когда раздобревшая соблазнительница наконец-то убралась восвояси.

— И не собирался готовить его... чтобы уж оставаться предельно ясным.

— Даже после того, как наладили отношения с Лондоном?! Но тогда это просто неразумно. О нет, я ни в коей степени не осуждаю ваше решение относительно контактов с британцами. Сейчас многие посматривают в сторону Ла-Манша. Но я привык к тому, что время от времени следует поднимать перископ и осматривать акваторию жизни. Решившись на шаг, связанный с этим сотрудничеством, вам сразу же следовало готовить запасную гавань.

— Лично у меня никаких контактов с Лондоном не было, — жестко остепенил своего гостя Канарис. — Запомните это, господин фрегаттен-капитан. Никогда, никаких несанкционированных высшим руководством контактов с английской разведкой или английскими политиками.

«Не было лично у него... Причем следует понимать, что не было только «никаких несанкционированных», — попытался извлечь для себя хоть какое-то зерно истины Франк. — А что ты, адмирал, можешь сказать о контактах твоих агентов? Или о тех, которые были санкционированы, скажем, Гиммлером или Борманом?»

— Поэтому у меня нет оснований, — продолжал тем временем адмирал, — опасаться ареста. Точно так же, как и нет оснований готовить некую «запасную гавань» на берегах Темзы.

— Повторяю: не торопитесь рубить мачты, адмирал.

Брефт поднялся, налил себе полную рюмку коньяку и, посмотрев через ее золотистость на адмирала, саркастически ухмыльнулся про себя, сохраняя при этом внешнюю невозмутимость. Сейчас ему хотелось верить, что Канарис искренен с ним. И если это верно — ему открывалась одна из тайн не только шефа абвера, но и всей Второй мировой. Ведь по обоим берегам Ла-Манша убеждены, что адмирал только и думает о том, как бы ему убрать с политической арены фюрера и подружиться с англичанами. Понятное дело, уже в роли... нового главы германского государства.

— Ладно, адмирал. Дай вам Бог оставаться таким же убежденным в своей невиновности, стоя под виселицей тюрьмы Плетцензее.

— Можете не сомневаться, останусь.

Позволив себе не поверить адмиралу на слово, Брефт саркастически ухмыльнулся. И он хорошо знал цену своему сарказму.

— Как вели себя некоторые из наших фельдмаршалов и генералов и что с ними происходило при лицезрении виселицы — вам известно лучше, нежели мне, — теперь уже в голосе фрегаттен-капитана не ощущалось ни снисхождения, ни сочувствия.

Брефт, конечно же, был обижен поведением Канариса, умудрившегося по существу полностью проигнорировать попытку как-то спасти его. Жертвенную попытку...

— Ты мужественно выполнил свой долг, — попытался подсластить горечь разочарования своего давнишнего сослуживца адмирал. — Не сомневайся, я сумел оценить твою порядочность.

— Не будем изощряться в словесах, адмирал. Если вы все же колеблетесь, вспомните о моем совете относительно «гавани».

— Не будем изощряться в словесах, — повторил за Брефтом хозяин виллы, чем еще больше оскорбил его.

— На том и позвольте откланяться, — сухо проскрипел фрегаттен-капитан.

\* \* \*

Канарис молча спустился вслед за гостем на первый этаж, провел в прихожую и сам открыл входную дверь. Там они оба замялись, понимая, что кое-что во время их беседы все еще осталось недосказанным. Однако нарушить обряд «недружественного молчания» Брефт не решился. Покряхтел, остановился, потом долго поправлял фуражку с золотистым крабом на высоченной тулье, но все же право возобновить разговор оставил за хозяином и старшим по чину.

Адмирал пытался что-то сказать, но в это время на них стал надвигаться натужный гул авиационных

моторов. Отзвуки его слышны были, еще когда они находились на втором этаже, однако оба они слишком привыкли к звукам войны, чтобы обращать на них внимания. Но теперь уже не оставалось сомнения, что приближалась первая волна тяжелых бомбардировщиков врага и шла она прямо на центральные районы столицы, куда союзники пока что рисковали прорываться крайне редко.

— Сколько времени вам понадобится, чтобы собраться? — неожиданно спросил Брефт, явно используя появление воздушной армады англо-американцев — и как дополнительный аргумент в полемике с Канарисом, и как прекрасный способ давления на его психику.

— Что ты имеешь в виду? — отшатнулся от него Канарис, будто заподозрил, что тот собирается арестовывать его.

— Только то, что спасательная шлюпка с четверкой надежных гребцов ждет вас у борта.

— А если без аллегорий?

— Вся служба разведчика, сама его жизнь — сплошная аллегория. Но если вы так настаиваете... Я отвезу вас на свою подпольную квартиру, где вы сможете спокойно пробыть неделю-другую. Расположена она северо-западнее Берлина, откуда легко можно уйти дальше, на Запад.

— Будем считать, что ничего подобного ты мне не предлагал, Брефт.

— Это не то предложение, которое следует отметить так сразу, как это сделали вы. Выслушайте меня еще раз.

— Все, что ты мог изложить, ты уже изложил, — сухо обронил Канарис, ясно давая понять, что время встречи истекло.

Вот только фрегаттен-капитан все еще пытался «спасать корабельные мачты».



— Вы скроетесь там на пару недель. Причем уже на второй-третий день в рейхсканцелярии и в гестапо решат, что вам удалось уйти за рубеж на какой-нибудь субмарине или по своему «испанскому коридору», под чужими документами, — и забудут о вашем существовании. У них теперь и без Канариса проблем хватает. Когда, куда и как именно уходить — к этому вопросу мы с вами еще вернемся.

— Э, да, кажется, ты продумал все, вплоть до мелочей?

— Подобные операции нельзя проводить по наитию, они требуют жесткого плана и надежного обеспечения — людьми, финансами, документами, явочными квартирами. Итак, спасательная шлюпка подана. Весла на воду?

— Ответ вам известен, — голос адмирала становился все жестче и раздраженнее. — Мне даже трудно смириться с той постановкой вопроса, которая привела вас ко мне, фрегаттен-капитан.

— Это ваше окончательное решение?

— Зря теряете время, фрегаттен-капитан.

Брефт надел фуражку с лихо заломленной и немыслимо высокой тульей, вежливо улыбнулся в рыжевато-седые усы, которых никогда раньше не носил, и, щелкнув каблуками, отвесил небрежно-аристократический поклон.

— Вот увидите, адмирал, я был последним, кто решился хоть как-то помочь вам. Все остальные будут отплясывать ритуальные танцы на вашей могиле. Поднимите, наконец, перископ и сурово осмотрите акваторию жизни. Это говорю вам я, старый подводник.

— Охотно верю, — безучастно согласился адмирал, поразив Франка-Субмарину своим безразличием.

— Кстати, совсем забыл... Вашей особой, адмирал, интересовалась известная вам сеньора.

«Мата Хари?» — чуть было не спросил Канарис, но вовремя сдержался, вспомнив, что и при жизни своей, и при смерти, танцовщица принадлежала к иным временам, к иному миру. Поэтому вслух произнес:

— Неужели каталонская герцогиня?

— Именно она; к слову, мы так и называем ее — Каталонская Герцогиня, это стало ее именем.

— Где она теперь?

— Недавно появилась в Мадриде, после многих лет, проведенных сначала в Ирландии, а затем в Англии.

— Неужели все еще не отреклась от своей сепаратистской идеи Великой Каталонии?

— Наоборот, убеждена, что нынешняя мировая война приведет если не к полному развалу Испании, то, по крайней мере, к решительному ее ослаблению. Она и сама немало сил приложила, чтобы подвести некоторых высокопоставленных британцев к мысли о нападении на Испанию как союзника рейха. При высадке там первого же контингента британских войск ее Фронт Независимой Каталонии якобы готов поднять восстание, чтобы ударить по франкистам с тыла.

— И что, подобное развитие событий действительно возможно?

— Во всяком случае, Каталонская Герцогиня верит в него. А там, поди, знай...

— Странно, каким это образом она вышла на тебя, Франк-Субмарина.

— А мы никогда и не теряли связи друг с другом. Правда, до еженедельных посланий и рождественских открыток дело не доходило; тем не менее время от времени, при малейшей okazji...

— погоди, погоди, Франк, — нервно помахал руками перед лицом адмирал. — Ты что, станешь утверждать, что знаком с ней еще с той поры, когда она мечтала о замужестве со мной?

— Вас это удивляет? Конечно же, мы хорошо были знакомы. И, как нетрудно догадаться, в моей жизни герцогиня появилась значительно раньше, нежели в вашей, адмирал.

Канарис по-бычьи наклонил голову и покачал ею настолько резко, словно пытался развеять наваждение.

— Почему же я не знал об этом? — растерянно спросил он, забывая на какое-то время о нависшей над ним опасности.

— Неужели действительно не знали?! Но ведь это же я подставил вам эту герцогиню, адмирал, предпочитая при этом не засвечиваться.

— Брось, Франк-Субмарина! — неуверенно рассмеялся Канарис.

— Может, вам до мелочей пересказать весь ход вашей первой встречи? Или воспроизвести условия переговоров с дядей герцогини? Не желаете подробностей? Тогда, может, раскрыть тайну встречи с английским резидентом, клятвенно обещавшим поддержку каталонского движения? А встречи с лидером баскских сепаратистов, в среде которых герцогиня одно время скрывалась?

— Хочешь сказать, что все мои «брачные игры» с Каталонской Герцогиней находились под контролем англичан?

— Если уж быть точным, то под моим личным контролем, адмирал. Поскольку именно я разработал сценарий всей этой операции для герцогини — с одобрения, ясное дело, одного из отделов британской разведки и некоего британского лорда, пожелавшего пока что оставаться неизвестным, но щедро финансировавшим герцогиню.

Адмирал молитвенно взглянул на звездное берлинское небо — на ту его часть, которое уходило в сторону Каталонии. То, что он представал всего лишь игрушкой в руках Франка-Субмарины, конечно же,

неприятно поразило Вильгельма. Но в то же время сегодня с Субмариной стоило встретиться уже хотя бы для того, чтобы раскрыть тайну появления в своей жизни Каталонской Герцогини.

— Это правда, что генерал Франко был дружен с герцогиней?

— Серьезный вопрос, на который должен быть дан столь же серьезный ответ. Если бы в свое время вы подняли перископ и внимательнее осмотрели акваторию Мадрида, то обнаружили бы, что в судьбе тогда еще весьма юной Каталонской Герцогини, задолго до вас и на тех же правах-условиях, появился некий полковник Франко. В самые трудные годы войны с коммунистами-республиканцами этот правитель использовал Каталонию в качестве запасного аэродрома — на тот случай, если Мадрид у него из рук вырвут, — а саму герцогиню использовал в качестве посредника в переговорах с руководством некоторых стран. Само собой разумеется, что точно так же активно действовал он и возможности каталонского подполья, его зарубежных каналов и связей.

— Но затем он предал герцогиню?

— Скажем так: генерал во все времена прибегал к двойной игре. Довольствоваться титулом правителя Каталонии для Франко было бы тем же самым, что для Наполеона — титулом правителя своей родной Корсики. Теперь генерал официально выступает в роли душителя каталонского освободительного движения, однако на саму герцогиню, ее владения и ближайшее окружение гнев генерала не распространяется. Почему-то, — загадочно подчеркнул Франк-Субмарина.

— То есть после неудавшейся брачной аферы с Франко «танцы» со мной представлялись герцогине в виде утешительного королевского заезда? — спросил адмирал, все еще мечтательно глядя на звездное небо.

Франк-Субмарина застегнул на верхние пуговицы свою шинель и медленными движениями надел перчатки.

— Теперь это уже никакого значения не имеет, адмирал. Куда важнее для вас уяснить, что по ту сторону Пиренейских гор все еще сохраняется несколько хорошо оборудованных и законспирированных «баз сопротивления», на одной из которых вы спокойно смогли бы отсидеться до тех пор, пока у англичан не остынут союзнические чувства по отношению к русским. А произойдет это буквально через месяц после капитуляции Германии. Могу сказать конкретнее: речь идет об отличной, надежной базе, оборудованной вблизи сразу двух границ — с Францией и Андоррой. Что открывает дополнительные шансы для отхода.

— Если я верно понял, ты, Франк, уполномочен Каталонской Герцогиней предложить мне?..

— Ваши отношения с герцогиней никакого значения уже не имеют, — нервно прервал его Франк-Субмарина. — Уходить нужно, адмирал, немедленно уходить. Убирать перископы, погружаться и ложиться на заданный курс.

— Вряд ли нам позволили бы уйти, — оглянулся Канарис по сторонам.

— В нашем распоряжении, — фрегаттен-капитан взглянул на часы, — еще двадцать пять минут времени. Ровно столько в двухстах метрах отсюда нас будет ждать машина с двумя автоматчиками, готовыми прикрыть нас даже ценой своей жизни.

— Вы сумели позаботиться об охране?!

— О том, чтобы в течение этих минут с вашей виллы сняли слежку, позаботились те люди в высшем руководстве, которым не хочется, чтобы вы представляли перед Народным судом. Из каких мотивов они при этом исходят — это уже меня не касается.

Документы и шинель полковника авиации ждут вас в машине, адмирал.

Канарис вновь задумчиво взглянул на небо, словно бы решил погадать по своему знаку зодиака.

— Кто именно из высшего руководства рейха заинтересован в моем бегстве?

— Имя этого человека мне неизвестно, — сухо ответил фрегаттен-капитан. — И не надо гаданий на звездах и кофейной гуще, адмирал. Лично меня имя не интересует, я всего лишь выполняю свою часть операции. Но если вы откажетесь, человек, который хотел убрать вас из Германии, чтобы сохранить для каких-то важных послевоенных дел, будет оскорблен в своих лучших чувствах. Это все, что мне позволено сообщить вам.

— Сам генерал Франко в курсе этой операции?

— Мы опять зря теряем время, адмирал, — резко, почти зло отреагировал Брефт. — Мало того, что как шеф абвера вы палец о палец не ударили, чтобы подготовить для себя запасную базу, так вы еще и транжирите время, которое дарят вам добродетели.

Но и на сей раз Канарис не обиделся. Он понимал, почему Франк нервничает. На его месте он нервничал бы гораздо сильнее.

— Мне суждено остаться здесь, Франк, — с грустью в голосе произнес адмирал. — Чего уж тут?

— Все-таки рубите мачты до шторма, адмирал?

— Извини, Франк-Субмарина. Не думаю, что фюрер решится на расправу. Но если решится, что ж — судьба есть судьба.

Повернулся, несколько секунд постоял спиной к фрегаттен-капитану, словно ожидал, что тот спасительно выстрелит ему в спину, но, так и не дождавшись, побрел в дом.

Вернувшись в свою «адмиральскую каюту», Канарис распахнул окно и подставил лицо вечерней августовской прохладе и яркому лунному сиянию.

Открывавшийся отсюда пейзаж всегда успокаивал его, настраивая на беззаботно-романтический лад. Холмы, виднеющиеся между крышами соседних вилл, казались вершинами далеких гор; дымчато-зеленая крона покрывавшего их лесопарка сливалась с такой же дымчатой синевой поднебесья, создавая сюрреалистическое слияние сфер, не подвластное кисти ни одного гения.

В былые времена даже в такое позднее время адмирал мог вывести из конюшни своего Араба, чтобы развеяться вместе с ним у подножия холмов.<sup>[33]</sup> Теперь же адмиралу просто хотелось выйти в сад. Но что-то сдерживало его. В эти минуты он не осмеливался оставлять свой дом, как капитан — полузатонувшее, но все еще держащееся на плаву судно. Канарису мистически казалось, что «корабль» этот цел только благодаря ему, и на то, чтобы хоть на какое-то время оставить его, он решался с такой же угрюмой обреченностью, с какой решаются на гнусное предательство.

Это появление Брефта... Весь тот поток информации, который еще следовало переварить. Предупреждение некоего английского агента в Нормандии... «Спасательная шлюпка», которую ему предлагают... Может быть, только для того и предлагают, чтобы, выманив из «адмиральской каюты», из Берлина, из привычного бытия, — предать стихии вечного изгнанника, беглеца и в конечном итоге саморазоблачившегося предателя. Тогда ему

действительно останется только то, что предлагает Амита, — спастись в каком-нибудь отдаленном горном районе одного из Канарских островов.

Вот только вопрос: кто прислал эту «шлюпку», кто сидит на веслах и что ждет его там, на чужом, сумеречном берегу?

Нет, сказал он себе, Брефт не может быть провокатором. Только не провокатором — для Франка-Субмарины это было бы слишком. В дичайшем бреду Канарис не позволил бы себе представить, что Франк может явиться к нему по заданию одного из людей Мюллера, Шелленберга или Кальтенбруннера. И если даже кто-то из этой троицы использовал в качестве приманки «нормандского Томпсона», то старый краб Брефт об этом даже не догадывается.

А ведь, скорее всего, так оно все и происходит. Брефта явно пытаются использовать «втемную». Фрегаттен-капитан все еще искренне верит, что оказывает услугу своему другу по воле английских доброжелателей, даже не предполагая, что на самом деле агента, который столь странным образом вышел на него, пустили по следу не в Лондоне, а в Берлине, в одном из кабинетов Главного управления имперской безопасности. Брефту всего лишь кажется, что это он планирует операцию «Шлюпка для адмирала»; на самом же деле он всего лишь слепо выполняет то, что было спланировано подручными Мюллера, Кальтенбруннера или Скорцени.

Канарису было ясно, что в его нынешнем положении пытаться разгадать тайну появления на горизонте «нормандского Томпсона» совершенно бессмысленно. Зато теперь он не сомневался, что облава на него и в самом деле началась. Независимо от того, кто именно подставил ему Томпсона.

Какое-то время адмиралу действительно казалось, что ни Кальтенбруннер, ни Борман, ни даже Гиммлер не



решатся подступиться к нему. При этом, как ни странно это выглядит, уповал он на фюрера, которого столь же отчаянно презирал, сколь и ненавидел. Но в данном случае ему представлялось, что фюрер решительно отрицает саму возможность подвергнуть его аресту. И только поэтому он, Канарис, не оказался среди тех нескольких десятков офицеров и генералов, которые уже казнены или же ожидают суда по обвинению в заговоре против Гитлера. Иного объяснения для адмирала попросту не существовало.

Канарис был достаточно откровенен сам с собой, чтобы признать: да, у Гиммлера и Мюллера хватает доказательств, позволяющих арестовать его, выдвинув обвинение в измене. Но этих же доказательств, очевидно, хватит и для того, чтобы любой непредвзятый суд, и прежде всего суд потомков, признал, что предателем Германии, ее врагом он никогда не был. Врагом фюрера, врагом национал-социализма — да! Но вопрос: что из этого следует?

Да, Канарис сочувствовал, а в какой-то степени даже содействовал заговорщикам-генералам, поднявшим бунт против фюрера в июле 1944-го. Он знал, что некоторые офицеры из его ведомства устанавливают прямые контакты с английской разведкой, а через нее — с высокопоставленными чиновниками из Лондона. Он буквально вытащил из петли нескольких офицеров, на которых уже были заведены досье в кабинетах Мюллера и которые, не возьми он грех на душу, давно оказались бы в подвалах гестапо...

Однако при всем этом Канарис не считал себя ни отступником, ни предателем, поскольку делал все это во имя Германии, нынешней и будущей, в истории которой Гитлер — всего лишь случайная, хотя и весьма трагическая, нелепость.

«Фюрер — трагическая нелепость германской истории. Как и Сталин — трагическая нелепость в истории России. А что, неплохая мысль, точнее, неплохое было бы название для исторического исследования; точнее, даже не название, а основная идея изысканий».

«Шелленберг! — вдруг вспомнил адмирал. — Надо бы с ним поговорить. Странно, что до сих пор ты не попытался сделать этого. В последнее время ты почему-то отстранил его от себя или сам отстранился. Но, как оказалось, очень уж не ко времени».

Если Кальтенбруннер затеял что-то серьезное, то бригадефюрер должен знать. И только он способен подать знак: «Спасай свою душу!» Если такой знак и в самом деле последует, тогда, может быть, действительно стоит прислушаться к совету Франка Брефта и на какое-то время скрыться на одной из подпольных квартир?

«Шелленберг! Только Шелленберг! — взмолился он на шефа внешней разведки СД, как обреченный — на лик Иисуса. — Следует немедленно наладить контакт с Шелленбергом! Тем более что выглядеть эта попытка будет вполне естественно».

Именно бригадефюрер СС может стать самым откровенным источником информации о заговоре против него. Только он действительно способен послать за ним «спасательную шлюпку» с надежными гребцами на борту. Шлюпку, которую он уже не решится отвергнуть, как недавно отверг помощь Франка-Субмарины. Хотя пока что Вильгельм не был уверен, что помощь Шелленберга окажется надежнее и праведнее.

И лицо адмирала просветлело, как лицо мальчишки, предавшегося своим излюбленным мечтаниям о далеких странствиях. Начальник VI управления Главного управления имперской безопасности вдруг

предстал в его восприятии в образе некоего ниспосланного судьбой спасителя.

Одно время Шелленберг тянулся к нему, как обычно новички тянутся к профессионалу — к старшему, более опытному коллеге. Канарис не раз вспоминал об их совместных конных прогулках с великосветско-шпионскими разговорами, как, впрочем, и об их совместных поездках в Испанию, Венгрию и Португалию. До сих пор им удавалось находить общий язык если не по всем, то уж, во всяком случае, по большинству вопросов. Причем во время этих встреч Шелленберг казался адмиралу куда агрессивнее настроенным против Гитлера, чем он сам и вообще чем он мог себе представить. Ни один другой чин СД или вермахта, не говоря уж о гестапо, никогда не позволял себе столь пространно и аргументированно излагать антигитлеровские убеждения и столь откровенно говорить о фатальной ошибке истории, поставившей во главе возрождающегося рейха такое военно-политическое ничтожество.

При этом Канарису и в голову не приходило, что «юный Вальтер» способен провоцировать его подобными разговорами на откровенность, чтобы затем пополнять этими откровениями свое досье. Как и самому Шелленбергу не было смысла опасаться начальника абвера. То есть того единственного человека, которого и в самом деле следовало остерегаться.

\* \* \*

Уснул он в ту ночь лишь на рассвете и проспал почти до девяти утра. А выпив чашку кофе и немного придя в себя, решил тотчас же позвонить Шелленбергу.

Адмирал подошел к телефону, поднял трубку, однако набрать нужный номер долго не решался. С тех пор, как он оказался отстранен от руководства абвером, звонить прежним соратникам становилось все труднее.

Впрочем, Канарис и не собирался упрекать их: самое благоразумное, что мог сделать сейчас любой из них, так это держаться в тени, стараясь ни под каким предлогом не засвечиваться в кругу «людей адмирала». И, видит Бог, большинству это удавалось.

Канарис понимал, что здесь особое значение будут иметь первые слова, которыми он начнет разговор. Но вот незадача: он то снимал трубку, то вновь клал ее на рычаг, а нужная, ключевая фраза все не приходила и не приходила.

«Операция «Бернхард»! — вдруг осенило адмирала. — Ты можешь... да нет, ты просто обязан поинтересоваться у Шелленберга ходом этой операции, и даже попытаться получить хоть какие-то сведения о ее направленности, размахе и, конечно же, об успехах. В конце концов, фюрер приказал тебе возглавить штаб по экономической борьбе при Верховном главнокомандующем, так что повод для звонка найден».

Канарис помнил, что под кодовым названием «Операция «Бернхард»» скрывалась широкомасштабная акция по подрыву финансового положения Великобритании. Несмотря на то что операция эта проводилась с особой секретностью и детали ее были недоступны даже для него, шефа абвера, адмирал, тем не менее, знал, что в секретных цехах сразу двух целлюлозно-бумажных заводов — в Судетах и в Рейнской провинции — было налажено производство фальшивых фунтов стерлингов.

Следует отдать должное мастерам-фальшивомонетчикам: их творение отличалось отменным качеством. Фальшивые фунты стерлингов

выглядели настолько естественно, что распознать их в большинстве случаев не удавалось даже специалистам ведущих лондонских банков. Зная об этом, фальшивомонетки от СД совсем обнаглели и наладили выпуск денег в огромных объемах.

— Мне нужен бригадефюрер Шелленберг, — наконец решился адмирал. Однако имени своего не назвал.

На том конце провода замялись. Адъютант не мог понять, кто звонит, а потому не знал, как реагировать. Потребовать, чтобы собеседник представился, тоже почему-то не отважился: случайные люди к его шефу не пробиваются.

— Господина бригадефюрера нет, — как-то нечетко доложил он, хотя и пробовал чеканить каждый слог.

— Здесь адмирал Канарис. Мне бы очень хотелось услышать голос бригадефюрера.

— Я обязательно доложу бригадефюреру о вашем желании услышать его голос, господин адмирал, — заверил его адъютант. — Однако смогу это сделать только после его появления в служебном кабинете.

— Как долго он может отсутствовать? — поинтересовался Канарис, пытаясь уберечь себя от унижительного перезванивания.

— Мне это неизвестно. Предполагаю, что бригадефюрер появится через полчаса-час.

— Возможно, через час я позвоню еще раз, — сухо вато предупредил Канарис. И уже исключительно для себя пробубнил: — Хотя и не уверен в этом.

А ведь, судя по всему, адъютант Шелленберга уже знает, что ты не просто в опале, но и находишься за шаг от виселицы, подумалось адмиралу. Иначе он вспомнил бы, что ты в более высоком чине, нежели его шеф, а потому обязан сказать: «Я попрошу бригадефюрера, чтобы он позвонил вам».

В момент, когда трубка вновь легла на рычаг, адмирал уже решил для себя, что во второй раз Шелленбергу он не позвонит.

«Не судьба, — сказал он себе. — Следует подождать. Не исключено, что офицер попросту соврал: на самом деле бригадефюрер находился в своем кабинете, но приказал не связывать его с тобой. Ну откуда, — тотчас же остепенил себя адмирал, — Вальтеру было знать, что ты позвонишь ему? Если распоряжение «не связывать» и последовало, то касалось оно всех, кроме разве что самого фюрера, ну и еще, может быть, Гиммлера».

А вот Франка-Субмарину, этого гонца из прошлого, он все же воспринимал как черную пиратскую метку, независимо от того, кто его там на самом деле подослал.

«Если ты решил, что уходить в подполье не собираешься, тогда прислушивайся к звону колокола. Гиммлер долго ждать себя не заставит. Да и вряд ли Шелленберг решился бы сказать тебе что-либо существенное. К тому же неизвестно, посвящают ли его в свои планы Гиммлер, Кальтенбруннер и «первый мельник» рейха. Можешь не сомневаться, что о твоих с Шелленбергом конных прогулках им обоим известно не хуже, чем твоим соседям».

— Вам еще глинтвейна, мой гран-адмирал? — появилась в двери Амита Канария.

— Спасибо, не надо.

— Тогда я немного поработаю в саду.

— Нет.

Амита умолкла и устало — не пытаясь ни разгадать его намерения, ни отделаться от него — смотрела на

адмирала. Но он томительно отмалчивался.

— Понадобится еще что-нибудь?

— Нет.

Амита умолкла и вновь посмотрела на адмирала. Односложность ответов ее не удивляла. К ним, как и ко всему прочему, что было связано с ее адмиралом, испанка давно привыкла. Порой Канарису казалось, что эта женщина вообще уже не способна удивляться чему-либо в этом мире. Даже если бы ей вдруг явился сатана, она спокойно спросила бы его: «Вам чего — вина, пунша или яичного глинтвейна?» При этом даже не перекрестилась бы.

Канарис сел на жесткий, обшитый толстой бычьей кожей диван и с той же односложностью то ли попросил, то ли приказал:

— Подойди. Посиди.

Амита улыбнулась губами бордельной богини и, виляя бедрами, величественно уселась рядом с ним, но на таком расстоянии, чтобы адмирал не мог дотянуться до нее рукой. Так она садилась всегда, с тех пор, как они познакомились. Но когда Вильгельм подсаживался поближе к ней, никогда не отстранялась. Так было и на сей раз.

Канарис обнял ее за плечи, потерся подбородком о ее пышное плечо, потянулся губами к шее. Прошло несметное количество лет, а тело этой красивой женщины все еще пахло морем и солнечным пляжем Гран-Канарии. Но самое главное — оно по-прежнему оставалось соблазнительным и податливо-доступным.

В последнее время адмирал все чаще просил Амиту посидеть рядом с ним, и сама ее близость, воспоминания, которые эта близость навевала дурманный запах сотворенного морскими волнами, южным солнцем и канарскими ветрами тела — все это возвращало его в молодость. Еще года два назад такая близость всегда заканчивалась любовными играми.

Теперь пятидесятивосьмилетний адмирал явно поостыл к ним. Зато потребность видеть Амиту, ощущать ее, с вампирской сладострастностью впитывать ее успокаивающую, обволакивающую тело и душу энергию становилась все более навязчивой. И ничего поделать с этим Канарис не мог. Да и не хотел.

— Вы устали, мой гран-адмирал.

— Смертельно.

— На Канарских островах все выглядело бы по-иному.

— На Канарских островах — конечно же, по-иному, — покорно, бездумно согласился адмирал, хотя раньше подобные предположения вызывали у него ироничную ухмылку.

— Нам давно следовало уехать на Канары, гран-адмирал. Грех было отказываться от такой возможности.

— Следовало уехать, — безропотно согласился адмирал, понимая, что ссылки на его службу флоту и рейху, на всевозможные обстоятельства в прошлые и в нынешние времена в разговоре с Амитой смысла не имели.

Эта женщина, это дикое порождение Канарских островов, по-прежнему пребывала вне времени и обстоятельств. Правда, существовало еще пространство, но и оно ограничивалось для нее на карте мира только двумя точками: той, на которой они с адмиралом в данную минуту находились, и той, где — будь адмирал, по мнению Амита, благоразумнее — должны были бы находиться: то есть на одном из Канарских островов.

Едва оказавшись в Берлине, Амида начала соблазнять его бегством на «острова предков». Ее мучила ностальгия, донимали берлинские холода и сырость. Ей хотелось библейского рая в шалаше. «А почему бы и нет? Если никто не сомневался, что



Канарские острова — рай земной, то почему бы время от времени на них не появляться шалашам беглецов из ада?» — парировала она все более несмелые и неубедительные возражения своего патрона.

— Плохо, что мы не уехали на Канары еще тогда... — Амита никогда не расшифровывала, что скрывается за этим ее понятием, этой ее временной и смысловой недосказанностью — «тогда». А Канарис никогда и не пытался уточнять. «Еще тогда» так и оставалось загадкой их общих воспоминаний, тайной их авантюрного прошлого.

— Все у нас как-то не получалось... уехать.

— Это все война. Она началась слишком давно и так же давно должна была бы завершиться, — нежно поводила Амита ладонью по затылку адмирала.

— Давным-давно должна была бы завершиться, — согласился адмирал. — Вот только раньше мы с тобой об этом не думали.

— Очевидно, потому, что мы с вами были слишком молоды, а когда люди молоды, они думают только о том, о чем позволительно не думать.

— Только о том, о чем позволительно... — по своей давнишней привычке отвечал адмирал повторением двух-трех слов из сказанного Амитой.

— Но ведь на Канарах войны нет. Там ведь все еще нет войны, правда?

— Все еще нет, кажется...

— Там и не может быть войны! — убежденно молвила Амита. — Какая может быть война на Канарах?

— Такое даже невозможно себе представить, — явно подыгрывал ей адмирал.

— Датам никогда и не было войн, со дня их Господнего Сотворения. Кто в этом мире способен воевать на Гран-Канарии, Лансароте, Тенерифе, Йерро, Пальме или Фуэргевентуре?! — с ностальгической восхищенностью в голосе она произносила название

каждого из островков своего немыслимо далекого во времени и пространстве архипелага.

— На Канарах война попросту невозможна, — с грустью в голосе признал Канарис. — Не найдется генерала, не говоря уж об адмирале, который бы решился развертывать военные действия на этих священных островках.

— Ты ведь не посылал туда свои корабли или субмарины? — вдруг встревожилась дочь Гран-Канарии.

— Ни одного судна.

— Я всегда знала, что ты у меня самый мудрый из всех гран-адмиралов.

То ли в свое время Канарис так и не смог объяснить Амите, что уже давным-давно не связан с морем, да к тому же никогда и не командовал германским флотом; то ли дочь Гран-Канарии так и не сумела понять этого. Но она почему-то твердо была убеждена, что судьба любого из боевых кораблей рейха так или иначе зависит от воли ее мудрого мужчины.

— А ведь, кроме тебя, никто не имеет права послать туда ни одного крейсера, ни одну субмарину, разве не так?

Канарис встретился с умиротворенным взглядом все еще невыцветших, цвета спелой сливы, глаз Амиты и не посмел возразить.

— Так почему бы нам не отправиться туда, мой гран-адмирал? Вы уже в отставке, вас ничто не сдерживает — и не удерживает здесь. А в Испании — Франко. Он ваш союзник.

Когда он узнает, что я родилась на Канарах, то, конечно же, позволит нам обоим поселиться на Гран-Канарии, должен будет позволить.

— Франко? Генерал Франко, ясное дело, позволит. — Адмирал думал сейчас совершенно о другом. Он реагировал на ее предложение, как в полусне.

— Тогда что вас удерживает здесь, мой гран-адмирал? Что удерживает?

— Не знаю. Действительно не знаю.

— Я ничего не смыслю в войне, но даже я понимаю, что Германия ее проиграла.

— Те, кто ничего не смыслит в войне, всегда предчувствуют поражение первыми. Особенно женщины. Так происходило во все века.

— А ведь вы, к тому же, не германец.

— Кто тебе сказал такое?

— Германия — это ведь не земля ваших предков, мой гран-адмирал.

— А я так и не выяснил, где же на самом деле земля моих предков. Странно получается. То ли не было этой самой земли предков, то ли не было самих предков, — его рука медленно поползла по женскому колену, уходя все дальше под платье, однако Амита почти не реагировала на его «агрессию».

— Тогда почему бы нам не уехать на острова? Разве это так сложно: взять и уехать?

— Но ведь там нет войны! — неожиданно напомнил ей адмирал.

— Нет, конечно, — удивленно подтвердила Канария, хотя удивление ее никак не отразилось ни на взгляде, ни на выражении лица.

— А что делать боевому адмиралу на земле, которая никогда в своей истории не знала войны?

— Но вы же сами сказали, что война нам не нужна. Что она совершенно не нужна вам, гран-адмирал.

— Почему ты так решила? Адмиралы для того и существуют, чтобы в мире никогда не переводились войны.

— Или наоборот: войны существуют для того, чтобы не переводились адмиралы.

Канарис едва заметно улыбнулся. Амита всегда была остра на язык, однако Вильгельма это ничуть не

раздражало. Возможно, потому и не раздражало, что она была не просто остра; нет, она старалась быть утонченно-остроумной, а в каких-то случаях и по-настоящему мудрой.

— Как же верно ты это подметила, Амита: «Войны существуют для того, чтобы не переводились адмиралы!» Какая, до святой простоты, гениальная сентенция! Такие слова следует высекать на камне, увековечивая в благородном мраморе.

— На Канарах мы могли бы купить себе яхту. А то и небольшую шхуну, чтобы выходить в море и ловить рыбу. Мы ведь могли бы казаться там состоятельными людьми.

— Мы еще будем казаться ими, — интонационно выделил он слово «казаться». — Ангелы еще не пропели.

— И происходить это будет на Канарах?

— Возможно, и на Канарах.

— И мы купим яхту?

— Можно и рыболовецкую шхуну.

— Все богачи на Канарах имеют яхты или шхуны. Можешь не иметь дома, машины, слуг... Главное — яхта. А «яхтой» там называется любой баркас, почти все, что держится на воде и выглядит чуть больше обычной четырехвесельной шлюпки.

— У нас с тобой будет настоящая яхта. И назовем мы ее «Дрезден».

— Ну уж нет, только не «Дрезден»! — капризно воспротивилась Амита.

— Чем тебе не нравится такое название?

— Потому что так назывался крейсер, на котором вы тонули, гран-адмирал, — осуждающе не согласилась Амита. — Уж лучше назвать его «Третий рейх». Чтобы первый проходящий мимо англичанин или канадец тут же запустил в нее торпеду.

Адмирал грустно улыбнулся и, уложив Амиту на покатую спинку дивана, потерся пылающим лбом о ее грудь. Ничто не способно было так отвлекать его от дел и тревог, так успокаивать и так беззаботно ввергать в воспоминания, как такие вот беседы с Амитой. Даже несмотря на то, что всегда, при любых обстоятельствах, они сводились к вопросу всей ее жизни: «Когда, наконец, адмирал увезет меня на Канары?»

— Для меня Канары там, где ты, Амида. А ты все еще здесь.

— Давно надо было бы оставить вас. Не пойму, почему я так привязалась: уж лучше бы избрала того морского офицера-испанца, у которого вы меня отбили. Тогда все было бы по-иному.

— Тогда война пылала бы на Канарских островах, а здесь, в окрестностях Берлина, все выглядело бы тихо и мирно, как на пляжах Гран-Канарии в сезон дождей.

Амида тяжело вздохнула и, поняв, что разговор опять зашел в тупик, мягко, но тем не менее решительно сняла голову мужчины со своей груди, а руку — с колена и поднялась.

— Пойду-ка я в гости к Марте Фритьоф, — вздохнула она так безутешно, словно на похороны отправлялась. — Если понадобится коктейль — позвоните.

— В ближайшее время не понадобится.

— Тогда садитесь за свои бумаги и пишите.

— Что... писать? — не понял адмирал.

— Книгу, конечно.

— Какую еще книгу?!

— О гран-адмирале Канарисе и его абвере. Вспоминайте, как все это было. Только делайте это правдиво.

— Почему вдруг ты решила засадить меня за книгу?

— Вы ведь много раз говорили, что, как только вас вышвырнут из абвера, засядете за книгу воспоминаний.

Самое время: вышвырнули.

— Отомстила! — удивленно покачал головой адмирал. — А что, может, действительно взяться за книгу? Когда она появится, уже после войны, — в книжном мире это произведет эффект Третьей мировой.

— Не в этом дело. Выговориться вам надо. Человек, познавший столько всего, как вы, и молчащий, как вы, долго не выдержит.

— Я это уже чувствую.

— Только не вздумайте упоминать обо мне.

— Какая ж это будет книга — без тебя? — ничем внешне не выказывая своей иронии, произнес адмирал.

— Как положено, настоящая, адмиральская. Уж я-то знаю, какие постыдства вы способны приписать в своих воспоминаниях простой невинной девушке с Канар.

— Можешь не волноваться, в книге ты будешь выглядеть непорочной, как Дева Мария.

— ...После второго аборта.

— Амита!..

— Что вас шокирует, мой гран-адмирал?

— То, что ты позволяешь себе говорить о Деве Марии.

— Оля-ля! В мадридских кабачках, в одном из которых мы с вами познакомились, лейтенант Канарис, приходилось слышать и не такое.

«На Канарах все богачи обязательно имеют яхты, — по-младенчески улыбнулся Канарис нелепейшей из мыслей, какие только способны были прийти ему сейчас в голову. — Можешь не иметь дома, машины, слуг... Главное — яхта... Но у тебя, гран-адмирал, ее нет. Всего остального очень скоро, очевидно, тоже лишишься, в том числе и Амиты Канарии...»

Благословенная получасовая дрема — «бацилла испанской сиесты», по собственному выражению адмирала, которой он привык предаваться как минимум дважды в течение дня, причем везде, где бы и в какой ситуации он ни находился: у себя дома, в кабинете шефа абвера, в дороге или даже в приемной фюрера, — на сей раз подозрительно долго не посещала его. И дело тут было не в явлении ему некогда пылкой канарки. То предчувствие опасности, которое не покидало адмирала в последние недели, наконец-то обретало форму вполне осязаемого призрака — капитана второго ранга Франка Брефта. Призрака из сумбурного прошлого и, по всей вероятности, столь же сумбурного и опасного будущего, до поры до времени значащегося в картотеке отдела «Абвер-II», куда лишь незадолго до своего смещения адмирал перевел его из отдела «Абвер-заграница».

Раздумья адмирала были прерваны шагами Амиты. Он открыл глаза и окинул взглядом фигуру женщины. На сей раз она показалась ему намного привлекательнее, нежели во время предыдущих визитов. Но в ту самую минуту, когда адмирал вознамерился поманить ее к себе, Амида выпалила:

— Там внизу... Опять пришел этот капитан Франк Брефт, — чем окончательно развеяла его мрачные

размышления и полудрему.

— Брефт?! Этого не может быть! Брефт не мог прийти сюда во второй раз! — Голос адмирала был полон удивления, граничащего со страхом. Ну и совпадение!

— Любой другой, очевидно, не смог бы. Но только не Брефт, — напомнила Амиа гран-адмиралу, с кем он в действительности имеет дело.

— Когда он появился?

— Минут пять назад.

— И все это время находился в моем доме?

— Не хотелось тревожить вас, но он настаивает.

— Какого еще дьявола ему нужно? — неохотно, кряхтя и чертыхаясь, поднялся Канарис.

— Просит срочно принять. Он не один: вместе с ним — барон Альберт фон Крингер.

— Так они вдвоем?! Откуда взялся Крингер, а главное, почему он решил навестить меня?

— Значит, я так и скажу Брефту, что вы не готовы... — решительно взялась за ручку двери Амиа.

— Но он уже здесь. Пусть войдет. И потом, барон фон Крингер... — подрастерялся адмирал, не зная, как поступить.

Неожиданный визит этих двух господ совершенно спутал его мысли и планы. Однако единственное, чем могла помочь своему хозяину и возлюбленному Амиа, — это выпроводить визитеров из дома. Понятно, что ей сделать это было намного проще, нежели самому адмиралу.

— По-моему, они очень встревожены. Вряд ли их рассказ позволит вам отдохнуть.

— Крингер... — проворчал адмирал, доставая из шкафчика бутылку коньяка. — Вот уж кого я никак не ожидал увидеть у себя в доме, так это барона Крингера!



— Следует полагать, что этот господин еще назойливее капитана Брефта, — уперлась кулаками в бедра служанка, однако в разговор с ней адмирал втягиваться не стал.

«Его-то что привело сюда? Уж не пытается ли Брефт использовать его в роли увещевателя? — продолжал он ворчать уже мысленно. — Неужели решили, что вдвоем они сумеют уговорить меня бежать из страны или уйти в подполье? Но только им это не удастся. Вот уже не думал, что Брефт окажется неотступным, как якорная ржавчина».

— Господин адмирал, полковник барон Альберт Крингер, если помните, — почти по-военному представился рослый седовласый крепыш, одетый в черный мундир, отдаленно — хотя и без знаков различия — напоминающий парадную униформу эсэсовца. Брюки заправлены в сапоги, китель обхвачен ремнем, накладные карманы застегнуты на металлические пуговицы...

— Почему я не должен помнить вас, полковник? Не в моих правилах отречься от старых друзей.

— Не волнуйтесь, если бы отреклись, меня бы это не удивило. Теперь многие предпочитают не узнавать отставного полковника Крингера.

— Меня тоже многие не узнают, — невозмутимо утешил его адмирал. — С некоторых пор. С этим, как и со многими другими человеческими низостями, приходится мириться.

— Великодушно мириться, — поддержал его барон и тут же запнулся, так и не объяснив причины своего появления на вилле. Очевидно, решил, что объяснения удобнее давать фрегаттен-капитану.

— Не поймите меня превратно, — сразу же переключился Канарис на Брефта, — но мне казалось, что все, что мы могли выяснить, мы уже выяснили во время нашей прошлой встречи.

— Поначалу мне тоже так казалось, — охотно согласился Брефт, — но, как только что выяснилось...

— В таком случае, готов внимательно выслушать вас.

— Меня чуть было не схватили в том доме, где я намерен был некоторое время переждать, — мрачно сообщил Брефт, стараясь не встречаться взглядом с хозяином виллы.

— Он прав, так оно все и происходило, — подтвердил Крингер.

— То есть дом уже был под наблюдением? Тогда, может быть, охотились не конкретно за вами, а?..

— Под наблюдением был не дом, а я. Когда я понял, что меня выследили и сейчас будут арестовывать, я сделал то единственное, что способен был сделать, — бежал через окно, выходящее в сад, потом перемахнул через забор...

— Если я верно понял, эту слежку вы готовы связать с посещением моей виллы?

— Не подозревая при этом лично вас, господин адмирал, — предупредительно помахал раскрытыми ладонями фрегаттен-капитан. — Даже в мыслях не было.

— Тогда почему вы опять решились прийти сюда, агент Брефт? Уж кому, как не вам, помнить о законах конспирации, даже если речь идет о слежке, проводимой своими?

— Обстоятельства вынудили, господин адмирал.

— Какие еще обстоятельства?

Прежде чем ответить, Брефт многозначительно взглянул на своего спутника, чье лицо, однако, осталось невозмутимым.

— Единственный, с кем я знаком в этой части предместья, является полковник Крингер. Я пришел к нему, но полковник не советовал оставаться у него.

— Это так, — щелкнул каблуками полковник, чем очень удивил адмирала,<sup>[34]</sup> и еще больше удивил его, когда отвесил изысканный офицерско-прусский поклон. — Действительно не советовал. Из предосторожности.

— И поэтому вы оба явились ко мне, считая мой дом самым безопасным местом в Берлине?! — не мог скрыть Канарис своего изумления, под которым уже ясно просматривалось возмущение.

— Все же к вам, адмирал, гестапо вряд ли решится нагрянуть, — извиняющимся тоном молвил Брефт.

— Именно ко мне оно и может нагрянуть в первую очередь. И не думайте, что из моего дома вам тоже удастся бежать через окно.

— На виллу мы попали через заднюю калитку сада, — объяснил Крингер. — Не похоже, чтобы кто-либо заметил, как мы входили в здание. Навыки конспирации, приобретенные еще в те времена, когда мы с вами впервые готовили... Вернее, когда впервые готовы были распрощаться с фюрером.

— Сейчас не время для подобных воспоминаний, полковник, — поморщился Канарис.

— Извините, но считаю, что в этой компании оно все же уместно, — ужесточил тон полковник. Холодный прием явно оскорбил его, считавшего себя «человеком Канариса», его единомышленником и соратником. — И можно лишь сожалеть, что мы не можем вспоминать об этом, сидя сейчас за одним столом с генералом Остером.<sup>[35]</sup>

— Вам хорошо известно, что Ханс Остер арестован, — резко парировал Канарис.

— Известно, господин адмирал. Как известно и то, что вы ничего не сделали для его освобождения или хотя бы для смягчения его участи.

Это уже было не просто обвинение, это была пощечина, плевков в лицо. Но вместо того, чтобы разъяснить реальное положение дел, объяснить, в какой ситуации оказался он сам, или попросту возмутиться, Вильгельм Канарис удрученно, упавшим голосом произнес:

— Неужели вам не ясно, полковник, что я тоже со дня на день... да что там, теперь уже с часу на час ожидаю ареста?

— Постоянное ожидание ареста — естественное состояние любого разведчика, — ухмыльнулся полковник.

— Только не того, с которым к тебе нагрянут свои, в мундирах офицеров СД или гестапо, — возразил Канарис. — Мне же приходится опасаться не врагов, а своих. И вам это прекрасно известно, Франк, — почему-то адресовал он свою тираду не полковнику, а Брефту.

— Думаю, что теперь вам опасаться уже нечего, — обронил фрегаттен-капитан.

— Почему вы так считаете?

— Если бы вас намеревались взять, то взяли бы в первой волне арестов, — ответил вместо фрегаттен-капитана полковник Крингер. — Но коль уж ни фюрер, ни Гиммлер не решились на это, значит, у них есть веские причины для того, чтобы не трогать вас.

— Какие еще причины? — скептически поинтересовался Канарис.

— Например, фюрер не может забыть, что вы являетесь личным другом правителя Испании Франко, с которым ему не хочется портить отношения.<sup>[36]</sup> Не хочется уже хотя бы потому, что Испания рассматривается им как одна из стран, в которой после войны он смог бы найти убежище.

— Мне и в голову никогда не приходило связывать свое нынешнее положение с моими отношениями с

генералом Франко.

— ...Или же, наоборот, у Гитлера все еще нет достаточно веских причин и доказательств, которые позволили бы подвергать вас аресту.

— Что значительно ближе к истине.

— Но в любом случае фрегаттен-капитану Брефту лучше всего пробыть у вас до ночи, а уж потом попытаться уйти за город, — он взглянул на часы. Адмирал тоже бросил взгляд на свои старинные, настенные: шел пятнадцатый час. — Надеюсь, его визит не окажется слишком уж обременительным для вас, господин адмирал.

«А твой собственный визит? — мысленно поинтересовался Канарис, нервно поиграв острыми желваками. — Благодаря которому ты пытаешься спихнуть мне человека, на арест коего уже наверняка выдан ордер?»

— Коль уж так сложились обстоятельства, — проворчал адмирал, — вы, Брефт, конечно, можете какое-то время побыть у меня, но замечу, что это не самое удачное решение проблемы вашей безопасности.

— Я понимаю, — пробормотал фрегаттен-капитан, ощущая, что мужества покинуть дом, который казался ему единственным надежным пристанищем, у него не хватит.

— Может быть, к ночи выяснится, что еще не провалена квартира, в которой господин Брефт сможет несколько дней отсидеться, — вновь попытался вступить за него полковник Крингер.

— Что будет не так-то просто выяснить, — проворчал Канарис. — И, главное, кто станет заниматься сейчас подобным выяснением?

Адмирал все еще смутно представлял себе, что именно произошло. Еще недавно Брефт чувствовал себя очень уверенно. Он говорил о машине с двумя автоматчиками, о покровительстве кого-то из высших

чинов рейха, о явочной квартире, в которой он, Канарис, спокойно может отсидеться.

А какие перспективы открывались в связи с приглашением Каталонской Герцогини! И вдруг сам он ищет приюта под крылом опального адмирала. Как-то нелогично все это выглядит.

— Мы постараемся. Если дом окажется «чистым», это сразу же облегчило бы его участь. Я несколько раз звонил туда, однако трубку никто не поднимал. В крайнем случае у вас тоже, очевидно, найдется какое-то логово.

— Нужно подумать, — отрубил Канарис, подумав о том, как мудро он поступил, отказавшись во время последней встречи от предложения Франка-Субмарины. — А пока что прошу к столу, самое время отобедать.

— Весьма великодушно с вашей стороны, господин адмирал, — признал барон, первым направляясь к одному из кресел.

Адмирал вызвал наверх Амиту, попросил приготовить закуску, а сам принялся разливать коньяк. Несмотря на прозвучавшее приглашение, Брефт сажился за стол с видом незваного гостя, которого уже однажды изгоняли из этого дома и который появился, чтобы и впредь оставаться обузой для хозяев.

Бывший шеф абвера заметил это и благодушно успокоил:

— В конце концов, вы могли бы и не уходить отсюда, Брефт. Но вы уверяли, что владеете надежным пристанищем.

— И даже предлагал его вам. Счастье, что вы не клюнули на эту приманку.

— Ну-ну, так уж и приманку.

— Но ведь вы же решили бы, что это я заманил вас в ловушку.

— О вас я бы такого подумать не смог, Брефт.

— Смогли бы, адмирал, смогли.

— ... И потом, эти ваши испанские воспоминания... Которые, признаюсь, тронули меня. Уж они-то, надеюсь, не плод ваших фантазий?

— Согласен, теперь трудно доверять «кому-либо, трудно и опасно полагаться даже на самых проверенных.

— И все же есть круг людей, которым я и впредь намерен доверять, — молвил Канарис.

— В таком случае должны поверить и в правдивость моих «испанских воспоминаний», как вы изволили выразиться, адмирал.

Они вопросительно скрестили взгляды и тотчас же отвели их. Полковник ожидал, что кто-то из двоих прояснит, что имеется в виду под этими «испанскими

воспоминаниями» Брефта, но, поняв, что разъяснений не последует, напомнил хозяину о тосте.

— Вы правы, полковник, самое время выпить за Германию и за людей, достойных этой великой страны, заложившей основы европейской цивилизации.

Они выпили, потом все трое несколько минут молча, сосредоточенно жевали бутерброды с маслом и колбасой. Время от времени Канарис ловил на себе взгляды обоих гостей и понимал, что они ждут от него каких-то очень веских слов, ждут решения. Но какого именно? О побеге из страны? И какого совета? Как спастись от слежки людей Мюллера? Как подхватить штандарт неудавшегося заговора, чтобы, объединив вокруг себя всех, кто еще уцелел от репрессий, вновь повести их на рейхсканцелярию и главную полевую ставку фюрера «Вольфшанце»?

Но адмирал был не готов к подобной жертвенности. Как не был готов и никогда раньше. Он, человек, в течение почти девяти лет возглавлявший армейскую разведку, в чьем подчинении находилась мощная агентурная сеть, а следовательно, все возможности выходить на контакт с западными союзниками, — всегда рассматривался буйными головами из гитлеровской оппозиции как один из возможных лидеров заговора и переворота. Иное дело, что он так ни разу и не проявил себя ни в чем таком, что хоть в какой-то степени могло бы оправдать эти надежды.

— Господа, — сипловато прокашлялся Крингер. — Мы тут заговорили о доверии. Так вот, полагаю, что за этим столом собрались люди, которые, невзирая ни на какие провалы антигитлеровской оппозиции, по-прежнему могут доверять друг другу. — Он проницательно смерил взглядом Канариса и Брефта. Те отмолчались, но это было молчание единомышленников. Именно так полковник Альберт Крингер и истолковал его. — Бек, Гёппнер, Остер,



Шуленбург, многие другие деятели Сопротивления пали в этой борьбе. Но мы-то с вами — те, кто начинал борьбу за освобождение Германии от Гитлера еще в 1938-м, — еще живы. Если помните, адмирал, лично я был среди тех, кто в марте 1938-го провожал Карла Герделера в Париж, [\[37\]](#) а затем и в Лондон...

— Уверен, что Герделер войдет в историю как самый бездарный дипломат всех времен и народов, — Брефт закурил английскую сигару и, откинувшись на спинку кресла, уставился в потолок.

— Почему вы так решили? — сдержанно поинтересовался Канарис.

— Потому что обе его поездки в Париж, как и в Лондон, закончились совершеннейшим непониманием его собеседниками того, кто он, какие люди стоят за ним, с какой миссией он прибыл и что предлагает.

— Вы уверены в этом?

— Герделер — это дичайший случай.

— Вы несправедливы, Брефт, — возразил Крингер. — Возможно, ему не все давалось, но он искренне старался.

— Такого понятия — «старался» — дипломатия не признает. Ей известны: «успех» или «провал». И ничего, кроме этого.

— Есть еще состояние длительных сложных переговоров, которые у дипломатов так и именуются — «переговорный процесс», — заметил полковник.

— К тому же, — поддержал его Канарис, — в непонимании следует винить не только Герделера, но и его собеседников. Что он мог поделать, если, вместо того чтобы посоветовать своему шефу немедленно предпринять конкретные меры, советник британского министра иностранных дел сэр Ванситтарт обвинил Герделера... в измене родине! Ведь это же бред какой-то: к нему, рискуя жизнью, прибыл представитель

германского Сопротивления, которого в Лондоне должны были воспринимать как тайного союзника, представляющего высокопоставленный круг антигитлеровски настроенных военных и политиков... А сэр Ванситтарт обвиняет этого гонца в измене рейху!

— Все зависит от того, на каком языке говорить с этими чертовыми англичанами, — не сдавался Франк-Субмарина. — Например, мой личный опыт...

— Не все, Брефт, не все зависит только от этого, — нетерпеливо прервал его Канарис. — Язык, на котором с британцами пытались толковать фон Кляйст-Шменцин, [38] а затем и промышленник Ханс Бем-Теттельбах, тоже оказались недостаточно понятными по ту сторону Ла-Манша.

— Кое-что слышал об их попытках, поэтому не оспариваю.

— Значит, дело не столько в языке, сколько в политике, в позиции Англии, а также ее союзников; в условиях, на которых англичане и американцы согласились бы сотрудничать с нами. Если вы заметили, я сказал: «Согласились бы». Ибо до сих пор такого согласия мы не получали. Порой создавалось впечатление, что англичане попросту не заинтересованы в том, чтобы на германском Олимпе произошли какие-то радикальные изменения.

— У меня создалось такое же впечатление, — признал полковник. — Они опасаются, как бы победу над Германией не вырвали у них из рук сами германцы — своим переворотом или своей революцией. В данном случае потери на фронтах в Лондоне, как и в Берлине, в расчет не принимаются.

— Но ведь и мы, ржавый якорь нам в борт, тоже обещаний своих не выполнили, — медленно тянул коньяк Брефт. — Поездки в Париж, Лондон — это,

конечно, хорошо. Но фюрера-то на тот свет мы так и не отправили.

— Господин Брефт... — поморщился Канарис, пораженный его прямолинейностью. Он терпеть не мог, когда в его присутствии кто-либо решался упоминать о покушении. — Нельзя ли не столь прямолинейно и как-нибудь помягче?

— Но ведь мы лее собирались сделать это! Или, может, я не так воспринял весь тот канкан, который мы затевали вокруг фюрера?

— Пытались, да... — неохотно проворчал адмирал, — но стоит ли сейчас об этом?

Однако Брефт постарался проигнорировать его недовольство избранной темой и все так же темпераментно продолжал:

— Сначала генерал Бек пытался выдавать себя за нового вождя нации, но хватило его только на то, чтобы подать в отставку после решения Гитлера ввести войска в Судеты.<sup>[39]</sup> Затем генерал Гальдер умудрился запутаться в собственных хитроумных планах то ли отстранения Гитлера от должности, то ли ареста его как душевнобольного. А разве мало было воинских частей, мало сторонников у генерала фон Вицлебена<sup>[40]</sup> в бытность его командующим берлинским военным округом, чтобы арестовать Гитлера и захватить власть?

— Только не Вицлебен... — почти безглаголиво поморщился полковник Крингер, покачивая головой. — Привлечение к операции Вицлебена было одной из самых досадных ошибок вашего движения.

И для адмирала не осталось незамеченным, как недвусмысленно полковник отмежевался от движения оппозиционеров: «вашего движения»!

— Тогда в чем дело? — продолжил свой обличительный монолог фрегаттен-капитан. — Нет, я спрашиваю себя: в чем дело? Пока, лежа на дне, мы

обрастали ракушками, Гиммлер и Мюллер вылавливали наших сторонников, как старых облезлых крабов.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

«Опель» осторожно пробрался между руинами домов и, миновав молитвенно устремленную к небесам кирху, неожиданно оказался посреди небольшой, непонятно как сохранившейся в этой части Берлина, рощи. Между стволами ее почерневших от копоти деревьев замелькали выкрашенные в серые и темно-коричневые тона коттеджи — безголосые, безлюдные, отстраненные от всего происходящего в этом мире, словно решившие отсидеться посреди девственных лесов пустыри.

— Это уже Шлахтензее, — обронил барон фон Фёлькерсам, сохранявший доселе столь же уважительное молчание, как и Шелленберг. Оба чувствовали себя палачами, коим предстояло казнить человека, в казни которого они были заинтересованы меньше всех остальных в этом городе. Тень адмирала Канариса нависала над ними уже из потустороннего мира, обращаясь к их совести и офицерской чести.

— Вам, Фёлькерсам, известно, где находится особняк адмирала?

— Приходилось как-то бывать.

— Теперь даже признаваться в этом небезопасно, — проворчал Шелленберг.

— Я пока еще признаюсь.

— Вы — да.

— И, в отличие от некоторых офицеров, не стесняюсь этого знакомства.

— Вы, барон, как и ваши отношения с Канарисом, — отдельный разговор. Впрочем, выпячивать близость отношений с шефом абвера нынче тоже не рекомендуется. В интересах высшей,

правительственной морали. Хотя еще недавно ею гордились и при первой же возможности бахвалились.

— Если не рекомендуется, то как в таком случае вести себя Гиммлеру, Кальтенбруннеру и всем прочим, не говоря уже о фюрере, который лично выдвигал и назначал Канариса на все его посты?

— Неудобные вопросы вы задаете, Фёлькерсам, очень неудобные. Мало ли кто кого и на какие должности выдвигал. Война — величайший из инспекторов, это знает каждый полководец.

— А мне даже трудно себе вообразить, что натворили эти сволочные заговорщики. Дошло до того, что фюрер вообще никому не доверяет. Четверть генералитета уже казнена или ждет суда. Эти фроммы и штауффенберги полностью дезорганизовали армию.

— Не советую выражаться в подобном духе в присутствии адмирала Канариса. Судя по всему, он один из самых активных заговорщиков. Или, по крайней мере, способствовал заговору, как агент англичан.

Забыв на несколько мгновений о руле, Фёлькерсам окинул Шелленберга испытывающим взглядом, пытаясь понять, насколько серьезно то, о чем говорит бригадефюрер. И насколько он искренен в своих обвинениях.

— Мне известно, что адмирала подозревают, известно, что ему не доверяют теперь ни Гиммлер, ни Гитлер. И все же не устаю задавать себе один и тот же вопрос: «Неужели Канарис и в самом деле примкнул к заговорщикам?» С трудом верится в это.

— От нас и не требуют верить, барон, от нас требуют выполнять приказ. Что мы и пытаемся делать.

— Кое-кому попросту хочется свести счеты с адмиралом, устранив его от какой бы то ни было власти.

«Барон действительно мог не знать ничего конкретного об участии руководителя абвера в

заговоре, — попытался оправдать его Шелленберг. — Он ведь всего лишь гауптштурмфюрер... До столь низких чинов армейский генералитет, участвовавший в операции «Валькирия», похоже, вообще не опускался».

— Иначе с чего вдруг нам приказывали бы арестовать адмирала? — определил свою позицию шеф разведки СД.

«Он наверняка сделает все возможное, чтобы ни Мюллеру, ни Кальтенбруннеру адмирал не достался, — по-своему истолковал его позицию Фёлькерсам. — И ты, лично ты, должен поддержать его в этом. Ибо кто знает, что всплывет в показаниях адмирала, когда в гестапо за него возьмутся по-настоящему. Не промелькнет ли в одном из допросов твое собственное имя — человека, который, к тому же, участвовал в аресте шефа абвера?»

На выезде из роши барон едва сумел провести машину по краю свежей бомбовой воронки. Не исключено, что один из английских пилотов специально промышлял здесь, в надежде вдрызг разнести особняк Канариса, а заодно пустить «на дно» самого адмирала.

«А ведь бригадефюреру тоже не хочется, чтобы великий потрошитель вражеских секретов вдруг взял и заговорил, — вновь вернулся к своим размышлениям барон, хитровато взглянув на своего спутника. — Если Мюллер в столь жесткой форме приказал Шелленбергу арестовать Канариса, значит, очень скоро кому-то из генералов СС придется арестовывать самого Шелленберга. Единственным исключением может быть то, что выполнить эту миссию Мюллер прикажет какому-нибудь полковнику или капитану. Например, тебе».

— По-моему, барон, мы думаем сейчас об одном и том же, — промолвил Шелленберг.

Бригадефюрер не знал, как вести себя с Фёлькерсамом. Ему было известно, что барон-



коммандос несколько раз отчаянно отличился. Первый раз — в воздушно-десантной операции в Бельгии, затем, год назад, — на Кавказе, где его десантный батальон мужественно удерживал перевал, а потом, ударив русским в спину, помог прорвать окружение, в которое попали два немецких полка с огромным госпитальным обозом. Подобные операции редко завершаются успехом, однако в тот раз Фёлькерсаму явно повезло.

Но странная вещь: несмотря на все заслуги барона и его отчаянную храбрость, повышать его в чине никто не торопился. Поэтому сейчас Шелленберг, остававшийся приверженцем строгой субординации, старался не только не упоминать чин Фёлькерсама, но и попросту забыть о нем, довольствуясь тем, что говорит с... бароном.

— А по-моему, господин бригадефюрер, мы вообще пытаемся ни о чем не думать. Ни о чем тревожном.

— Так, может быть, в этом и есть наше спасение?

— Знать бы еще, что спасение Германии — не Третьего рейха, а именно Германии — тоже заключается в нашем спасении, а не в нашей гибели.

— Можете не сомневаться: оно как раз заключается в нашей гибели, — снисходительно улыбнулся Шелленберг. — Чем меньше нас, творивших Третий рейх, останется в живых до конца войны, тем легче, с меньшими муками, будет рождаться рейх Четвертый.

...И эта наигранно-неестественная улыбка, придававшая холеному аристократическому лицу Шелленберга выражение то лукавой невинности, то откровенного, кондового идиотизма, — сохранялась до ворот виллы Канариса.

Канарису было крайне неприятно, что Брефт, как говаривал в подобных случаях генерал Остер, опять «принялся взрыхливать старые могилы». Он вообще не поощрял подобных воспоминаний, от кого бы они ни

исходили, а уж тем более — от Брефта, никогда не входившего в состав руководства заговорщиков, хотя и знавшего непозволительно много. В самом деле непозволительно много...

Тем не менее адмирал вынужден был признать, что в принципе его агент прав: они упустили массу возможностей. В том числе упустил и он, всемогущий, как казалось многим из заговорщиков, шеф военной разведки вермахта, имевший под своим руководством целый орден рыцарей плаща и кинжала, владеющих мастерством перевоплощения и жизни в подполье.

И если сейчас Канарису до рези в желудке не хотелось, чтобы кто-либо из его окружения прибегал к подобным экскурсам в прошлое, то прежде всего потому, что сам слишком уж обостренно воспринимал собственную ответственность за всю эту нелепейшую цепь неудач и провалов.

Многие из тех, кто уже казнен или ожидает казни в тюрьме Плетцензее, могли поведать на суде лишь о событиях сорок третьего — сорок четвертого годов. Но Брефт, Остер, Крингер помнили, как все это начиналось еще в тридцать шестом. А ведь только очень немногие знали, что еще одиннадцать лет назад, по настоянию заговорщиков, советник имперского суда Ханс фон Дананьи начал составлять специальное досье, рассчитывая, что на его основании удастся организовать судебный процесс по делу Гитлера — уголовного и военно-политического преступника.

Да, он начал составлять его еще в тридцать третьем! Поэтому к лету тридцать восьмого, когда Гитлер объявил о намерении начать войну с Чехословакией, а следовательно, и с ее союзниками — Великобританией, Францией, США, — заговорщики, к которым почти открыто примыкали Канарис и его заместитель, генерал Остер, были готовы к двум вариантам свержения Гитлера: и к его убийству, и к

аресту с последующим преданием суду. Хотя и понимали, что предпочтительнее сразу же, одним смертельным ударом, убрать фюрера. Слишком уж много оставалось у Гитлера фанатично преданных сторонников, чтобы рассчитывать, что его арест и предание суду не доведут дело до военных столкновений, массовых протестов, а то и настоящей гражданской войны.

Впрочем, существовал и еще один вариант отторжения фюрера от германского общества, заключавшийся в том, что его должны были объявить душевнобольным. Главным исполнителем этого плана стал профессор Карл Бонхёффер, в чьем распоряжении находилось психиатрическое отделение берлинской клиники «Шарите». Сразу же после ареста фюрера, осуществление которого возлагалось на генерала фон Вицлебена, начальника берлинской полиции графа Хельддорфа и его заместителя графа Фрица-Дитлофа фон Шуленбурга, профессор Бонхёффер обязан был возглавить врачебную комиссию, способную принудительно освидетельствовать фюрера как психически неполноценного, а следовательно...

Впрочем, у этого плана появились серьезные противники даже внутри клана заговорщиков. Например, идея водворения фюрера в клинику для душевнобольных очень не нравилась некоторым генералам. Уже хотя бы потому, что оставлять кумира тупоголовых бюргеров в живых в любой ипостаси было крайне опасно. Прежде всего, против этого выступал Вильгельм Хайнц, [\[41\]](#) создавший сильную боевую группу из молодых офицеров и членов организации «Стальной шлем». Правда, его больше смущали морально-этические проблемы фюрерского сумасшествия. Ведь перед всем миром неминуемо встанет вопрос: «Чего стоит страна, которой в течение многих лет руководил

сумасшедший? И чего могла достичь армия, Верховным главнокомандующим которой был психически больной человек? А как относиться к тем указам и договорам, которые издавал и подписывал законченный идиот? А к его приказам о повышении в чинах?»

И Канарису, как и всякому патриотически настроенному, здравомыслящему германцу, трудно было не согласиться с такими доводами.

Возможно, если бы Хайнцу дали возможность влиять на ход заговора, он сумел бы осуществить его еще шесть лет назад. Лишь после срыва первой попытки заговора он признался Канарису, что группа наиболее решительных офицеров из его ударной группы захвата фюрера получила жесткий приказ: пристрелить Гитлера еще во время ареста. Пристрелить любой ценой, спровоцировав любой возможный в той ситуации инцидент. Вплоть до инсценирования его побега из-под ареста.

Теперь Канарису приходилось лишь сожалеть, что подразделение, подобное «отряду Хайнца», действовавшему в тридцать восьмом, не было сформировано ими в июле сорок четвертого. Тогда штурмовики Хайнца были заблаговременно размещены по частным квартирам, что исключало их массовые аресты в случае провала. Кроме того, были подготовлены специальные отряды полицейских. Существовал и вполне реалистичный план захвата столичной радиостанции...

Но, видно, пророческими оказались слова того же Хайнца, который, обосновывая идею уничтожения фюрера, заявил генералу Остеру: «Только не тешьте себя иллюзиями, что вам удастся повергнуть фюрера обычным отстранением от власти или в ходе судебного процесса. В политическом плане Гитлер, этот полуидиот, сильнее генерала фон Вицлебена вместе со всем его армейским корпусом».

Тогда Остер расценил его заявление как симптом страха перед фюрером и был неправ. Хайнц как раз оценивал ситуацию более чем реалистично.

— Мне до сих пор трудно поверить, — неожиданно ворвался в поток его размышлений полковник Крингер, — что тогда, в тридцать восьмом, заговор мог быть сорван только потому, что фюрер согласился на проведение Мюнхенской конференции по поводу судьбы Судетских земель.

— Но именно этим шагом Гитлер выбил у нас из-под ног политическую почву заговора, — нервно возразил Канарис.

— Это мы так решили. На самом деле у нас всего лишь очень слабо была налажена пропаганда. Геббельс — вот кого нам в те времена не хватало.

— Нельзя было просто устранить или убить фюрера. В конце концов, не следует забывать, что к власти он пришел законным путем, что у него была огромная масса приверженцев, а также о том факте, что за ним шла значительная часть армии, военно-воздушного, военно-морского флота и полиции. Даже в абвере далеко не все были согласны воспринять план переворота. По крайней мере до того, пока Гитлер оставался в живых.

— Гибель фюрера кардинально изменила бы отношение к нему, — согласился Крингер, — но только гибель...

— И потом, нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что высокопоставленный Лондон так и не дал гарантий своей поддержки.

— Извините, адмирал... Но мне, ржавому якорю, позволительно заметить, что в подобных делах Британия ни при чем. Ей нечего соваться в наши дела.

— Я не понимаю вас, Брефт.

— Фюрер с его национал-социализмом — это наши, сугубо германские проблемы. И потом, если кто-то там,

в британских верхах, не высказал нам во всеуслышание своей поддержки, из этого еще не следует, что официальный Лондон против убийства фюрера. Не следует забывать слова лорда Галифакса,<sup>[42]</sup> сказанные им сразу же после конференции советнику германского посольства в Лондоне Тео Кордту: «Позвольте, но ведь не могли же мы быть столь же откровенными с вами, как вы с нами!»

— Да, он действительно высказался в таком духе?! Странно, я почему-то об этом не знал.

— Только не «в духе», а дословно. Они были опубликованы в какой-то из газет, кажется, во «Фёлькишер беобахтер», и я выписал их себе.

— Что весьма похвально с вашей стороны. Возможно, я просто не обратил внимания на эти слова.

— Во всяком случае, это было сказано истинным дипломатом, не позволявшим себе открыто вмешиваться во внутренние дела Германии. «Дескать, совершите переворот, уберите фюрера с политической арены — тогда и поговорим», — вот что скрывалось за напыщенной репликой лорда, — вновь вклинился в разговор полковник. — Мы же с вами возрадовались мирному присоединению Судет, мы слишком расчувствовались по этому поводу.

— Поскольку это единственное, что нам позволительно было делать в то время, — заметил адмирал.

— Сомневаюсь. Многие указывает на то, что Гитлера можно было убрать еще тогда, в Мюнхене, в сентябре тридцать восьмого года.<sup>[43]</sup>

— Ну, уж тогда подобная затея выглядела бы — в политическом плане — чистейшим безумием, — проворчал Канарис. — Весь Мюнхен приветствовал фюрера как собирателя германских земель,

новоявленного Барбароссу. А тут мы — со своей бомбой! После покушения немцы растерзали бы нас.

— А по-моему, после присоединения Судет взбудораженный Мюнхен куда желаннее приветствовал Чемберлена, что вызвало у Гитлера приступ желчного раздражения. [\[44\]](#)

— Не думаю, что такая мелочь могла испортить фюреру настроение или хотя бы бросить тень на то общее впечатление, которое он вынес из этой мюнхенской говорильни. В конечном итоге победителем из конференции вышел он, а не Чемберлен или кто-либо другой. На этой встрече в верхах он добился всего, чего хотел и к чему стремился.

Внимательно выслушав адмирала, Крингер все же отрицательно покачал головой.

— Этим мог довольствоваться кто угодно, только не Гитлер.

— Как знать, как знать...

— Гитлеру нужно, чтобы немецкий народ еще и любил его, — философски заметил Крингер. — Настоящему диктатору мало осознавать, что народ покорился ему, важно знать, что этот, поставленный им на колени, народ еще и любит, просто-таки обожает его.

— Чтобы народ до смерти боялся его, — саркастически заметил Брефт, — и так же, до смерти, любил! Согласитесь, адмирал, в этом что-то есть от истинной натуры нашего фюрера.

На какое-то время в «каюте адмирала» воцарилось тягостное молчание. Так отрешенно, думая каждый о своем и глядя в пространство перед собой, способны молчать только заговорщики-неудачники, уже почти физически ощущавшие на своих шеях петли правосудия.

— Господа, — нарушил это эшафотное молчание адмирал, после того как наполнил рюмки коньяком, — полагаю, что вы навестили меня не только для того, чтобы предаваться воспоминаниям о давнишних неудачах.

— Совершенно верно, — охотно согласился Крингер.

Офицеры переглянулись и, поняв, что хозяин виллы провозглашать тост не собирается, молча подняли свои рюмки, а выпив содержимое, еще с минуту молча, отрешенно смотрели каждый в свою сторону, а точнее, каждый в свое «никуда».

— Нас все еще трое, — решился продолжить некстати прерванный разговор полковник Крингер. — У нас сохранились кое-какие связи и влияние. Далеко не все наши единомышленники арестованы.

— К чему вы клоните, полковник? — резко отреагировал Брефт. — Не могли бы вы объяснить мне, старому крабу, что вы опять замышляете?

— Вообще-то мои слова были обращены к адмиралу Канарису, — слегка побагровел полковник.

Адмирал удивленно взглянул вначале на Брефта, затем на полковника. В отличие от фрегаттен-капитана ему понятно было, к чему клонит Крингер, зато удивляло другое — что эти офицеры явились к нему, заранее не согласовав свои планы.



— Однако за этим столом нас сидит трое; кажется, вы сами только что обратили на это внимание, — в не менее резкой форме напомнил Крингеру фрегаттен-капитан.

— Адмирал старше вас по чину, и для меня крайне важно было знать его мнение.

И тут Канарис понял: пора вмешаться, чтобы не допустить открытой ссоры между ними.

— У нас с вами, господа, и так хватает врагов, — угрюмо заметил он, в душе уже не соглашаясь с тем, к чему ведет в своих рассуждениях полковник Крингер. — Так стоит ли затевать драчку еще и между собой?

— Затевать, ясное дело, ничего не стоит, — первым отозвался Брефт, — но согласитесь, господин адмирал, что, когда в матросских кубриках и в трюмах начинается буза, в кают-компании с самого начала должна быть полная ясность происходящего. Иначе придется то ли вывешивать на мачте пиратский «Веселый Роджер», то ли развешивать по реям половину взбунтовавшейся команды.

— Он прав, — поморщился Канарис, которому уже в принципе не нравилось, что после всех провалов, арестов и казней полковник вновь решается затевать эту «трюмную бузу». Причем делает это в его доме. Однако недовольства его хватило только на то, чтобы сказать Крингеру: — И вообще, выражайтесь-ка яснее, полковник. Темнить здесь уже нет смысла.

— Считаю, — все еще не мог уговориться этот закоренелый заговорщик, — что нам немедленно следует повести переговоры с некоторыми генералами из близкого окружения фюрера.

— Да вы что, действительно собрались составлять еще один большой генеральский заговор?! — вдруг изумился Канарис, словно бы только теперь по-настоящему прозрел.

— Разве у нас есть иной путь? Не переплывать же нам воды Ла-Манша с криками: «Не стреляйте, мы неудавшиеся берлинские заговорщики! Приютите нас!»

— Все, кто мог угодить в Плетцензее, уже угодили туда. Вы всерьез считаете, что и после второй волны арестов найдутся желающие восходить на все тот же эшафот?

— Но ведь не можем же мы и в самом деле сидеть сложа руки! Война вот-вот завершится.

— Вот и пусть завершается. Возможно, даже под стенами Берлина. Но только пусть она завершается солдатами, на поле брани, а не в кабинетах путчистов.

— Вы произносите эти слова, адмирал, как приговор самому себе, — процедил полковник.

— Вполне допускаю, что именно так они и прозвучали.

— Именно так, — неожиданно побагровел Крингер, поняв, что в роли бунтовщика выступает сейчас только он. Будь адмирал сообразительнее, он даже приказал бы своему офицеру арестовать Крингера, чтобы затем предъявить фюреру в качестве доказательства своей лояльности. Но, к счастью последнего, так далеко адмирал заходить не собирался. Наоборот, запоздало вспомнив об обязанностях хозяина дома, он вновь наполнил коньяком рюмки.

— А ведь адмирал нрав, — неохотно включился в их диалог Франк Брефт и, не дождавшись тоста, опустошил свой коньячный прибор. — Судьбу Гитлера, как и Германии, теперь уже будут решать те, кто пройдет по руинам Берлина через изрытую окопами Европу.

— Еще полчаса назад вы, фрегаттен-капитан, были иного мнения, — огрызнулся Крингер.

— Но ведь еще полчаса назад мы не сидели в «каюте адмирала» и не слышали мнения самого адмирала. К тому же на столе не было бутылки

прекрасного французского коньяка, появление которого всегда резко меняет ход моих сумбурных соображений.

— Ну, если ваши взгляды определяются букетами французских коньяков... — оскорбленно поджал губы Крингер, — тогда мне, пожалуй, стоит помолчать. Дабы не выглядеть человеком, провоцирующим вас на очередное богонеудобное дело.

— Фюреронеудобное, полковник, — ухмыльнулся Брефт. — Так будет точнее.

— ...Вот вам и ответ на то, почему все наши заговоры против фюрера, сколь бы мудрено они ни были составлены, в конечном итоге завершаются полным провалом, — заключил полковник, считая таким образом, что тема исчерпана. — Мне очень жаль, господа, очень жаль!

Адмирал и фрегаттен-капитан отвели от него взгляды и благоразумно промолчали.

\* \* \*

...После нескольких минут угрюмого, многозначительного молчания Канарис вдруг настороженно прислушался. Снизу донесся звон колокольчика, но он решил, что это явилась подруга Амиты. Как раз в это время она обычно и появлялась. Но еще через минуту воцарившегося в комнате молчания дверь распахнулась, и на пороге возникла сама Амита Канария. Мужчины ожидающе уставились на нее, сразу же обратив внимание, что она бледна и крайне встревожена.

— Что там у вас стряслось, Амита? — как можно спокойнее, сохраняя достоинство, почти высокомерно спросил адмирал.

— Там, внизу!.. — пролепетала она, поражая Канариса видом своего перекошенного от испуга

лица. — Они уже здесь, они пришли!

— Кто «они»?

— Генерал Шелленберг и еще кто-то.

— Шелленберг?! — полушепотом уточнил Брефт, с нескрываемым ужасом глядя на адмирала.

— Не слишком ли рановато они явились? — рванул кобуру пистолета полковник. — У вас в доме есть какое-то оружие, адмирал? — решительно поинтересовался он. — Кроме вашего пистолета, конечно.

— Уж не собираетесь ли вы устраивать здесь стрельбу?

— Решать прежде всего вам, — напомнил ему Крингер. — Лично я могу делать вид, что ничего не происходит.

В ответ Канарис лишь великодушно пожал плечами:

— Значит, я не ошибся, этим человеком действительно оказался Вальтер... — глухим, подавленным голосом молвил он.

— Да-да, это Шелленберг, — подтвердила Канария, — и с ним еще какой-то офицер. Тоже в форме СС.

— Совершенно непредвиденный визит, господа, — поднялся Канарис. — Он пытался взять себя в руки, но у него это не получалось.

— Просто так, без звонка, генералы от СС визиты не наносят, — буквально прорычал фрегаттен-капитан и, подхватившись, метнулся сначала к одному окну, затем ко второму. Сейчас он был похож на разъяренного волка, пытающегося любой ценой вырваться из западни.

Зато полковник Крингер сидел теперь, сохраняя внешнюю невозмутимость. И Брефту трудно было понять, то ли он пытается делать вид, что неожиданный, необъявленный визит Шелленберга к адмиралу его действительно не касается, то ли решил продемонстрировать присутствующим, что такое

настоящая прусская выдержка. Но именно он, сохраняя все то же спокойствие, неожиданно спросил:

— Так что там, за стенами дома, происходит, фрегаттен-капитан? Ваши предположения?

— Оцепления вроде бы не видно, и все же чует мое ржавое сердце, что Шелленберг прибыл с арестом. А если это так, — Брефт достал из подмышки пистолет, взвел курок и положил его теперь уже в правый карман брюк, — тогда придется с ним объясниться.

— Только без этого, без пальбы, — мрачно предупредил его Канарис. — Если и пришли, то за мной.

— И что же, вы так и дадите себя арестовать?! Покорно, как все остальные, пойдете на эшафот?

— Я сам распоряжусь своей судьбой. Вы же ведите себя как невинные гости. Попытаюсь дать вам возможность уйти.

— Ну уж нет, адмирал! Эсэсовцам я вас так просто не отдам. Этих мы прикончим, от остальных уйдем. Проверьте оружие, полковник. Что вы смотрите на меня, словно с похмелья?

— Я тоже не намерен устраивать здесь пальбу, — спокойно ответил Крингер. — Любая попытка сопротивления только навредит адмиралу.

— Что же вы в таком случае намерены делать?

— Для начала следует выяснить намерения этих двух господ.

— Разве они все еще не ясны?

— Прекратите, Брефт, — прохрипел Канарис, не в силах совладать со спазмом гортани. — Я найду иные способы защитить себя, законные.

— Не травите якорь, адмирал. Для заговорщиков законных способов не существует. На то они и заговорщики. По крайней мере, так считают в гестапо.

— Брефт прав, адмирал, — вдруг чувственно положила руки на лацканы кителя своего патрона Амита. — Их всего двое. Вам нужно бежать.

— Ступайте к ним, фрау Амита, — чужим, не терпящим возражения голосом повелел он, — и скажите, что через две минуты адмирал Канарис сможет принять их.

— А лучше — послать их к черту, — со слезами и все той же, такой знакомой, несбыточной надеждой в глазах молвила испанка, — и сейчас же бежать на Канары.

В ответ Канарис лишь грустно улыбнулся: «Какая неистребимая наивность: бежать на Канары!»

Первое, что отметил про себя Шелленберг, — адмирал, казалось, ничуть не удивился их появлению. Он словно бы знал, что «его время» наступит именно сегодня и что придут именно они.

Несмотря на июльскую теплынь, флотский китель Канариса был застегнут на все пуговицы. Худощавое, бледноватое лицо сохраняло то особое спокойствие, которое в подобной ситуации невозможно изобразить и которое даруется вместе с прирожденным мужеством и выработанным с годами риска особым флотским хладнокровием.

— Вы имеете право упрекнуть нас, господин адмирал, в том, что мы явились без предварительного звонка, — вежливо склонил голову Шелленберг.

— Наоборот, бригадефюрер, как профессионалу, мне пришлось бы упрекнуть вас в неосмотрительной предупредительности.

«Значит, он все понял, — облегченно вздохнул Шелленберг, исподлобья взглянув на пятидесятивосьмилетнего экс-шефа военной разведки. — Впрочем, выглядело бы странным, если бы понадобилось растолковывать ему причины нашего визита».

— Позвольте представить: гауптштурмфюрер барон фон Фёлькерсам...

— Мы давно знакомы с этим бравым офицером, считающимся одним из самых перспективных в группе командос Отто Скорцени.

— Простите, не знал о вашем знакомстве, — сухо вато соврал Шелленберг.

— Иное дело, что теперь многие господа офицеры предпочитают не афишировать наше знакомство. Я не

имею в виду именно вас, барон.

— Ко мне это уж точно не относится, — заверил его гауптштурмфюрер.

— Прошу пройти со мной, господа. Я представлю вас своим гостям.

— Позвольте мне подождать здесь, господин бригадефюрер, — молвил фон Фёлькерсам, не решаясь следовать за хозяином дома.

Его рослая, плечистая фигура как-то сразу же наполнила все имеющееся в этой комнате свободное пространство, и в прихожей тотчас же стало тесновато.

— Мудрое решение, барон, — согласился Шелленберг.

Благовоспитанность гауптштурмфюрера как бы соединялась в данном случае с элементом предосторожности. Шелленберг уже выяснил, что адмирал в доме не один, поэтому благоразумнее будет, если опытный диверсант Фёлькерсам останется здесь, в прихожей.

Впрочем, бригадефюрер понимал, что на самом деле Фёлькерсам думает в эти минуты не о безопасности их мероприятия, просто ему не хочется присутствовать при их неминуемом объяснении. Еще совсем недавно барон служил под командованием адмирала, и прослыть среди сотрудников абвера конвоиром их шефа — не так уж и много чести.

В гостиной их ждало двое мужчин, приблизительно того же возраста, что и адмирал. Одного из них, Франка Брефта, Шелленберг уже однажды встречал в обществе Канариса; второго же, полковника Крингера, представленного хозяином в качестве дальнего родственника своей жены Эрики, урожденной Ваага, дочери пфорцхаймского фабриканта Карла Вааги, даже не успел разглядеть. Зато он сразу же уловил: оба офицера поняли, что появление здесь эсэсовского генерала — не случайность, и смотрели на него с



откровенной враждебностью. Они были вооружены, и Шелленберг не сомневался, что, пожелай Канарис бежать, эти двое, не задумываясь, помогли бы ему вырваться из его рук. Только теперь он убедился, что идти арестовывать бывшего шефа абвера, не позаботившись о более надежном конвое, было с его стороны нерассудительно.

— Извините, господа, но придется попросить вас оставить меня наедине с господином бригадефюрером, — довольно сухо проговорил Канарис, обращаясь к своим гостям.

— Если вы так решили... — многозначительно молвил Брефт, все еще держа правую руку в кармане брюк, в котором лежал пистолет со взведенным курком.

— Собственно, мы и так собирались откланяться, господин адмирал, — поддержал фрегаттен-капитана полковник Крингер. — Извините, что отняли у вас столько драгоценного времени, отвлекая по пустякам.

— Напротив, ваше присутствие скрасило почти два часа моего ожидания.

И все трое присутствующих поняли, о каком ожидании ведет сейчас речь Канарис.

Оба офицера с тоскливой грустью взглянули на него, затем на Шелленберга, подтянулись, откланялись и с нервной поспешностью удалились.

— Неужели вы покинете нас, господа?! — вполголоса изумилась Амида, подаваясь вслед за ними. — Оставлять своего адмирала в такое время!

«А ведь если бы арестовывать адмирала прибыл кто-либо из чинов гестапо, — подумал Шелленберг, — эти господа оказались бы за решеткой вместе с ним».

— Слово флотского офицера, что никакого отношения к теме нашего разговора эти двое не имеют, — безупречно вычитал его мысли Канарис, опасаясь, как бы их присутствие не было зафиксировано в рапорте об аресте.

— Что воспринимается мною безо всякого сомнения, адмирал.

— То есть я хотел сказать, что этих господ вообще не было при... нашей встрече, — не решился Канарис употребить слово «арест».

— Естественно. Именно на этом я и хотел заострить ваше внимание.

Усадив бригадефюрера за стоящий посреди кабинета большой овальный стол, за которым он только что блаженствовал вместе с гостями за бутылкой французского коньяка, Канарис поставил перед ним чистую рюмку и наполнил ее благородным напитком. Но затем, окинув взглядом стол и гостиную, предложил Шелленбергу перейти в кабинет, где, как ему показалось, разговор будет выглядеть доверительнее. Бригадефюрер покорно последовал за ним.

— За наши встречи, бригадефюрер, — произнес Канарис, как только их рюмки и тарелка с бутербродами оказались теперь на небольшом приставном столике, — независимо от того, где, когда и при каких обстоятельствах они происходят.

— Наслаждайтесь, адмирал, — произнес Шелленберг, однако к рюмке своей даже не прикоснулся. Он иронично взглянул на адмирала, затем на предложенный ему напиток и, как-то странно хмыкнув, словно говоря ему: «У вас еще хватает наивности пить за эту нашу встречу?» — едва заметно покачал головой.

Поняв, что бригадефюрер попросту проигнорировал его тост и его угощение, Канарис слегка прозрел и сразу же протрезвел.

— Как это ни странно, мне почему-то всегда казалось, что в день моего ареста сюда прибудете именно вы, Шелленберг.

— Вы всегда отличались особой прозорливостью, адмирал, — явно льстил ему бригадефюрер.

— Увы, не всегда. Если бы я в самом деле обладал таким даром, многого из того, что постигло меня в последние годы, можно было бы избежать.

— Порой мы боимся собственных пророчеств, поэтому стараемся не верить им.

— «Мы боимся собственных пророчеств», — задумчиво повторил Канарис. — Прекрасно сказано. А главное, как раз обо мне.

— Это обо всех нас, адмирал. Надпись на наших гербах и гробах.

— В то же время признаюсь, что менее всего мне хотелось, чтобы эта миссия выпала на вашу долю, — мрачно молвил адмирал, усаживаясь напротив шефа службы внешней разведки СД.

— Мне же было бы неприятно, адмирал, если бы по этим старинным коврам топтались огрубевшие от работы в подвалах гестапо парни Мюллера. Сие было бы недостойно ни вас, ни этого сурового рыцарского гнезда, — и он обвел рукой довольно скромно, чтобы не сказать убого, меблированный и оформленный зал. [\[45\]](#)

— Польщен, бригадефюрер, польщен.

— Правда, мне очень не хотелось оказаться в роли жандарма, поэтому я пытался отказаться от выполнения этого задания.

— С вашей стороны это было крайне неосмотрительно, бригадефюрер. Не забывайте, что теперь у вас врагов не меньше, чем у меня.

— Этот ваш тезис почти не поддается оспариванию. Причем после нынешнего... после нынешней акции, — исправился бригадефюрер, так и не решившись вымолвить слово «ареста», — врагов у меня станет значительно больше, чем можно было предположить.

— После нынешней — да, — не стал щадить его Канарис. — Это уж как водится. Если я верно понимаю

ситуацию, прибыли вы сюда по приказу «гестаповского мельника»?

— Это нетрудно было вычислить, адмирал. Однако замечу, что Мюллер не решился бы проявлять подобную резвость, не имея он официального распоряжения о вашем аресте, подписанного хотя бы Кальтенбруннером. Если не самим Гиммлером. Вот почему я не вправе был отказаться от выполнения его приказа.

— Если к тому же учесть, что Мюллер был бы рад спровоцировать ваше неподчинение, — рассудительно смаковал хмельной напиток адмирал. Он ясно понимал, что истекают последние минуты его пребывания в своем доме, последние минуты свободы.

— Таковы свойства его характера и мировосприятия, — пожал плечами Шелленберг, прокручивая ножку рюмки между тонкими пальцами.

— Не доставьте ему наслаждения подвергнуть вас аресту, бригадефюрер.

— Постараюсь. — Шелленбергу нравилось, что Канарис попытался войти в его положение.

— Могу я задать один очень важный для меня вопрос?

Вальтер перевел взгляд туда же, куда смотрел сейчас и Канарис, — на дверь. Они оба понимали, что вопрос, который прозвучит сейчас, барон фон Фёлькерсам слышать не должен.

— Если только буду в состоянии ответить на него, господин адмирал.

— Среди арестованных по делу о заговоре против Гитлера оказался и полковник Генштаба Хансен.

— Как вы знаете, я не занимаюсь арестованными по этому делу, — сразу же предупредил адмирала Шелленберг, подготавливая его к вежливому отказу от каких-либо разъяснений. Уловив это его стремление, Канарис запнулся на полуслове и умолк, а потому был

удивлен, когда бригадефюрер неожиданно добавил: — Однако имя этого полковника встречалось в отчете о ходе расследования, с которым меня ознакомил Кальтенбруннер.

— Я так и решил, что должно было встречаться.

— Чем он вас, в его нынешнем положении, заинтересовал?

— Этот кретин всегда отличался нерасторопностью и определенной небрежностью. Не обнаружилось ли в бумагах, изъятых при его аресте, моего имени или чего-либо такого, что скомпрометировало бы меня как якобы участника заговора против фюрера?

«Якобы! — иронично отметил про себя Шелленберг. — Уж в беседе со мной он мог бы говорить правду».

Бригадефюрер прекрасно понимал, какую цену готов заплатить бывший шеф абвера, лишь бы получить хоть какую-то информацию, связанную с арестом этого полковника, поэтому вальяжно помедлил и, пренебрегая резью в своей вечноболящей печени, все же приобщился к коньяку.

— Надеюсь, вы отдадите себе отчет в том, насколько для меня важно быть готовым к неожиданностям? — не выдержал Канарис.

«Бедный «флотоводец», он, очевидно, думает, что кого-то там, в гестапо или в суде, будут интересовать его доводы и контраргументы. Да эти костоломы выбьют из него такую ересь, что, выслушивая ее потом в обвинительном заключении, он сам же и содрогнется!..»

— Мне придется быть откровенным с вами, господин Канарис. Тех бумаг, которые попали в руки гестапо вместе с Хансеном, вполне достаточно, чтобы сжечь полковника вместе с ними. Как на костре инквизиции.

— Так я и предполагал, — обреченно молвил адмирал. — Полагаться на этого болвана — все равно,

что обниматься с палачом.

«Канарис почему-то решил, что может не скрывать от меня своего причастия к заговору и к сотрудничеству с иностранной разведкой? — ухмыльнулся про себя Шелленберг. — Редкий случай: адмирал беседует с человеком, который явился арестовывать его, как со своим сообщником! То-то Мюллер повеселился бы, случись ему стать свидетелем этой сцены!»

— Попался ли гестаповцам какой-либо важный документ, хоть каким-то образом компрометирующий меня?

— Речь может идти лишь о записной книжке полковника. Он умудрился сохранить для следствия список генералов и чиновников, коих заговорщики предполагали убрать в первую очередь. Как вы понимаете, все эти лица были связаны прежде всего с абвером и гестапо. Правда, среди записей ваше имя не упоминалось: ни как человека, которого следует убрать, — что в данной ситуации было бы весьма кстати; ни как человека, чьим распоряжениям следует повиноваться. Тем не менее гильотина запущена.

— Я всегда опасался, что в конечном итоге этих идиотов из Генерального штаба погубит их же собственная писанина.

«Опасаться следовало иного: что их писанина погубит вас, адмирал», — мысленно парировал Шелленберг. А вслух произнес:

— Боюсь, что и сам Хансен представлял собой не менее ценный источник информации, нежели его записные книжки.

— Полагаю, что этот и не пытался о чем-либо умалчивать.

— Как справедливо и то, что никому не пришло в голову заставить его прикусить язык.

— Да и кому из нас это было бы под силу?

Шелленберг понимающе помолчал.

— Кстати, если уж быть откровенным... Вы, адмирал, не зря встревожились поведением полковника Хансена. Наверное, вы уже знаете, что именно он назвал вас во время допроса «духовным инициатором антиправительственного движения»?

— Для меня очень важно, что вы подтвердили эти сведения, — уклончиво ответил адмирал. — Хансен мог бы оказаться и более сдержанным в своих неправомерных выводах. Но что сделано, то сделано. Уверен, что ни фюрер, ни остальные руководители рейха не поверят его словам. Так что очень скоро все подозрения будут с меня сняты.

Бригадефюрер взглянул на него, как на блаженного, но вместо того, чтобы возразить, отвернулся — и только благодаря этому сумел промолчать.

Почти с минуту Шелленберг не тревожил адмирала, словно опасался испугнуть или развеять его оптимизм. Вместо того чтобы вести их затянувшийся разговор к завершению, он с подчеркнутым вниманием осматривал украшенный причудливой лепниной потолок и легкие парадные мечи, скрещенные посреди настенного ковра, — своеобразный отзвук рыцарского Средневековья.

— Так какое же предписание вы получили в связи с моим арестом? — первым заговорил адмирал, понимая, что все нормы приличия, какие только можно было соблюсти, Шелленбергом уже соблюдены.

— Приказано доставить вас в Фюрстенберг, — повертел тот между пальцами ножкой рюмки. — Пока что — только в Фюрстенберг.

— Понятно: в Школу пограничной охраны, где уже содержится несколько десятков генералов и высших офицеров вермахта, — поднялся из-за стола адмирал.

— Именно туда, под опеку начальника Школы погранохраны. Таков приказ. Но должен заметить, что это еще не самый худший вариант. Некоторых сразу же увозили на Принцальбрехтштрассе, в гестапо. И тогда у них уже не оставалось абсолютно никаких шансов.

Канарис нервно побарабанил пальцами по столу и, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла.

— Как вы считаете, может ли хоть в какой-то степени изменить ситуацию моя встреча с Гиммлером?

— В любом случае от него зависит многое. В том числе и условия вашего содержания под арестом, который пока что следует считать домашним.

— Я того же мнения: обязательно нужно поговорить с Гиммлером. Все остальные: Мюллер, Кальтенбруннер



и Геринг, не говоря уже о Бормане, — давно жаждут моей крови.

— Эти люди уже ничего не решают. Как-то повлиять на ход событий может только рейхсфюрер СС. Да и то, если вы заметили, я высказываю это предположение со всей возможной осторожностью.

— Вот-вот, Гиммлер — пожалуй, единственный, кто еще способен выслушать меня и, возможно, помочь.

— Фюрера исключаете? — вырвалось у Шелленберга. Он прекрасно помнил, насколько вхож был к Гитлеру этот некогда всемогущий адмирал.

Канарис запрокинул голову и грустно рассмеялся.

— Гитлер... Гитлер меня не примет. А если говорить откровенно, то особого желания встречаться с фюрером у меня тоже нет. Даже когда речь идет о моей гибели.

— А ведь именно он не дал ход вашему делу во время первого ареста, когда вы оказались узником замка...

— Тогда он элементарно трусил. Побоялся, что жестоким отношением ко мне настроит против себя весь абвер и командный состав Военно-морского флота. Теперь же он пребывает в таком состоянии, что не решится поддаться даже собственной трусости. Хотя бы из чувства самосохранения.

— Ситуация изменилась, в этом вы правы, — задумчиво проговорил Шелленберг. — Изменилось положение дел на фронтах, изменилось соотношение сил в Европе. Поэтому фюрер начинает вести себя как загнанный зверь.

...И адмирал вдруг почувствовал, что за этими словами его «жандарма» тоже скрывается страх перед своеволием фюрера. В эти минуты бригадефюрер вел себя как человек, который согласился арестовывать бывшего шефа абвера, чтобы таким образом выторговать отсрочку собственного ареста.

— Послушайте, Шелленберг, из всех людей, к которым я могу теперь обратиться, только вы все еще имеете доступ к Гиммлеру.

— Все еще... — согласно кивнул Шелленберг.

Решив, что дань приличию отдана, адмирал довольно решительно поднялся. Вслед за ним поднялся и бригадефюрер.

— Могли бы вы в течение ближайших дней уговорить рейхсфюрера, чтобы он принял меня?

Шелленберг на мгновение представил себе, кем он будет выглядеть в глазах Мюллера и Кальтенбруннера, если решится просить Гиммлера принять «личного врага фюрера». Что после этого способно помешать им — теперь уже вполне официально — причислить его к сообщникам Канариса, Ольбрихта, Бека и всех прочих, уже повешенных или еще только ждущих своей участи? Но все же отказать адмиралу — просто так взять и отказать — бригадефюрер не решился. Слишком большим оставался авторитет этого человека.

— Но вас приказано доставить в Фюрстенберг, а Гиммлер в это время...

— Если Гиммлер согласится встретиться со мной, я смогу прибыть туда, куда он укажет, в том числе и в Берлин. Кто сможет отменить его приказ?

— Вы опять забыли о фюрере, — нервно напомнил ему Шелленберг. Адмирал должен был бы понять, что ссылка на его пребывание в Фюрстенберге — откровенная отговорка, и не настаивать на своей просьбе.

— Приказа Гиммлера будет достаточно, чтобы я немедленно оставил казарму Школы пограничной охраны и отправился к нему. Фюрер может и не знать об этом. Но даже если бы он узнал, то приглашение Гиммлера можно было бы преподнести как вызов на допрос.

— Даю слово, что сделаю все возможное, чтобы Гиммлер принял вас, — подтвердил свое намерение Шелленберг, но уже едва сдерживая раздражение.

— С этой минуты я буду полагаться на ваше слово.

Решив, что задушевные разговоры пора прекращать, бригадефюрер СС по-армейски подтянулся.

— Господин адмирал, я понимаю, что вам необходимо сделать некоторые приготовления к отъезду. Думаю, часа вполне достаточно.

— Вполне, — едва слышно проговорил Канарис.

— Все это время я буду ждать вас на первом этаже, в гостиной. То есть в течение часа вы предоставлены самому себе... — Шелленберг сделал многозначительную паузу и пристально взглянул на Канариса. — Повторяю: в течение этого часа вы вольны делать все, что считаете необходимым. В рапорте о вашем аресте я сообщу, что вы ушли на второй этаж, в спальню, чтобы переодеться, ну а дальше... [46]

Канарис сразу же понял, что ему предоставлено право выбора между арестом, бегством и самоубийством. Это все, чем Шелленберг мог засвидетельствовать свое уважение к нему. И еще адмирал отдавал себе отчет в том, что в его ситуации большей щедрости вообразить попросту невозможно.

Он несколько раз нервно прошелся по кабинету, останавливаясь то у одной, то у другой стены, словно бы неожиданно натыкался на них.

«Неужели не понимает, что другого случая для побега ему не представится?» — скептически следил Шелленберг за метаниями адмирала.

Сейчас он не сомневался, что, оказавшись на месте Канариса, тотчас же бежал бы через черный ход, через окно, любым иным способом... И поскольку война все равно приближается к концу, так почему бы не попытаться перейти линию фронта? К тому же он не

верил, чтобы такой опытный разведчик, как Канарис, не позаботился о тайном лежбище — на тот, самый крайний, случай...

— Нет, бригадефюрер... — остановился адмирал напротив него, лицом к лицу. — Бегство, конечно, очень заманчивое действо, ибо только в нем мерещится свобода...

— И шанс...

— Но я не воспользуюсь вашей любезностью. Как не воспользуюсь и личным оружием. Поскольку не сомневаюсь, что, в общем-то был прав.

— В чем же заключается ваша правота? — с некоторой долей иронии поинтересовался бригадефюрер.

— Все, что я делал, в конечном итоге было направлено на спасение Германии.

— И теперь вы попытаетесь убедить в этом таких великих патриотов Германии, как Борман, Мюллер и Кальтенбруннер? Которым придется признать, что рядом с вами они выглядят предателями интересов германского народа?! — уже откровенно изощрялся Шелленберг.

— Ну зачем же так прямолинейно? — попытался урезонить его Канарис, понимая, что в этом же ряду Вальтер мог назвать и самого себя. — Я не имел в виду этих господ.

— Интересно, как это вам удастся убедить их? — не мог уgomониться бригадефюрер. — Вот тогда уж эти господа сделают все от них зависящее, чтобы стереть вас с лица земли.

— Я не слышал этих слов, — предостерегающе приподнял руку Канарис.

— Как вам будет угодно, — голос шефа разведки СД зазвучал с откровенным вызовом.

— Но лично я полагаюсь на встречу с Гиммлером.

Шелленберг выслушал его с таким снисхождением, словно это была исповедь юродивого.

— Кстати, о бегстве... Почему вы решили, что я пытался предоставить вам такую возможность, адмирал?

— Ну, видите ли...

— Очевидно, вы не так поняли меня, — сухо отчеканил Шелленберг. Не хватало еще, чтобы во время допросов, под пытками, адмирал начал раскаиваться, что не воспользовался возможностью бежать, которую ему предоставил Шелленберг! Судя по лепету, который Канарис извергал сейчас, в принципе от него можно было ожидать чего угодно. — Я всего лишь даю вам возможность собраться в дорогу.

«Ты еще тысячу раз пожалеешь об этой своей наивности, Канарис, — мстительно молвил он про себя. — Пройдет всего несколько часов, и ты на коленях будешь вымаливать то самое «личное оружие», которым теперь пренебрегаешь. А возможность выпрыгнуть из окна будет представляться тебе разве что в сладостном сне!»

— Считаете, что мне следует оставаться в мундире?

— Что вы сказали?! — поморщился Шелленберг, все еще увлеченный своим «мстительным» монологом.

— Может, переодеться в гражданское?

— Не забывайте, что вы будете находиться в окружении военных. В военной школе. Где гражданские столь же презираемы и неприемлемы, как монахи — на палубе военного корабля во время артиллерийской дуэли.

— Думаю, что к вашим словам следует прислушаться, — признал Канарис.

— Допрашивать, вас, кстати, тоже будут военные, какие-нибудь лейтенанты-унтерштурмфюреры.

— Неужели?... — горестно покачал головой адмирал.

— А вы представляете себе эти допросы в виде душевных бесед с Мюллером и Кальтенбруннером за чашкой кофе? Не следует обольщаться, господин адмирал.

— С Кальтенбруннером — «душевно»!.. — с той же горечью хмыкнул бывший шеф военной разведки. Шелленберг знал, что земляка Гитлера, этого грубияна Кальтенбруннера, он опасается больше, нежели шефа гестапо. — Впрочем, я имел в виду не это: неужто вообще дойдет до допросов?

«Боже мой! — мысленно взмолился Шелленберг. — Неужели этот человек в течение многих лет мог возглавлять одну из могущественнейших секретных служб мира — абвер?! Несчастливая Германия!»

Увы, не прошло и получаса, как адмирал вновь спустился в гостиную. Даже явление Христа не так поразило бы Шелленберга.

«Куда он так торопится?! — искренне удивился бригадефюрер, отрываясь от попавшегося под руку журнала и саркастически осматривая адмирала. — Я ведь дал ему час. Еще целый час — для побега, эффектного самоубийства, просто раздумий... Целый час свободы!»

Однако Канарис пока что не был способен оценить его великодушие, оценить истинную стоимость свободы, и в этом была его трагедия. Перед Шелленбергом он предстал тщательно выбритым; парадный мундир сидел на нем с такой молодцеватостью, словно адмирал собрался на прием к фюреру по случаю повышения в чине или вручения высшей награды рейха.

— Будьте предельно осторожны, Шелленберг, — не дал он опомниться своему тюремщику. — Я крайне опасаюсь, что моим арестом дело не кончится.

— Что вы имеете в виду?

— Мне давно известно, что Мюллер накапливает все, что хоть в какой-то степени способно скомпрометировать вас.

— Мне это тоже известно, адмирал, — спокойно подтвердил Шелленберг, только сейчас нехотя расставаясь с журналом и столь же неохотно поднимаясь.

— Не верится, что он упустит такую возможность избавиться от вас, какую предоставляет ему охота на генералов, развернутая фюрером после покушения. Настоящий отстрел армейской элиты. Если рейх

выиграет в этой войне, то к победе он придет, не имея ни одного генерала из числа тех, кто ее начинал. Случай, беспрецедентный в истории войн.

— Все мы ходим под Богом и фюрером.

— Причем в последнее время — все больше под фюрером, — проворчал Канарис, — а Господь в наши отношения почему-то старается не вмешиваться.

— Не вмешивается, вы правы. А что касается гестапо... Спасибо за предупреждение. Я знаю цену риску и попытаюсь свести его к минимуму. Даже если опасность исходит от самого Мюллера.

— Извините за назойливость, Шелленберг, но я действительно считал своим долгом предупредить вас.

Извинение оказалось нелишним. Шелленбергу в самом деле начало надоедать неприкрытое покровительство, которым его пытался, баловать им же арестованный бывший шеф абвера. В этом стремлении Канариса опекать его, находясь в двух шагах от виселицы, чудилось нечто мистическое. Кстати, понимает ли адмирал, как близко он находится сейчас от крючьев тюрьмы Плетцензее?

Когда адмирал появился в приемной, барон фон Фёлькерсам взглянул на него, как на сумасшедшего. Несколько минут назад он заглядывал в гостиную, поэтому знал, что Канарис поднялся к себе на второй этаж. Предоставить его в такое время самому себе было непростительной ошибкой Шелленберга. Слишком непростительной для столь опытного военного, каковым являлся шеф внешней разведки. Вот почему барон твердо решил, что в данном случае Шелленберг играет с адмиралом в поддавки. Он дает ему шанс, он предоставляет ему выбор: бежать или кончить жизнь самоубийством. И похоже, что выбор, сделанный Канарисом, очень удивил бригадефюрера.

Впрочем, сам Фёлькерсам отнесся к выбору адмирала спокойно. А вот что по-настоящему



интриговало в эти минуты барона, так это более чем странное поведение Шелленберга. Нет, мотив его снисходительности к будущему узнику тюрьмы гестапо Фёлькерсаму был понятен. Поскольку в предательство Канариса пока что мало кто верит, спасение его шефом разведки СД было бы воспринято в абверовских и вермахтовских кругах не только как подтверждение невинности адмирала, но и как благородный, жертвенный поступок коллеги. Кроме всего прочего, побег Канариса стал бы еще и злорадным актом мести шефу гестапо. Своеобразной мести палачу, из рук которого вырывают вожделенную жертву, из-за побега которой придется держать ответ перед фюрером.

В то же время Фёлькерсаму не давала покоя загадка: каким образом сам Шелленберг собирается оправдываться перед Мюллером и Кальтенбруннером, а возможно, и перед самим фюрером за лично им организованный побег Канариса? И насколько это оправдание способно смягчить его вину?

— Я не слишком утомил вас своими приготовлениями, барон? — обратился адмирал к Фёлькерсаму, явно бравируя своей предэшафотной бесшабашностью.

— Дорога к месту вашего заключения покажется мне куда более утомительной, — вызываясь сострил Фёлькерсам, поигрывая могучими плечами.

— Похоже на неодобрение.

— Что совершенно не свойственно мне.

— Выражайтесь яснее: осуждаете?

— Так точно, — ошарашил его напускной солдатской прямоотой барон, — осуждаю.

Гауптштурмфюрер и адмирал скрестили взгляды, как шпаги, и несколько напряженных мгновений не могли развести их. «Мы говорим о разных вещах, — понял барон. — Мне не понятна трусливая покорность адмирала своей судьбе, а самому адмиралу хочется

знать мое мнение о правомерности предъявляемых ему обвинений».

— За что же осуждаете? Уверовали в приписываемое мне предательство?

Барон слегка замешкался с ответом и вопросительно взглянул на бригадефюрера, однако тот демонстративно перевел взгляд на украшенный узорчатой лепниной камин, предоставив гауптштурмфюреру самому выкручиваться из им же созданной ситуации.

— Просто мне показалось, что вы ведете себя, прошу прощения, не так, как подобало бы истинному разведчику.

От неожиданности адмирал подался назад и тоже оглянулся на Шелленберга.

— Что вы имеете в виду, барон? Нельзя ли изложить ваше видение ситуации более доступно?

— Еще раз извините, адмирал, но разведчик, который не способен использовать для своего ухода «из-под колпака» любую представившуюся ему возможность, любой шанс на спасение, в моих глазах ровным счетом ничего не стоит.

— Жестокое осуждение, не правда ли, бригадефюрер? — с наигранной улыбкой оглянулся адмирал на Шелленберга.

— Кажется, я потерял нить вашего спора, — искоса взглянул на него генерал войск СС и вновь принялся изучать надкаминный орнамент.

«А ты не опасаясь, что, подготавливая побег Канариса, бригадефюрер СС одновременно готовил и козла отпущения — в твоём, барон, лице? — вдруг всполошился Фёлькерсам. — Что ему стоило доложить, что адмирал бежал из-за твоей нерадивости? Кому и что ты мог потом доказать, да и кто бы стал выслушивать тебя? Ведь не мог же выступать в роли охранника

арестованного генерал СС! Для чего-то же Шелленберг прихватил тебя, СС-капитана!»

Уже чувствуя себя выбитым из роли, барон все же решил доиграть ее до занавеса.

— Первая подготовка, которую я прошел в качестве парашютиста-диверсанта, называлась «проверкой на выживание». Я слишком ценю эту науку, чтобы прощать коллегам грубое пренебрежение ею. Тем более что речь идет о бывшем шефе военной разведки.

— Наша встреча приобретает неожиданный поворот, — попытался и дальше улыбаться Канарис.

— То, что вы сейчас слышите, — откровенность, которой вы сами добивались, адмирал, — тон Фёлькерсама становился все увереннее и жестче.

— «Проверка на выживание...», — с ироничной задумчивостью повторил экс-шеф абвера. — Пожалуй, вы правы. В подготовке на выживание я, по всей видимости, уступаю многим из вас, учеников Скорцени. В этом моя слабость.

— Губительная слабость.

— Что-то я раньше не замечал вашей склонности к поучениям, барон, — наконец-то резко, хотя и довольно наигранно остепенил Фёлькерсама бригадефюрер. — Оставьте-ка на время вашу парашютно-диверсионную софистику.

— Всего лишь высказал то, что не решились высказать вы, господин бригадефюрер, — вошел в пике гауптштурмфюрер.

Шелленберг настороженно взглянул сначала на Фёлькерсама, затем на Канариса.

— Смею предположить, что барон прав, — с английской учтивостью объяснил ему Канарис. — Ведет он себя, конечно, слишком дерзко, но оправданием ему служит его правота. Тоже, кстати, предельно дерзкая.

Барона фон Фёлькерсама Шелленберг усадил за руль, а сам устроился на заднем сиденье, слегка потеснив при этом адмирала. Счел, что так удобнее будет общаться с Канарисом, не создавая к тому же видимости ареста.

— Вы интересовались, какими именно изобличающими материалами владеет следствие... — вполголоса проговорил он, как только машина вырвалась за черту пригорода и впереди открылся холмистый, уже по-настоящему сельский пейзаж — с небольшим хуторком на склоне возвышенности, садом и изгибающейся по луговой долине речушкой.

— Однако вы, бригадефюрер, по существу, так ничего и не сообщили мне, — попытался упрекнуть его Канарис.

— В сейфе одного из ваших офисов, из тех, что находятся вне Берлина, обнаружена дипкурьерская сумка... по-моему, даже две, с непростительной старательностью набитые документами, которые компрометируют вас и ряд ваших друзей и сослуживцев. Но прежде всего — вас.

— Не может такого быть, — попытался легкомысленно отвергнуть его утверждение адмирал. — В деятельности каждого разведчика можно найти какие-то операционные ходы, эпизоды вербовки и перевербовки, информационной игры с противником, которые способны породить подозрение и даже недоверие к нему. Но большинство из этих подозрений развеиваются, как только разведчик начинает мотивировать их и демонстрировать итоги подобной игры.

— В принципе вы правы, — признал Шелленберг, — но это правота, определяющаяся общими рассуждениями. А гестапо обладает совершенно конкретными фактами, донесениями и эпизодами.

— И в качестве примера вы готовы назвать хотя бы один из них, из тех, что готовы убедить следователей и судей?

— Мне не известны подробности. Однако же дело вовсе не в подробностях, — Шелленберг наклонился так, чтобы говорить почти на ухо адмиралу. Хотя Фёлькерсам демонстративно не замечал их присутствия.

— В чем же? — дрогнувшим голосом поинтересовался Канарис.

— Судя по заявлениям Кальтенбруннера, у гестапо вполне достаточно фактов, чтобы объявить вас врагом фюрера и нации и приговорить к смертной казни. Содержимое найденной курьерской сумки — всего лишь еще одно подтверждение правильности ранее сделанных руководством гестапо выводов.

— Вот этого я не знал, — как-то слишком уж спокойно, почти обреченно признал Канарис. — Это уже серьезно. Вы слышали это от Кальтенбруннера, из его уст?

— Из его разъяренных уст.

— Что совсем уж скверно. Кальтенбруннер умеет вводить себя в бешенство, это всем известно.

— Значит, такие материалы действительно были? — уточнил Шелленберг. — Дипкурьерская сумка — не выдумка гестапо?

— Не выдумка, — процедил сквозь зубы Канарис. — Где эти материалы? У Мюллера?

— Для знакомства с ними шеф гестапо сразу же воспользовался своим правом «первой брачной ночи». Теперь они, скорее всего, у Кальтенбруннера. Или у Гиммлера.

Помолчав, Шелленберг спросил:

— Теперь-то вы уже, конечно, жалеете, что слишком поторопились выходить из спальни?

— Почему вы так решили?

— Смею предположить, что теперь вы уже способны предвидеть дальнейшее развитие событий.

Даже после того, как Шелленберг умолк, адмирал все еще продолжал задумчиво кивать головой. А поскольку машину швыряло из стороны в сторону, то и голова Канариса тоже моталась, как мешочек с овсом, подвешенный к морде старого мерина.

— Что бы мы сейчас ни говорили, а решение принято, бригадефюрер. Окончательное.

— Ну, если принято окончательно, то да...

На горизонте появилось звено бомбардировщиков, затем еще одно. Целая армада их шла под прикрытием истребителей. Самолеты надвигались со стороны Померании и устремлялись к Берлину. Шелленберг обратил внимание, как, приподнявшись в открытой машине, Канарис с тоской смотрел на пролетающие над ним машины, словно взывал к пилотам о спасении. И молвленное адмиралом: «Открыто, нагло идут на Берлин, будучи уверенными, что не встретят достойного отпора», — впечатления бригадефюрера не изменило.

— Неподалеку роща, — выкрикнул Фёлькерсам, опасаясь, что из-за гула моторов бригадефюрер не расслышит его. — Свернем, чтобы переждать.

— Пилоты знают, кого мы везем, — едко пошутил Шелленберг, — поэтому бомбить-обстреливать нас не станут.

— Разве что поэтому!.. — согласился Фёлькерсам, однако с дороги все же свернул и медленно повел машину почти по кромке жиденькой рощицы, готовясь в любую минуту загнать ее под кроны деревьев. Но, судя

по всему, пилотов интересовали сейчас не легковые машины на шоссе.

«А ведь адмирал и в самом деле давно работает на английскую разведку, — с каким-то странным облегчением вдруг подумал Шелленберг, не утруждая себя какими-либо доказательствами этого окончательного диагноза. Тем более что признание этого факта как-то сразу оправдало в собственных глазах его участие в аресте адмирала. — И потому взрывы, которые прозвучат сейчас на заводских окраинах Берлина, покажутся нашему агенту-двойнику в адмиральских эполетах мелодией Вагнера».

— Теперь вы сами видите, что решение мною принято, — уже несколько увереннее повторил Канарис, пытаясь не столько убедить Шелленберга, сколько самому утвердиться в этой самоубийственной мысли. Правда, Шелленберг так и не понял, каким образом эти его слова следует связывать с очередным налетом англо-американской авиации на столицу рейха и странным параличом подразделений «геринговских орлов».

— И все же мне, как и барону Фёлькерсаму, трудно понять вас, господин адмирал.

— В чем же трудность?! — снисходительно улыбнулся Канарис.

— Не терплю состояния обреченности. Независимо от того, в чьем поведении оно проявляется.

В Фюрстенберг они въезжали уже под вечер. Городок этот, мирно дремавший на краю Мекленбургского Поозерья,<sup>[47]</sup> пока что не привлекал особого внимания англо-американских летчиков, поэтому старинные улочки его, с томимыми жаждой древними фонтанчиками и потускневшими шпилями кирх, навевали на путников ностальгическую тоску по временам, воспетым Гете. Расположенный в огромной, испещренной десятками мелких озерц и речушек, болотистой низине Передней Померании, он впитывал в себя болотный дух окрестных заливных лугов и поражал воображение красотой миниатюрных, окаймленных ивами прудов, охватывавших все городские предместья, а в некоторых местах прорывавшихся и к центру городка.

Если где-то и следовало располагать Школу пограничной охраны, то, конечно же, в этой лесной болотистой местности, с глинистыми холмами, похожими на размытые ливнями курганы. Здесь сама природа позаботилась о создании «естественного полигона», на котором инструкторы школы могли определить все необходимые условия для подготовки будущих пограничников к самым сложным условиям службы.

— Следует полагать, что здесь я пока еще буду находиться под домашним арестом, — произнес вконец погрузневший адмирал, когда машина въехала во двор Школы пограничной охраны и безразличный ко всему увалень-курсант закрыл за ней старинные массивные ворота.

— Во всяком случае, обойдется без камеры, — с некоторым запозданием отозвался Шелленберг.



Увлечшись осмотром городских окрестностей, он совершенно забыл о цели своей поездки в захолустный Фюрстенберг и о том, какого пассажира он сюда доставляет.

— Не уверен, — угрюмо проговорил Канарис. И куда только девался тот бойкий оптимизм, с которым он прощался со своей Амитой Канарией, которую Шелленберг про себя обычно называл «испанской канальей».

— И как мне воспринимать вашу неуверенность? — насмешливо поинтересовался Шелленберг, не понимая, с какой стати он обязан выступать еще и в роли утешителя государственного преступника Канариса.

— Мне приходилось бывать в этой школе в те времена, когда здесь готовили специальную группу морских пограничников. Здесь мощные подземелья, не уступающие подземельям Петропавловской крепости.

— Где это — Петропавловская крепость? — машинально поинтересовался Шелленберг.

— У русских, в Ленинграде. Крепость-тюрьма.

— Ах, у русских! У них подземелий хватает. В подобных вопросах они всегда оказывались предусмотрительнее.

— В царские времена там сидели наиболее опасные государственные преступники.

— На суде, адмирал, вы будете проходить по той же статье.

— Что совершенно безосновательно.

— Однако успокойтесь, русским мы вас не отдадим, ни под каким предлогом, — заверил его бригадефюрер.

— Представляю, как бы они обрадовались! — развел руками Канарис.

— Полагаете, что радость их была бы еще сильнее, чем радость пленивших вас англичан?

— Не ерничайте, Вальтер, — нестрогим голосом осадил его адмирал, прекрасно понимая, в какой связи

бригадефюрер упомянул сейчас об англичанах.

— Боже упаси! Со всем возможным сочувствием к вам. К тому же не забывайте о том шансе, который представился вам во время ареста.

— Не будьте садистом, Вальтер. Хватит воспоминаний.

— Моих воспоминаний больше не последует. — Канарис не мог не обратить внимания на то, каким сухим и официальным стал голос Шелленберга. — Отныне вы будете предоставлены только своим собственным экскурсам в былые дни. Постарайтесь предаваться лишь наиболее сладостным из них.

— И что вы заладили со своими русскими и англичанами? Достаточно с меня и фюрстенбергских подземелий.

— Уверен, что в Фюрстенберге до подземелий дело не дойдет. Разве что начальнику школы бригадефюреру СС Трюмлеру взбредет в голову засадить вас за какое-то неповиновение в карцер.

— Даже так?

— Вместе с зашалившими курсантами, — уточнил Шелленберг, пытаясь преподнести это в виде шутки, но сразу же почувствовал, что она явно не удалась.

Начальник школы не заставил их долго томиться в своей приемной. Он уже был предупрежден, что к нему должны доставить самого Канариса, и был явно польщен таким доверием. Ничего, что само появление «первого преступника рейха» и Шелленберга он воспринял с оскорбительной деловитостью: оно позволяло СС-генералу скрывать свое жгучее любопытство.

— Полчаса назад о вашем здоровье, господин адмирал, справлялся группенфюрер Мюллер. — Услышав это, Канарис вдруг побледнел, причем произошло это настолько мгновенно, что Шелленберг всерьез заволновался по поводу его состояния.

— Мюллер? О моем здоровье? — растерянно пробубнил арестант.

— Поверьте, ни к одному из доставленных сюда генералов подобного внимания он не проявлял.

— И что вы ответили?

— Важно не то, что именно я ответил. Важно, что группенфюрер был крайне удивлен, что вы все еще не находитесь под моей отцовской опекой.

— Разве кто-либо определял время моего прибытия?

— Нет, о времени он не упоминал. Но озабочен был не меньше моего. Дело в том, что о вашем прибытии мы были уведомлены еще вчера, а я не привык, чтобы люди, доверенные моим заботам, терялись где-то на полпути.

— Почему вы вдруг решили, что адмирал «потерялся»? — забеспокоился теперь уже Шелленберг. В то время как все еще не пришедшему в себя Канарису трудно было сообразить, что стоит за этой озабоченностью бригадефюрера Трюмлера: обычная уважительность начальника курсантской школы, привыкшего окружать своих подопечных той самой «отцовской заботой», или же откровенное издевательство человека, давно исповедующего иезуитские методы руководства своим военизированным, полумонашеским заведением.

— Он почему-то считал, что вас должны были доставить сюда еще вчера под вечер.

— Шеф гестапо, как всегда, непростительно торопится, — нашел в себе мужество бывший шеф абвера. — Этим он и отличается от всех остальных моих знакомых.

— Я тоже попросил Мюллера не волноваться, господин адмирал, — проговорил начальник школы, все еще стоя за столом и с карандашом в руке рассматривая лежащие перед ним бумаги. — Но пообещал сообщить ему о вашем появлении, как только

увидю вас в стенах моего заведения. Но вот вы передо мной, господин Канарис. До этого мне приходилось иметь дело только с вашими агентами.

Они обменялись взглядами, причем в глазах адмирала промелькнула искра покровительственной снисходительности аристократа, а в глазах генерала СС — почти унизительное стремление угодить своему гостю, которому адмирал, впрочем, не поверил.

Среднего роста, невзрачный на вид, с грубоватым крестьянским лицом и вызывающе резким голосом, Трюмлер на первый взгляд производил впечатление человека неприветливого и крайне невоспитанного. А по своему характеру еще и немислимо вздорного. Однако манеры и внешность театрального простака не мешали бригадефюреру быть предельно учтивым, а в отношении адмирала Канариса — еще и строго придерживаться субординации, которую он сам же установил.

— Желаете поужинать вместе? — спросил он, обращаясь почему-то не к Шелленбергу, представавшему здесь в роли конвоира, а к Канарису, словно тот все еще имел право что-либо решать. — Вы как раз успели к столу.

Адмирал мельком взглянул на Шелленберга, и поскольку тот промолчал, сдавленным голосом произнес:

— Хотелось бы... вместе. Кто знает, когда еще придется свидеться. И потом, сами понимаете, само присутствие здесь господина Шелленберга...

— Так и решим, — улыбнулся начальник школы.

— Просил бы вас, Вальтер, разделить со мной эту панихидную трапезу, — торопливо произнес адмирал, опасаясь, как бы Шелленберг не отказался посидеть с ним в зале, в котором сейчас ужинали арестованные. Теперь он вообще готов был всячески оттягивать минуты расставания с Шелленбергом, понимая, что

само присутствие этого генерала СС способно создавать хоть какую-то иллюзию его собственного могущества. Пусть и былого, но все еще не окончательно растерянного.

Адмирал понимал, что в эти минуты его одолевает непозволительный, панический страх, замешанный на почти детской привязанности к своему «жандарму». Подобно тому, как кое-кто из приговоренных к казни пытается искать сочувствия и поддержки у последнего, с кем ему дано в этом мире хоть как-то общаться, то есть у своего палача. Но поделаться с собой ничего не мог.

— Ну почему же панихидную? Судить об этом пока что рано. А так, в общем, сочту за честь, — с явной неохотой согласился Вальтер. — Только не забудьте, бригадефюрер, и об этом бравом гауптштурмфюрере, — повел он подбородком в сторону Фёлькерсама, — лучшим из диверсионной группы Отто Скорцени.

Имя «героя нации» он назвал не случайно, оно должно было произвести на наставника курсантов-пограничников должное впечатление.

— Я всегда восхищался подвигами Скорцени, — слегка склонил голову Трюмлер, адресуясь к Фёлькерсаму. — Это истинный солдат. Истинный арийский солдат.

— Ваше мнение о Скорцени будет доведено до его сведения, господин бригадефюрер.

Начальник школы вновь подобострастно склонил голову; заверение Фёлькерсама явно льстило ему. С этим же поклоном, жестом распорядителя бала, он и направил «желанных гостей» в столовую, а сам удалился, «чтобы отдать необходимые распоряжения». Скорее всего, для того, чтобы известить Мюллера о прибытии высокочтимого гостя.

Но, прежде чем исчезнуть за одной из ближайших дверей этого старинного, дворцового типа здания, он

вновь с предельной вежливостью обратился к своему высокочтимому заключенному:

— После ужина вас, господин адмирал, удобно расположат в одном из кабинетов. Не извольте беспокоиться, — упредительно поднял он руку, хотя Канарис даже не пытался молвить какое-либо слово, — этим вы нас нисколько не стесните.

— Если вы так решили, — пожал плечами адмирал, хотя в душе был признателен бригадефюреру. — Жест, достойный генерала СС.

— Большинство учебных кабинетов сейчас свободно, поскольку почти весь личный состав школы, за исключением роты охраны и нескольких не пригодных к окопной службе офицеров-преподавателей, уже мобилизован на фронт. Сейчас туда занесут кровать — обычную, солдатскую, такую же, какая надежно служила вам в кабинете начальника абвера.

— Вам приходилось бывать в моем служебном кабинете? — удивился Канарис.

— К сожалению, не довелось.

— То-то я не припоминаю вас, генерал.

— Но был наслышан о нем от одного из ваших агентов, который какое-то время числился у нас кем-то в роли инструктора по вопросам контрразведки. Вы единственный из высоких чиновников рейха, кто предпочел отдыхать в своем кабинете не в глубоком кресле или на обширном кожаном диване, а в обычной солдатской кровати.<sup>[48]</sup> Такое, адмирал, не забывается.

«Знал бы я раньше имя этого болтуна-инструктора по вопросам контрразведки! — мысленно пожалел Канарис. — Вздернул бы на нее!»

Трюмлер хотел еще что-то добавить, но в это время в коридоре появился дежурный офицер и объявил, что его требуют к телефону: звонят из приемной шефа гестапо.

Прежде чем уйти, Трюмлер одернул китель и со странно высокомерным блеском в глазах осмотрел всех троих пришельцев.

— Этого следовало ожидать, господа, — едва заметно улыбнулся он, и тоже какой-то странной улыбкой.

И все же в представлении Канариса начальник школы был сама любезность, так что начало его странного заключения ничего плохого вроде бы не предвещало. И звонок Мюллера тоже не насторожил старого, дисциплинированного служаку: на месте шефа гестапо он точно так же поинтересовался бы судьбой затерявшегося где-то между столицей и Передней Померанией адмирала-арестанта. Убедив себя в этом, Канарис даже слегка приободрился.

Войдя в зал, Шелленберг увидел, что разделить вечернюю трапезу с Канарисом уже были готовы шесть-семь генералов и еще как минимум полтора десятка старших офицеров — очевидно, из армии резерва, поскольку имен большинства из них он не знал.

Поздоровавшись со всеми разом, шеф разведки СД молча, сосредоточенно прошелся взглядом по лицам и мундирам арестованных. Они все еще оставались при своих знаках отличия и регалиях и пока еще не побывали в руках следователей и костоломов гестапо, поэтому лишь немногие выглядели угрюмыми. Впрочем, даже самые тусклые взгляды арестантов оживились, когда им открылось странное видение в образах сразу двух столпов рейха — Канариса и Шелленберга. «...И что бы это могло значить?!» — прочитывалось в их глазах.

«Как же они завидуют тебе в эти минуты! — не без самодовольства подумал шеф разведки СД. — Как большинству из них хотелось бы в эти минуты оказаться на твоём месте! Но... каждому свое!»

Несмотря на то что адмирал Канарис с напускным воодушевлением отвечал на приветствие большинства представителей странной компании, вся эта, находящаяся пока что под домашним арестом в связи с покушением на Гитлера, армейская богема с куда большим интересом смотрела не на него, а на Шелленберга. Кто он такой — знали далеко не все. И даже когда Канарис представил бригадефюрера — не уточнив, однако, что тот не является арестованным, — на фамилию отреагировали немногие. Другое дело, что само появление здесь шефа внешней разведки СД, генерала СС вызвало крайнее удивление. Об арестах



высокопоставленных чинов СС они пока что не слышали.

— Как, и его, бригадефюрера, — тоже?! — удивленно воскликнул какой-то полковник, непонятно к кому обращаясь. — Оказывается, до верхушки СД тоже добрались.

— Эдак вскоре закуют в кандалы и рейхсфюрера Гиммлера, — с явным сарказмом заметил генерал-майор Дельп, уловив на себе взгляд шефа внешней разведки СД. Уж он-то прекрасно знал Шелленберга.

— Полагаю, что это исключено, — парировал Вальтер. Однако никакого внимания на его слова генерал Дельп, оказавшийся после тяжелого ранения на Западном фронте в армии резерва, не обратил; у него все еще было свое мнение на этот счет и свое видение происходящего.

— Интересно, остановит ли кто-нибудь эту вакханалию? — громко проговорил он, обращаясь то ли к Шелленбергу, то ли ко вновь появившемуся в зале начальнику школы. — Или же мы позволим этому... перевешать всю оставшуюся половину германского рыцарства?

— В этих благородных стенах не принято громогласно выражать свое неудовольствие, — строго заметил начальник школы, решив, что время, им самим же отведенное для либеральничания с арестованными, истекло. — И не заставляйте меня впредь напоминать вам об этом.

Дельп попытался каким-то образом возразить, однако сидевший рядом с ним молодцеватый генерал с рукой на перевязи резко одернул его:

— Не следует портить отношения с тюремщиками.

— Это вы меня называете тюремщиком? — даже не возмущенно, а с какой-то мальчишеской обидой в голосе спросил начальник училища. — Если вы и впредь

будете так вести себя, то заставьте меня стать настоящим тюремщиком.

— С чем был связан звонок Мюллера? — спросил Канарис, очень своевременно вмешавшись в конфликт. — Что его интересовало?

— Я смог бы ответить на этот вопрос, только если бы он был задан господином Шелленбергом, — неожиданно жестко ответил Трюмлер, подтверждая, что время либеральничания с заключенными действительно истекло.

— Если для вас так важно, чтобы бригадефюрер повторил мой вопрос, — не стану вам мешать, — оскорбленно пожал плечами адмирал и отошел на несколько шагов в сторону, давая возможность Шелленбергу пообщаться с начальником школы без его участия.

— Так чем же вызван был звонок Мюллера? — не очень охотно поинтересовался бригадефюрер, делая это исключительно ради Канариса, который, конечно же, прекрасно слышал его.

— Он предупредил, что адмирал Канарис рассматривается фюрером как особо опасный государственный преступник. Именно так Мюллер и выразился: «Особо опасный, государственный...» И что относиться к нему следует со всей строгостью, жестко ограничивая круг его общения с людьми, не находящимися под арестом. Да и с арестованными — тоже, — добавил Трюмлер, немного поколебавшись. И Шелленбергу показалось, что эти слова он уже произнес от себя.

— Это все? Группенфюрер позвонил только для этого?

— Если вас интересует, упоминал ли Мюллер ваше имя...

— А почему меня это не должно интересовать?

— Он потребовал, чтобы вы лично доложили ему о ходе ареста и поведении арестованного, его высказываниях и обо всем прочем.

— Но ведь вы ему уже обо всем сообщили! — нахмурился бригадефюрер.

— Он — шеф гестапо, — развел руками Трюмлер, полагая, что этим все сказано. — Желаете позвонить ему прямо сейчас?

— Чуть позже. Не к спеху, — отмахнулся Шелленберг. Сама мысль о том, что он будет вынужден докладываться «гестаповскому мельнику», казалась ему унижительной.

— Хотя вы-то не считаете меня тюремщиком?

— Порой мне кажется, что вся Германия успела разделиться на заключенных и тюремщиков. И только на эти две категории. Поэтому не стоит огорчаться, мы-то с вами принадлежим к тем, кто все еще на свободе.

— И даже не на фронте, — согласился с его доводами начальник школы.

— Мюллер ничего не говорил о том, как долго адмиралу Канарису придется пробыть в стенах вашей школы?

Трюмлер скосил глаза на бывшего шефа абвера, стоявшего лицом к висевшей на стене старинной картине, на которой были изображены пирующие рыцари, и, как бы прочищая гортань, недовольно побряхтел.

— Сказал, что дальнейшую судьбу его может решить только фюрер.

— Что не трудно было предположить.

— И что решена она будет довольно скоро, — произнеся это, Трюмлер выжидающе взглянул на Шелленберга.

— Можно в этом не сомневаться, — задумчиво кивнул бригадефюрер СД. Они оба прекрасно понимали, каким будет это решение.

— Поймите, бригадефюрер, что все мы, преподаватели Школы пограничной охраны, не очень довольны тем, что наше заведение, имеющее такую славную историю, пытаются превратить то ли в политическую тюрьму, то ли в пересыльный лагерь для особо опасных государственных преступников.

— Я поговорю об этом с Кальтенбруннером, — пообещал Шелленберг. — Полагаю, это в его компетенции — избавить вас от подобного рода «курсантов», — искоса взглянул он на адмирала, все еще делающего вид, что созерцает сцены рыцарской попойки у походной палатки под стенами какого-то замка. Вальтер понимал, каково Канарису слышать о себе такое, но присутствие здесь большого количества арестантов порождало в нем агрессивность.

«В изысканнейшей компании придется отужинать вам сегодня, бригадефюрер СС», — с нежданно нагрянувшим на него сарказмом подзадорил самого себя Шелленберг, понимая, что само его чаепитие в столь расстрельно-эшафотном обществе может быть воспринято Кальтенбруннером и Борманом как отчаянный вызов обреченного.

По всей вероятности, Трюмлер тоже почувствовал себя неуютно. Довольно сухо указав прибывшим господам на небольшой столик в отдаленном углу офицерской столовой, он тотчас же вполголоса объявил Шелленбергу, что всеми вопросами содержания адмирала под стражей с этой минуты будет ведать его заместитель, полковник Заур.

— Именно он и проинструктирует господина Канариса, — при этом самого адмирала начальник школы вдруг перестал замечать, — только чуть позже.

— Было бы хорошо представить меня полковнику, — попытался напомнить о себе Канарис, однако Трюмлер демонстративно «не расслышал» его пожелания.

— Только полковник Заур, — произнес он себе под нос и, вновь слегка склонив голову, но только перед Шелленбергом, поспешил удалиться.

Впрочем, бригадефюрера поразило не столько неожиданно проявившееся игнорирование начальником школы Канариса, сколько последовавшая за этим реакция самого арестованного.

— По крайней мере, приняли нас с должным почтением, — молвил тот, провожая Трюмлера благодарным взглядом. — Теперь и на это способен не каждый.

— Вас приняли с вежливостью палача, адмирал, — вполголоса объяснил ему Шелленберг. Его неприятно поразило то, как быстро Канарис поддался комплексу лагерника, выражающего признательность любому тюремщику за любое проявление элементарной вежливости.

\* \* \*

Ужин прошел в тягостном молчании. Присоединившийся к ним барон Фёлькерсам дважды начинал заунывную байку о некоем родственнике, преподававшем в свое время в этой школе, однако отрешенное молчание собеседников всякий раз заставляло его терять нить повествования.

— Вы могли бы задержаться еще хотя бы на полчаса? — попросил адмирал Шелленберга, как только понял, что шампанское здесь не подают и что, отведав скромной солдатской пищи, бригадефюрер намерен удалиться.

— Мы и так достаточно много времени провели вместе, господин адмирал, — напомнил ему Шелленберг.

— Кажется, только после звонка сюда шефа гестапо я по-настоящему понял, в каком положении оказался. Мне бы хотелось, чтобы вы еще немного задержались. Демонстрация вашей поддержки очень важна... уже хотя бы для восприятия моей личности этими арестованными генералами, — Канарис повел подбородком в сторону зала, в голосе его почувствовалась явная мольба.

— По-настоящему вы поймете, в каком положении оказались, только когда вас переведут в подвалы гестапо, — не стал щадить его бригадефюрер, вновь — теперь уже таким вот, завуалированным, способом — укоряя его в неблагодарности.

В конце концов, он, Шелленберг, жертвуя своей репутацией и своим положением, давал ему возможность или бежать, или покончить с собой, а значит, уйти, как подобает истинному разведчику. При этом бригадефюрер мог бы уведомить Канариса, что, отправляясь в любую зарубежную командировку или в поездку на оккупированные территории, он всегда вставляет себе съемный зуб, в котором находится ампула с быстродействующим ядом. Для чего-то же он это делает!

«А ведь адмирал уже явно струсил! — почти возликовал бригадефюрер. — Причем струсил основательно».

— Так вы задержитесь? — вновь спросил Канарис, видя, что подниматься из-за стола Шелленберг все еще не спешит.

— Извините, адмирал, но нам предстоит возвращаться в Берлин. А время позднее.

— Всего полчаса, Вальтер, — потянулся к нему дрожащими руками Канарис. — Еще довольно светло. Хотя бы полчаса.

Шелленберг и Фёлькерсам устало переглянулись. Они решали для себя, каким образом поскорее и

вежливее убраться отсюда.

— Видите ли, господин адмирал... — начал было гауптштурмфюрер, однако договорить Канарис ему не позволил:

— И потом, позволю себе напомнить, бригадефюрер, что вы обещали позвонить рейхсфюреру СС Гиммлеру.

Фёлькерсам взглянул на Шелленберга, как на самоубийцу: в такое время звонить рейхсфюреру? Да еще по такому поводу?! Но именно этот его испуг вдруг заставил шефа разведки СД взбодриться.

— Последнее, что я могу сделать для вас, адмирал, — как можно решительнее произнес он, — так это действительно позвонить Гиммлеру.

Канарис замер с бутылкой красного вина, только что извлеченной из дорожного офицерского чемоданчика.

— Вы действительно решитесь сделать это?

— Хотя признаюсь, что решиться будет непросто.

— Прекрасно понимаю вас. В моей жизни было немало звонков, на которые приходилось решаться, как на очень ответственный, отчаянный шаг. Но в конечном итоге всегда решался, даже когда понимал, что шансов у меня почти нет.

— Но, в свою очередь, вы должны решить, готовы ли вы к разговору с рейхсфюрером уже сейчас. Ведь второй попытки уже не случится.

— Именно сейчас, пока меня еще не перевели в один из лагерей, я и должен поговорить с ним.

— Тогда идем к начальнику школы, — поднялся из-за стола Шелленберг. — С рейхсфюрером Гиммлером лучше поговорить до того, как мой доклад, пусть даже в расшифровке телефонного разговора, ляжет на стол Мюллеру. Потому что после этого тот обязательно свяжется с Гиммлером.

— Неужели вы решитесь позвонить отсюда рейхсфюреру СС? — все еще не верил Канарис, пряча

бутылку назад в чемоданчик и тоже поднимаясь. — Прямо отсюда?..

Если бы этот вопрос с таким неверием задавал какой-нибудь лейтенантишко, Шелленберг еще мог бы понять его. Но рядом с ним ступал адмирал Канарис. Тот самый, который одно время был вхож к фюреру, как никто другой. Как же быстро он пал духом, как постыдно сломался! А коль так, то что же будет с ним дальше?



— Мне нужно связаться с рейхсфюрером, — сказал Шелленберг, войдя в кабинет начальника школы, и, не дожидаясь его согласия, направился к столу, на котором стоял телефон. Канарис тоже вошел вслед за ним, но остался у двери этого достаточно просторного кабинета.

— В связи с арестом господина Канариса?

— Вы угадали, Трюмлер. Что вы так смотрите на меня? Не одобряете?

— Пытаюсь понять, почему вы не связались с рейхсфюрером сразу же, еще находясь в доме адмирала. То есть до ареста господина адмирала и доставки его к месту заключения.

— Это имеет какое-то значение?

— Для адмирала — да, имеет. Говорить с Гиммлером, все еще находясь дома, и говорить с ним, уже находясь в казармах Школы пограничной охраны, то есть под арестом, — решительная разница, — терпеливо объяснил ему Трюмлер. — Ведь освободить Канариса — значит признать, что арест был ошибочным. Но тогда получается, что одни сажают, другие — выпускают. Когда речь идет о таких чинах, как адмирал Канарис, подобное недопустимо.

— Это уж точно, — вынужден был согласиться с ним Шелленберг, укоризненно поглядывая на адмирала: мол, почему вы не настояли на этом звонке еще там, на окраине Берлина?

— Вот и мне кажется, что свое время и свой шанс вы, господа, уже упустили. Сами убедитесь, что рейхсфюрер СС будет крайне недоволен вашим звонком. Впрочем, попытайтесь, — завершил тираду

Трюмлер, артистично разводя при этом руками, — вдруг я ошибаюсь и из вашей попытки что-нибудь получится.

— И я того же мнения.

— Но предупреждаю, что беседовать будете без моего участия и даже без моего присутствия.

— Какой из этих телефонов принадлежит к правительственной связи?

— Кстати, кто из вас намерен первым говорить с рейхсфюрером: вы или арестованный? — вдруг встревожился Трюмлер, и Шелленбергу нетрудно было понять причину его беспокойства.

— Начну разговор я, а адмирал возьмет трубку только после того, как рейхсфюрер согласится говорить с ним.

— О такой последовательности я и хотел бы вас попросить, поскольку не имею права допускать арестованных до линии правительственной связи, — Трюмлер указал рукой на большой коричневый аппарат. А как только Шелленберг приблизился к нему, демонстративно направился к двери, давая понять, что никакого участия в этих переговорах не примет.

— Так что, господин адмирал, будем звонить? — спросил Шелленберг, задержав руку в нескольких сантиметрах от трубки.

— Раз уж вы решились на этот шаг...

Трубку поднял адъютант Гиммлера штандартенфюрер СС Брандт. Очевидно, он основательно задремал перед этим звонком, потому что голос его звучал сонно и умиротворенно, как у пресытившегося кота.

— Мне нужно срочно поговорить с рейхсфюрером, — сказал Шелленберг, представившись.

— Теперь все хотят говорить с рейхсфюрером, дорогой бригадефюрер.

— Что вы хотите этим сказать?

— Скорее, спросить. Не знаете ли, отчего это вдруг все воспылали страстным желанием слышать голос рейхсфюрера?

— Мне некогда задумываться над подобными аномалиями, штандартенфюрер.

— А я вот вынужден задумываться. И над этим — тоже.

Если бы таким образом с Шелленбергом позволил себе говорить какой-либо другой полковник, он, конечно же, немедленно привел бы его в чувство. Однако полковник Брандт являлся не только личным адъютантом Гиммлера, но и очень близким ему человеком. С этим приходилось считаться во все времена, но особенно теперь.

— Мне понятна ваша гордость за авторитет шефа, — все же деликатно указал Брандту на его «место на коврике у двери» бригадефюрер. — Но лично мне рейхсфюрер нужен по очень важному делу.

— В связи с арестом Канариса, следует полагать? — иронично хмыкнул адъютант.

«Вот оно в чем дело! — осенило Шелленберга. — Брандту уже известны подробности моего перевоплощения в конвоира бывшего главы абвера, и теперь он воспринимает меня, как попавшего в западню хорька. Что ж, этого следовало ожидать».

— Вы поражаете меня своей прозорливостью, Брандт, — произнося это, Шелленберг исподлобья наблюдал за адмиралом. Тот уже догадался, что произошла какая-то осечка, и нервно разминал суставы пальцев. — Вот только заменить собой рейхсфюрера вы пока что не способны.

— Но и рейхсфюрера тоже нет.

— Позвонить на домашний?

— Неужели не понятно, что в такое время рейхсфюрер не может отсиживаться дома?! — почти осуждающе возразил Брандт.

— Но должен же он пребывать в эти минуты где-то в пределах рейха?

— Будем считать, что да, — сладко зевнул штандартенфюрер. И Шелленберг выразительно представил себе, как этот кряжистый коротышка сидит сейчас, развалившись в кресле, и мнит себя если не в облике Гитлера, то уж своего шефа — точно. — По секрету могу сообщить, что он отправился в «Вольфшанце». Самый срочный вызов.

— В «Вольфшанце»? — переспросил Шелленберг исключительно для оконфузившегося флотоводца, растерянно прислушивающегося сейчас к их разговору. — Как давно это произошло?

— Часа полтора назад. Сейчас он, возможно, еще в воздухе.

Вздых облегчения, которым Шелленберг отблагодарил адъютанта Гиммлера, предназначался не для слуха Канариса. В душе бригадефюрер почти с ужасом ждал того момента, когда в трубке раздастся голос самого великого магистра ордена СС. Он и в более беспечные времена остерегался позванивать Гиммлеру, а теперь ведь надо было отстаивать «врага фюрера и рейха» Канариса. Да к тому же в присутствии самого Канариса, который легко мог оказаться свидетелем его бессилия и позора.

— Странно, что рейхсфюрер отправился туда без вас. — В этой фразе Шелленберга были и подозрение в том, что Брандт лжет, и мелкая месть, и примирительное сочувствие... Все зависело от того, как она будет истолкована штандартенфюрером.

— О чем он, конечно же, пожалеет, — все с тем же непробиваемым добродушием согласился Брандт.

Положив трубку на рычаг, Шелленберг изобразил разочарование.

— Как вы уже слышали, адмирал, Гиммлер улетел в «Вольфшанце».

— И вместе с ним улетучилась моя последняя надежда.

— Разыскать его в ставке вряд ли удастся. Тем более что время позднее. И не думаю, чтобы адъютант обманул меня. — Канарис слушал его молча, но смотрел так, как можно смотреть лишь на Христа Спасителя. — Не судьба, адмирал, не судьба.

— Очевидно, вы правы, — угрюмо признал адмирал и повел длинной тонкой шеей, словно уже сейчас прилаживал ее к петле. — В любом случае вы — мужественный человек. Я ведь понимаю, что Гиммлер мог воспринять ваше заступничество как попытку спасти своего сообщника. Так что вы здорово рисковали, Вальтер. Уже за одно это я признателен вам.

— Я сдержал свое слово и еще найду возможность основательно поговорить с рейхсфюрером.

Канарис скорбно взглянул на Шелленберга.

— Последняя просьба, бригадефюрер: пойдете в отведенные мне «апартаменты», разопьем прощальную бутылку вина. Или хотя бы по глотку. Вас, гауптштурмфюрер, тоже приглашаю. Много времени у вас это не отнимет.

Оба «стражника» посмотрели на адмирала, как на назойливого, слишком гостеприимного хозяина, одернуть которого они не решаются.

Ночное небо казалось как-то по-южному удивительно высоким, вот только зарождающийся где-то за грядой холмов легкий ветерок вместо ночной прохлады приносил гарь пепелищ. На западе, откуда он повевал, разгоралось огромное зарево пожара.

— Мне не на кого больше рассчитывать, Вальтер, — молвил Канарис, с трудом отведя взгляд от этого зарева.

— Предприму все, что представится возможным. В этом вы уже могли убедиться.

Уже попрощавшись с Шелленбергом в кабинет-камере, Канарис, тем не менее, не удержался и последовал за ним на улицу. Стоявший у входа в корпус часовой растерянно осмотрел всех троих, но так и не поняв, есть ли среди них арестованный, отдал честь и молча пропустил мимо себя. К тому же он знал, что арестованным нельзя выходить за огражденную высоким каменным забором территорию школы, а на проходной дежурит наряд.

— Вы должны понять меня, бригадефюрер. Вы и есть та последняя надежда, на которую я буду уповать все дни, кои мне придется провести здесь, в казармах. — Шелленберг заметил на глазах адмирала слезы, но, к своему удивлению, не ощутил ни жалости к нему, ни хотя бы сочувствия.

«Я ведь давал тебе возможность распорядиться последними минутами свободы! — уже в который раз мысленно ужалил он Канариса. — Что помешало воспользоваться моей добротой? На чью снисходительность ты рассчитывал: Мюллера, фюрера?! Так вот, на них и уповай!»

— Отлично понимаю вас, адмирал. И еще раз повторяю: я всего лишь выполнял приказ.

— Переговорите с рейхсфюрером, Шелленберг, переговорите, — вновь, теперь уже с укоризненной мольбой, попросил адмирал.

— Вы присутствовали при попытке связаться с ним.

Невесть откуда появившийся обер-лейтенант решительно преградил им путь у ступеней, ведущих с крыльца.

— Прошу прощения, господин адмирал, но покидать пределы корпуса без разрешения начальника училища вам категорически запрещено.

— Меня никто не предупреждал об этом, — извиняющимся тоном объяснил Канарис.

— Но теперь вы уже предупреждены. Еще раз прошу прощения.

— Учту. Представьтесь, пожалуйста.

— Обер-лейтенант Шнорре, — подтянулся офицер. — Помощник начальника училища по вопросам безопасности.

Увидев, что Шелленберг тоже остановился, Шнорре попятился назад, козырнул и, поняв, что может нарваться на неприятности, вполголоса произнес:

— Впрочем, если господин бригадефюрер СС позволяет вам оставить пределы корпуса, то можете сделать это под его личную ответственность...

— Выполняйте свои обязанности, обер-лейтенант, — вдруг жестко отрубил Шелленберг, проходя мимо Шнорре и даже не оглянувшись при этом на Канариса.

Услышав его ответ, адмирал — обескураженный и оскорбленный — остановился. Он чувствовал себя так, словно его хлестнули по лицу. А ведь зная, что перед ним помощник начальника училища по безопасности, Шелленберг мог бы сделать для него исключение, и тогда не только сегодня, но и впредь охрана вела бы себя иначе.

«Сантименты кончились, адмирал! — по-иному решил бригадефюрер. — Дальше пойдет суровая казарменная обыденность. С допросами, пытками и ночными видениями петли на шее. Вы сами избрали этот роковой путь на собственную голгофу».

Уйдя первым, Фёлькерсам ждал его теперь у ворот, дремая за рулем. Шелленберг быстро сел в машину, и «мерседес» рванул с места так, что часовой едва успел чуть отодвинуть половинку массивных ворот, чтобы машина не врезалась в них.

— А ведь, даже находясь здесь, адмирал все еще имел возможность бежать, — несколько зловеще рассмеялся барон фон Фёлькерсам, и его лошадиному удлиненное, обветренное, вечно шелушащееся, освещенное луной лицо альпиниста исказила гримаса презрения.

— Просто он об этом не думал, — неуверенно вступился за него бригадефюрер.

— О чем же он тогда думал, бывший шеф абвера?! Ну, пусть эти военно-полевые бараны, которых свезли сюда задолго до него, позволяют гнать себя на убой, как стадо... Но Канарис! Опытный разведчик... работающий, к тому же, в качестве двойника... Не подготовить ни одного конспиративного лежбища! Не позаботиться ни о каком черном ходе с подземельем в собственном доме!..

— Вы-то сами уже позаботились обо всем этом, барон? — неожиданно заинтересовался Шелленберг.

Фёлькерсам осекся на полуслове и метнул взгляд на бригадефюрера.

— Пока нет. Но подумываю.

— Вот вам и ответ на все ваши вопросы и гневные восклицания, гауптштурмфюрер, — слегка повисил голос Шелленберг.

— Но ведь, в отличие от Канариса, я не играю в двойные игры, а служу фюреру и рейху — вот в чем



наше различие.

— Однако фюрер об этом не догадывается, а Гиммлер всегда готов усомниться. Не говоря уже о Мюллере, который изначально никому не доверяет. Вот и только что вы размышляли не о том, как бы достойно наказать изменника рейха Канариса, а как бы увести его из-под гнева Народного суда. Вы готовы не только составить для него план побега, но и под дулом пистолета заставить его этот план осуществить. Так кто вы после этого, гауптштурмфюрер? И может ли шеф гестапо Мюллер доверять вам после этого?

Выслушав его, Фёлькерсам нагнулся поближе к рулю, словно уже сейчас стремился проскочить мимо всевидящего и всезнающего «гестаповского мельника», и надолго умолк. Это было молчание человека, уличенного и развенчанного, которому уже бессмысленно оправдываться и у которого не осталось ни одного сколько-нибудь убедительного довода в свое оправдание. И лишь время от времени с уст его срывалось неопределенное: «М-да, м-да!» Да и то произносил он его обычно на поворотах или сильных скачках, так что неясно было, к чему оно относится: к натиску на него Шелленберга или к изувеченной осколками, давно не ремонтированной дороге.

— Но это я так, для примера... — сжалился над ним Шелленберг, заметив, что гауптштурмфюрер окончательно приуныл и ушел в себя.

— Неплохо же вы меня поддели, господин бригадефюрер, признаю... — отлегло от сердца у Фёлькерсама. — Но в любом случае... Если понадобится... неужели думаете, что и себе позволю вот так?.. Потому что убежден: моя совесть чиста. Не в пример многим из этих, из армии резерва, подставленных самим ее командующим, генерал-полковником Фроммом...

— «Стадо баранов», которое вы наблюдали в столовой Школы пограничной охраны, тоже вряд ли играло в какие-либо двойные игры. И тоже верно служило — кто Германии, кто лично фюреру, кто просто из необходимости служить. Но предателями они себя не чувствовали и к такому вот, крайнему, случаю готовы не были.

— А вот в моем родовом имении все рассчитано именно на такой, крайний, случай. Правда, под своим крайним случаем я подразумеваю приход русских или англо-американцев.

— Существенное замечание, — подбодрил его бригадефюрер. Шелленберг пока еще не знал, как Мюллер отнесется к тому, что он самовольно оттянул арест Канариса почти на сутки и что слишком либеральничал с ним во время ареста. Поэтому понимал, что портить отношения с Фёлькерсамом, единственным свидетелем этого ареста и конвоирования, не стоит.

— Я лишь хотел сказать, что окажись я в условиях, при которых арестовывали Канариса, — то, конечно же, сумел бы уйти. Или, в крайнем случае, пустил бы себе пулю в лоб. Вот я о чем. Я не признаю обреченности. Это выше моего понимания. Да, это сугубо диверсанта́нский подход к аресту, но ведь Канарис профессионал.

— Во всяком случае, мы почему-то были уверены в этом, — проворчал Шелленберг.

— Были, да... В былые времена само название — «абвер» — вселяло страх и уважение.

Добравшись до окраины городка, барон выключил скудное внутреннее освещение, вывел машину из-под арки, сформированной кронами могучих вековых деревьев, и погнал в сторону Берлина. При этом он время от времени оглядывался на залитую лунным сиянием дорогу, словно ожидал погоню, или же,

поддавшись игре фантазии, в самом деле убедил себя, что убегает.

— ...Но когда вас, Фёлькерсам, пошлют арестовывать бригадефюрера СС, шефа внешней разведки СД, — неожиданно изменил тональность Шелленберг, — помните: у него тоже ничего такого не предусмотрено.

— Странно, не могу в это поверить. А как быть с легендой о «змеином зубе Шелленберга», в который вмонтирована ампула с ядом? Всего лишь слухи?

— Такая легенда действительно существует? — удивился бригадефюрер. — О «змеином зубе Шелленберга»?! Клянусь вам, никогда не слышал об этом. «Змеиный зуб Шелленберга»! — пришел он в умиление. — Потрясающе! Но обычно я вставляю его, когда отправляюсь к чужакам. Свои же могут арестовывать меня прямо на службе, когда мое «змеиное жало» покоится в домашнем сейфе.

— Этой подсказки я не слышал, — решительно замотал головой Фёлькерсам. — Если мне действительно придется арестовывать вас, постараюсь забыть о ней, а значит, позволю воспользоваться этим ядовитым «жалом».

— Как благородно с вашей стороны, Фёлькерсам! Так вот, знайте, что при аресте этот бригадефюрер тоже вряд ли решится воспользоваться личным оружием. Поэтому не считите за труд, помогите ему в этом.

— Помочь в чем? Воспользоваться личным оружием?! — рассмеялся было гауптштурмфюрер, однако, вовремя уловив, что хохот его совершенно некстати, осекся. — Но это в принципе невозможно, господин бригадефюрер. Я имею в виду: невозможно, чтобы вы оказались в числе подозреваемых. А тем более — в числе арестованных.

— Почему вы так решили? — с грустинкой в голосе спросил Шелленберг.

— Потому что в таком случае возникает закономерный вопрос: кто же тогда стоял и стоит у основания рейха? Неужто одни предатели и враги? А единственным, на кого может положиться фюрер, следует считать «гестаповского мельника»? Это ли не ужасно? При всем моем уважении к Мюллеру...

«Мюллера как раз следовало арестовать в числе первых. И в числе первых казнить», — мысленно добавил Шелленберг, но вслух ворчливо пробасил:

— Кто стоял у истоков рейха, у его основания, и кто — у его смертного одра, разбираться, похоже, будут уже без нас. В этом — жестокость нашей судьбы. И не скажу, чтобы сознание этого воодушевляло меня.

\* \* \*

Прибыв уже поздно ночью к себе в Главное управление имперской безопасности, Шелленберг спустился в телетайпную и приказал дежурному офицеру передать небольшое донесение:

— «Обергруппенфюреру СС Мюллеру, — продиктовал он. — Полученный сегодня от вас по телефону приказ выполнен. Как вам уже известно, арестованный доставлен по указанному адресу. Подробности вам может сообщить рейхсфюрер СС Гиммлер.<sup>[49]</sup> Бригадефюрер СС Шелленберг».

Отстукивая, телетайпист, унтерштурмфюрер СС Вельт, с лукавым любопытством взглянул на шефа. Он прекрасно знал, в каких натянутых отношениях пребывают сейчас Мюллер и Шелленберг, но в то же время ясно представлял себе, как расвирепееет «гестаповский мельник», узнав, что за подробностями ареста его отсылают к самому Гиммлеру. Иное дело, что

офицер не в состоянии был вообразить, как бы это выглядело, если бы Мюллер и в самом деле решился сунуться к рейхсфюреру С С за подробностями ареста Канариса.

— Вас что-то смущает, унтерштурмфюрер? — с точно таким же лукавством поинтересовался Шелленберг.

— Меня — нет, бригадефюрер. Пусть это смущает группенфюрера СС Мюллера.

— Находите в моем послании нечто такое, что и в самом деле способно смутить его?

— Не нахожу, но Мюллер — тот обязательно постарается найти, — отчаянно храбрился лейтенант СС. — Без этого он попросту не может.

И они заговорщицки рассмеялись.

«Надежный парень, — подумалось Шелленбергу. — Следует задуматься относительно его повышения в чине».

Неожиданно для себя он вдруг решил, что пора создавать собственную гвардию: отбирать и повышать в чинах надежных людей, окружать себя ими. Позаботиться о том, чтобы «свои люди» появлялись и в провинции. Иногда — в самой глухой: лесной, горной... Где можно будет пересидеть месяц-другой во времена гибели рейха, в жуткую пору обысков и прочесываний.

Печальный опыт коллеги Канариса заставлял Шелленберга несколько по-иному взглянуть и на ситуацию, сложившуюся при дворе фюрера, и на свои собственные перспективы.

— Если поступит ответная телетайпограмма от Мюллера, доложите об этом не раньше десяти утра. До этого времени я не в состоянии буду воспринимать подобные послания.

— Боюсь, бригадефюрер, что до этого времени Мюллер не в состоянии будет составить его, — мрачно изрек Зигфрид Вельт, низко склонив почти абсолютно

лысую голову над аппаратом, чтобы не встречаться взглядом с бригадефюрером.

«В любом случае этому лейтенанту нужно иметь мужество, чтобы так пройти по шефу гестапо, — признал бригадефюрер СС. — Судя по всему, нелюбовь к «главному мельнику» рейха проникла уже и в телетайпные подвалы РСХА. Что одновременно и приятно, и крайне опасно, поскольку в любой момент может спровоцировать Мюллера и всю его гестаповскую свору».

— По-моему, вас давно не повышали в чине, унтерштурмфюрер. Напомните мне об этом при случае.

Вернувшись в свою скромно, по-армейски обставленную комнату, Канарис, не раздеваясь, лег на кровать, уложив ноги на грубоватую металлическую спинку. Он чувствовал себя полководцем, проигравшим решающую битву и теперь по-фаталистски отдающего себя на растерзание рока.

В эти минуты он не ощущал ни страха, ни раскаяния; даже чувство обычного огорчения — столь естественного для человека, за несколько часов потерявшего буквально все, чего сумел достичь в течение жизни, — не посетило сейчас адмирала. По своему прошлому он готов был пройти с безразличием варвара, не ведающего ни святости погубленных им человеческих жизней, ни жалости, ни стремления хоть как-то объяснить свою алчность и жестокость.

Когда-то Канарис искренне верил в свою звезду флотоводца, но война, в которую он вступил адмиралом и которая только и способна явить миру талант любого воителя, флагов на его эскадренных флагманах так и не увидела. И теперь он чувствовал себя пиратом, потерявшим не только добычу, но и собственное судно, поскольку высажен на необитаемый остров.

Возглавив военную разведку, он мысленно соотносил себя с величайшими шпионами в истории мира. А року было угодно, чтобы именно ему, человеку, никогда по-настоящему не познавшему романтики рядового шпионажа, не скрывавшемуся на явках в тылу врага, посчастливилось возглавить одну из мощнейших разведок XX века. И чем это кончилось? Для германцев он навсегда останется предателем рейха, для англичан — презренным неудачником, пытавшимся поиграть в шпионов-двойников; для своих коллег-профессионалов

— шефом абвера, по существу дезорганизовавшим работу этой службы и превратившим ее в посмешище.

Причем изменить уже ничего нельзя. Времени для того, чтобы хоть как-то облагородить мнение о себе, судьба ему уже не дала. Видно, он так и сойдет в могилу «предателем», «неудачником», «несостоявшимся...» Чем выше взлет, тем сокрушительнее падение — банальная, но неоспоримая истина. Увы!

На прикроватной тумбочке лежало несколько книг, очевидно, оставленных предыдущими обитателями комнаты. Канарис наугад взял одну из них. «Военное искусство древних римлян» — с романтической улыбкой на устах прочел он. Как бы ему хотелось сейчас перевоплотиться в курсанта школы и заново постигать основы полководческого таланта Ганнибала, Мария, Суллы...

«Армия Цезаря была разбита. В этой битве Деррар потерял более двух тысяч солдат убитыми. Однако Помпей побоялся ворваться со своими войсками в его лагерь и тем самым вновь упустил победу. Благополучно уведя остатки своих войск в Фессалию, Цезарь заявил своим приближенным: «Сегодня победа была бы на стороне врагов, если бы кто-нибудь из них умел побеждать»».

— «Если бы кто-нибудь из них умел побеждать...» — задумчиво повторил адмирал, перелистывая еще несколько страниц.

«...В первом же бою Помпей разгромил войска Перперна, а сам этот убийца полководца Сертория попал в плен. Пытаясь спасти свою жизнь, Перперн передал Помпею переписку



Сертория со многими уважаемыми людьми Рима. Однако Помпей посчитал унижительным для себя читать чужие письма и приказал бросить их в огонь, а самого предателя и заговорщика Перперна казнить...»

Не дочитав главу до конца, Канарис швырнул книгу в угол и отвернулся к стене. Он знал, что каждая страница этой книги насыщена мужеством и аристократизмом римских полководцев. Однако знал и то, что лично о нем, адмирале Канарисе, историки будут писать с таким же пренебрежением, как пишут о Перперне, который в самый решающий момент не только предал правителя Испании Сертория, но и, по-заговорщицки убив его, рассчитывал овладеть армией и славой этого полководца.

Самое удивительное в его, Канариса, положении — что у англичан тоже нет повода сожалеть о его гибели. Кто в Великобритании решится признать его своим? Кто станет апеллировать к его мужеству? Рок, проклятый рок!

А все началось с того, что некий священник из ордена иезуитов, доктор Лейбер, умудрился выйти на него с устным посланием папы римского... Случилось это в 1939 году, когда в Европе уже ощущалась гарь мировой войны. Именно предчувствуя ее, помазанник Божий призвал патриотов Германии объединить усилия, чтобы без особого кровопролития отстранить Гитлера от власти и создать демократическое или, по крайней мере, непрофашистское правительство.

Канарису трудно было судить, какие из тех слов, которыми осыпал его доктор от иезуитства, исходили от самого папы, а какие — от хорошо оплачиваемого англичанами агента Лейбера. Но очень скоро сумел убедиться, что посланник Великобритании при Святом престоле сэр Осборн активно поддерживает подобный

план «общеевропейского примирения». Осборн заверил папу римского, что его величество король Великобритании готов удовлетвориться таким ходом событий, при которых новое правительство рейха могло бы отказаться от военных действий на Западе, распорядясь при этом своими войсками на Востоке по собственному усмотрению.

Первым единомышленником Канариса, которым адмирал очень дорожил, оказался начальник штаба военной разведки абвера генерал-майор Ханс Остер. Затем раскрылся мюнхенский сотрудник абвера Йозеф Мюллер, который, как оказалось, не только установил контакт с Лейбером, но и сумел наладить связь с довольно высокими ватиканскими сановниками. Так и создавалась антигитлеровская группа, получившая с легкой руки Гейдриха название «Черная капелла».

Будь Гейдрих понастойчивее, он мог разгромить ее еще в начале 1940 года. Однако он этого не сделал, позволив группе еще довольно долго «действовать во имя поражения Германии, ради ее спасения».

А ведь какое-то время адмиралу действительно казалось, что, выдавая военные секреты Гитлера, можно, пусть даже путем ощутимых потерь, заставить его пойти на мир с западными странами, заполучив некоторых из них в качестве союзников в войне против коммунистов. Однако этого оказалось недостаточно. Утешением могло служить только то, что его личная трагедия уже ничто в сравнении со вселенской трагедией Третьего рейха, трагедией Европы.

...Прямо на школу неслось звено ночных бомбардировщиков. Мощный гул их моторов заставлял землю содрогаться так, словно в глубине ее кто-то вращал огромный бур, вызывающий губительное землетрясение. Чтобы успокоить свои нервы, адмирал поднялся с койки, подобрал с пола «Военное искусство

древних римлян» и принялся читать с первой открывшейся ему странички.

Ни одна бомба вблизи казарм школы не упала — очевидно, объект казался англо-американцам слишком незначительным. Однако само появление вражеских бомбардировщиков в глубине германской территории вызывало в адмирале мрачный оптимизм висельника: уже ощущая на своей шее петлю, он тешил себя мыслью о том, что, в общем-то, труды его, как и страхи, не были напрасными. И не его вина, что теперь рейх гибнет под штыками евроазиатов, а он, адмирал Канарис, уже ничем не может помочь ни ему, ни его западным врагам.

Да, теперь уже никому и ничем он, некогда всемогущий шеф абвера, помочь не сможет. Но, по крайней мере, он пытался сделать это. Жертвуя собой, пытался. А что сделали для спасения Германии многие другие, погубившие и армию рейха, и сам рейх?

Шелленбергу стоило немалого мужества решиться на этот звонок рейхсфюреру. И если он все же решился, то не потому, что дал клятвенное слово адмиралу Канарису. Судьба бывшего шефа абвера интересовала его сейчас менее всего. Мало того, бригадефюрер не сомневался, что судьба адмирала давным-давно решена, и казнь его — всего лишь вопрос времени.

Просто наутро после ареста он проснулся с ясным предчувствием того, что следующим, кого увезут в казармы Школы пограничной охраны, будет он. Вот только в отличие от Канариса ему уже некого будет просить, чтобы за него замолвили словечко перед рейхсфюрером или самим Гитлером. Некого — вот в чем дело!

Поднимая трубку прямой связи, начальник службы зарубежной разведки РСХА был уверен, что Гиммлер выслушает лишь начало его устного обращения, а затем пригласит для личной встречи — слишком уж нетелефонным представлялся этот разговор. Но, к его удивлению, приглашения не последовало. Благо еще, что сам разговор рейхсфюрер СС предельно долго не прерывал. [\[50\]](#)

— Господин рейхсфюрер, надеюсь, вам уже известно, что по приказу, отданному Мюллером, мне пришлось арестовать бывшего...

— Известно, — прервал его Гиммлер. — Как он вел себя: угрожал, возмущался, апеллировал к фюреру?

— Психологически он уже был готов к аресту. Не ожидал, что это произойдет именно тот день, но в принципе уже был готов.

— Важно, что вы заметили это, Шелленберг. И что, никакой попытки избежать ареста Канарисом

предпринято не было?

— Если вы имеете в виду побег, — вспомнились бригадефюреру пространные рассуждения на этот счет гауптштурмфюрера Фёлькерсама, — то никакого интереса к подобному виду спасения он не проявил.

— А что, ему предоставлялась такая возможность? — лукаво поинтересовался рейхсфюрер, причем сделал это безо всякой настороженности, казалось бы — из чистого любопытства.

— Во всяком случае, дом оцеплен не был. Понятно, что, пока Канарис переодевался в своей спальне, мы с гауптштурмфюрером Фёлькерсамом были начеку, однако возможность побега существовала. По крайней мере, он мог бы попытаться.

— Не заставляйте меня думать, Вальтер, что вы разочарованы его покорностью и пассивностью.

— Лишь в той степени, в какой разочаровываешься проявлением человеческой слабости.

— Личное оружие тоже до поры до времени оставалось в его распоряжении... — не спросил, а как бы вслух поразмышлял главнокомандующий СС и начальник государственной полиции рейха.

— Естественно.

— Следовательно, вы допускали и возможность того, что адмирал решится свести счеты с жизнью?

— Я бы выразился деликатнее: у меня возникала возможность не воспрепятствовать его самоубийству, которое многих в этой стране избавило бы от чувства неловкости, — подстраховывался Шелленберг на тот случай, если бы барон Фёлькерсам решил поделиться с кем-либо своими впечатлениями от процедуры ареста Канариса.

— Вы имеете в виду нежелание Канариса последовать примеру генерала Штюльпнагеля, который благородно предпочел аресту и виселице «выстрел чести»?

— Причем упорное нежелание. Да и вообще, в принципе, все его поведение показалось нам с гауптштурмфюрером Фёлькерсамом совершенно недостойным, — молвил Шелленберг, плохо представляя себе, чего, собственно, добивается от него Гиммлер: то ли того, чтобы он признался в потворстве адмиралу, то ли извинения за то, что умудрился довести адмирала до здания Школы пограничной охраны. Поскольку благоразумнее было бы все же не довозить его.

— В целом вы правы, — так и не раскрыл своего истинного замысла рейхсфюрер, — нежелание Канариса последовать примеру некоторых генералов создает совершенно излишние хлопоты и ему, в чем он очень скоро убедится, и всем, кто причастен к его аресту.

— Мне оставалось лишь намекнуть на это Канарису.

— Но он, как всегда, не внял... — с грустью констатировал рейхсфюрер СС.

— К моему удивлению.

— Наш адмирал Канарис опять не внял ни нашим советам, ни собственному благоразумию...

Шелленбергу прекрасно было знакомо это сомнамбулическое состояние Гиммлера, когда он вел разговор в режиме абсолютной расслабленности, полусонным тоном, не задавая вопросов, а как бы размышляя вслух, мало заботясь об участии в этих размышлениях своего собеседника.

— Вы правы, господин рейхсфюрер СС, как всегда, — согласился Шелленберг, прекрасно понимая, какая горечь кроется за этими словами Гиммлера.

В конце концов, именно он, рейхсфюрер, своей властью и своим авторитетом до сих пор умудрялся оберегать опального адмирала от рук гестапо. Которое могло заняться им еще во времена Гейдриха. Помнил бригадефюрер и о том, что Гейдрих пытался выстроить ход событий таким образом, чтобы возглавляемая им,

Шелленбергом, служба взялась добывать разведывательную информацию, способную конкурировать с информацией абверовской агентуры. И Шелленберг немало рисковал тогда, заявив, что не готов взять на себя такое бремя.

— Так как же я должен истолковывать ваш звонок, Шелленберг? — неожиданно оживился рейхсфюрер СС. — Вы решились просить о снисхождении к Канарису? О моем заступничестве?

— Так точно, господин рейхсфюрер, прежде всего о снисхождении.

— И делаете это по просьбе самого адмирала?

Шелленберг чуть было не решился отрицать этот факт, но вовремя сообразил, что Канарис обязательно подтвердит его, поскольку все еще верит в некую высшую справедливость по отношению к нему.

— Конечно же, по просьбе. Когда мы расставались, он по-прежнему не признавал себя виновным, однако чувствовал себя совершенно подавленным.

— А вас не смущает, что речь идет о заступничестве за врага рейха и личного врага фюрера?

— Еще как смущает!

— Не чувствуется, Шелленберг, не чувствуется.

— Что поделаешь, если я оставался единственным, к кому Канарис еще мог обратиться с подобной просьбой? И он этой возможностью воспользовался. Иное дело, что Мюллеру не следовало превращать меня в голгофного стражника Канариса, тем более что группенфюрер прекрасно знал, какие отношения у нас с адмиралом.

— Только стоит ли гордиться ими? — осуждающе обронил рейхсфюрер. — Вот над чем вам следовало бы поразмышлять, Вальтер!

Гиммлер промолчал, и Шелленберг тоже не стал продолжать этот разговор, считая, что все, что следовало сказать, уже сказано. Дальше решать самому рейхсфюреру.

— Понимаю, вас оскорбило решение Мюллера поручить арест адмирала именно вам, бригадефюрер, — молвил Гиммлер после явно затянувшегося молчания. — Однако согласитесь, что он не мог поручить столь деликатное задание кому-либо из своих офицеров. В силу разных причин. В том числе и в связи с тем, что адмирал Канарис — это все же адмирал Канарис, а не кто-то там из многих.

— Прежде всего, меня оскорбил тон, в котором был отдан приказ об аресте. При этом Мюллер ссылался на Кальтенбруннера. Отношение же ко мне обергруппенфюрера вам известно.

— В общих чертах, — недовольно проворчал Гиммлер. Дразги, которые то и дело возникали между Кальтенбруннером и Шелленбергом, уже порядком поднадоели ему.

— Приказывая арестовать Канариса, группенфюрер Мюллер явно рассчитывал спровоцировать мое неповиновение.

— Вы так решили? У меня подобных подозрений не возникает.

— Это неповиновение, — не удовлетворился Шелленберг объяснениями рейхсфюрера, — понадобилось ему, чтобы бросить на меня тень подозрения в нелояльности СС, нелояльности фюреру. Совершенно очевидно, что на меня фабрикуется дело, как когда-то оно фабриковалось на... — лишь в последнее мгновение удержался бригадефюрер, чтобы не назвать Канариса. Упоминание имени которого в данной ситуации выглядело бы нелепым. — Впрочем, стоит ли уточнять?

Гиммлер тоже уловил этот момент смятения. Сравнивая себя с Канарисом, бригадефюрер, по существу, подписывал себе приговор или, в лучшем случае, «являлся с повинной».



— О каких-либо происках против вас группенфюрера Мюллера лично мне абсолютно ничего неизвестно, — жестко отчеканил он. — Абсолютно ничего. И я не вижу причин для дальнейшего выяснения оснований... которых не существует. А что касается адмирала... мне попросту любопытно, каким это образом он попытается вывести себя из-под удара, если обвинения, выдвинутые против него, более чем серьезные... Более чем серьезные, бригадефюрер.

— Вряд ли ему удастся уйти из-под удара без вашей помощи, — решительно молвил Шелленберг.

Опасаясь, что рейхсфюрер может положить трубку, бригадефюрер не успел сообразить, что утверждение его прозвучало двусмысленно, поскольку в нем содержался намек на возможное пособничество Канарису со стороны Гиммлера. К счастью, главнокомандующий войсками СС не заметил этого или же не придавал ему значения.

— Не удастся, это уж точно.

— Канарис очень рассчитывает на то, что вы согласитесь поговорить с ним. Понимаю всю деликатность ситуации, но это было бы гуманно с вашей стороны.

— Мне не хочется выступать в деле Канариса ни в роли следователя, ни в роли пастора. Обе ипостаси мне не по душе. — Шелленберг промолчал, он понимал, что дальше настаивать на встрече рейхсфюрера с адмиралом бессмысленно. Но в тот самый момент, когда бригадефюрер окончательно уверовал, что миссия его завершилась поражением, Гиммлер вдруг спросил: — Вам уже известно содержимое некоторых бумаг адмирала, которые были обнаружены в одном из его тайников?

— Знаю только, что обнаружены две дипкурьерские сумки с компрометирующими материалами, но с содержимым самих бумаг не ознакомлен.

— Так я и подумал. Иначе вы не просили бы меня встретиться с Канарисом как с невинно арестованным.

— Я не собирался доказывать его невиновность, — поспешил внести ясность в суть вопроса Шелленберг. — Всего лишь просил о снисхождении, поскольку пообещал Канарису, что передам его просьбу.

— Однако с Канарисом я все же встречу, — заверил его Гиммлер. — Просто любопытно, как он будет объяснять свое отступничество.

Положив трубку, Шелленберг еще несколько минут сидел неподвижно и угрюмо, сосредоточенно глядел на телефонный аппарат, словно пытался вызвать чей-то дух. Бригадефюрер понимал, что разговор не удался, но в то же время с облегчением думал, что он все же состоялся. Ведь решиться на него было не так-то просто. Теперь же...

Что бы Кальтенбруннер и Мюллер ни намеревались предпринимать против него, они неминуемо должны будут получить добро Гиммлера, и точно так же неминуемо рейхсфюрер вспомнит, что Шелленберг-то уже искал у него защиты.

«Как можно создавать Великий рейх, когда ни один самый высокопоставленный чиновник этой страны не может чувствовать себя уверенным в том, что завтра не окажется в кандалах? — мысленно возмущался бригадефюрер СС, пытаясь хоть как-то пригасить свои сомнения. — Это абсурд! Впрочем, существовала ли вообще когда-либо в природе империя, чиновники которой были бы уверены в этом? В качестве примера коммунисты, конечно же, назвали бы свой коммуно-рейх СССР, скромно умолчав при этом, что на его территории действует до полутысячи концлагерей. И что основателем этих концлагерей стал не кто-нибудь, а вождь мирового пролетариата, он же сифилитичный еврей-гомосексуалист Ленин. Проклятый мир!»

— Что ж, — сказал он себе вслух, — когда придет твой черед отправляться в казармы Фюрстенберга, пусть тебе зачтется хотя бы то, что ты все же попытался хоть что-нибудь предпринять для тобой же безнадежно упрятого туда адмирала Канариса. [\[51\]](#)

Адмирал поднял с пола книжку «Военное искусство древних римлян», просмотрел несколько страниц, однако по-настоящему вчитаться уже так и не смог. Хотелось бы ему знать, что после этой длительной, безумно кровопролитной, но совершенно бездарно спланированной войны будут писать о военном искусстве германцев.

Вернувшись в кресло, бывший шеф абвера набросил на плечи шинель и, зябко поеживаясь — хотя в казарме было довольно тепло и лишь чуть-чуть влажновато, — предался воспоминаниям. Конечно же, это было своеобразное бегство от реальности, но не только. Теперь у него появилось достаточно времени, чтобы не только вспомнить события давно минувших дней, но и попытаться по-новому взглянуть на них и столь же по-новому осмыслить.

Вот почему в последние дни адмирал, событие за событием, перечитывал свое прошлое, как перечитывают некогда любимую, но основательно призабытую книгу. Ни одну страницу ему не хотелось перелистывать просто так, ради беглого просмотра; на каждой из них сохранялось нечто такое, что вынуждало его задумываться над смыслом жизни как таковой, самого человеческого бытия, и смыслом его, Вильгельма Канариса, личной жизни. Тем более что эти экскурсии в былые дни и в самом деле спасительно помогали ему уходить от убийственных реалий сегодняшнего дня.

...Он вновь оказался на борту крейсера «Дрезден», только теперь уже после сражения, произошедшего 8 декабря 1914 года у острова Гран-Мальвина, в котором — кто у мыса Мередит, а кто в южной части

Фолклендского пролива — погибли все корабли германской эскадры.<sup>[52]</sup> В том числе и бронекрейсер «Шарнхорст», с командующим эскадрой вице-адмиралом Максимилианом фон Шпее на борту. И только их крейсеру, да и то лишь благодаря неплохим ходовым качествам, удалось оторваться от преследования англичан и уйти в сторону острова Эстадос.

— Эстадос, черт бы его побрал! — с ревущей пиратской хрипотцой в голосе проворчал адмирал. — Возможно, его и следует считать островом, но только не планеты Земля, а некоего ледяного ада.

А ведь теперь даже странно представить себе, как они обрадовались, увидев однажды на рассвете этот безжизненный, проклятый моряками и самим дьяволом осколок суши. Потеряв в ледяных водах Фолклендов, в районе мыса Мередит, несколько тысяч своих товарищей по эскадре, моряки крейсера с надеждой обреченных посматривали теперь на суровые прибрежные скалы Эстадоса. А на что еще они могли рассчитывать, на какие призраки спасения молиться? Как-никак, рядом с ними была суша, а значит, появлялся хоть какой-то шанс на спасение.

Прервав воспоминания, адмирал отпил из фляги. Коньяк показался ему божественно приятным на вкус, с каким-то особым, виноградно-шоколадным букетом. Недурно, недурно!..

Вчера эту флягу передал ему дежурный офицер, объяснив:

— Это вам, господин адмирал. Приказано: лично вам.

— Хотите сказать, что он отравлен? — с грустноватой иронией поинтересовался Канарис.

Вопрос оказался настолько неожиданным, что лейтенант сначала замер, а затем начал отводить руку

с флягой, словно бы его и в самом деле разоблачили.

— Такого не может быть, господин адмирал, — слегка дрогнувшим голосом произнес он.

— Почему не может? В наше время может быть все что угодно. Вдруг кому-то из штаба СС пришло в голову таким вот древним, проверенным методом покончить со мной, не доводя дело до суда? Кто вам передал эту флягу?

— Послание какого-то морского офицера. Имени своего он не назвал, но сказал, что знаком с вами давно, еще со времен Дрездена.

— Дрездена?

— Фрегаттен-капитан ссылался именно на этот город, — подтвердил лейтенант, приписанный к охране школы после ранения в ногу. По казарме он разгуливал теперь, постукивая прикладом кавалерийского карабина, словно посохом. — А еще уверял, что во фляге — лучший коньяк, который когда-либо производился на земле Испании. Из самого сладостного винограда. По крайней мере, так считает этот моряк.

— Постойте, так, очевидно, он имел в виду не город, а крейсер «Дрезден»?

— Ни города Дрездена, ни крейсера с таким названием я никогда не видел, — с крестьянской простотой объявил лейтенант. — Поэтому знать не могу.

Сын мелкого ремесленника из какой-то швабской деревушки, он принадлежал к той когорте младших командиров, которые пробившись к своему офицерскому чину не через династические традиции, домашних учителей и военные школы, а через ефрейторские лычки и безысходную отвагу окопника.

Впрочем, Канарису не пришлось долго отгадывать имя этого дарителя: конечно же, им мог быть только фрегаттен-капитан Франк Брефт, он же Франк-Субмарина. Что же касается «испанского коньяка из

самого сладостного винограда», то, скорее всего, Франк сам, с помощью галет, соков и еще каких-то там примесей, довел до виноградно-шоколадного букета какой-нибудь дешевый коньячок из портового кабачка. Он всегда был мастаком по части всевозможных винноконьячных смесей; судя по всему, в нем безнадежно умирала душа несостоявшегося винодела. «Подобно тому, — заметил Канарис, — как в тебе, руководителе абвера, в течение долгих лет умирали адмирал и моряк...» А вот то, что где-то рядом объявился этот авантюрист Франк-Субмарина, уже взбадривало. Хотел бы Канарис знать, кто именно сообщил Франку о месте его заключения.

— Ладно, давайте эту флягу, — сказал он дежурному офицеру. — Или, может быть, вы сами решили опустошить ее?

— Вдруг этот напиток и в самом деле... — засомневался теперь уже дежурный офицер.

— Бросьте, лейтенант!

— Может, сначала стоит попробовать мне?

Канарис оценил жертвенную преданность лейтенанта, но, пошутив по поводу того, что он может слишком увлечься подобной «ядо-дегустацией», почти силой отобрал у него флягу.

— Вы здесь ни при чем, лейтенант. Это мои дела, моя судьба, мой напиток и... моя отравка, — и тотчас же причастился несколькими глотками.

...Да, Эстадос. В воображении адмирала вновь возродился бурый скалистый мыс, которым остров предстал перед ними в то утро сквозь пелену тумана, и мечтательно прикрыл глаза. Этот мыс показался тогда обер-лейтенанту цур зее Канарису вратами в потусторонний мир, но он слышал, как ведавший технической службой корабля инженер-корветтен-капитан Марктоб сказал командиру крейсера:

— А ведь британцы самым наглым образом пытаются отрезать нас от Огненной Земли и прижать к острову. Видно, контр-адмиралу Крэдоку не терпится доложить в Лондон, что с Восточноазиатской [\[53\]](#) эскадрой германцев покончено.

— На месте командира «Глазго» я придерживался бы такой же тактики и действовал бы тем же наглым образом, — спокойно заметил фрегаттен-капитан фон Келлер, осматривая в бинокль едва вырисовывающиеся на горизонте очертания «англичанина», за которым, словно затаившиеся акулы, скрывались невидимые с борта «Дрездена» два эскадренных миноносца. — Есть более существенные предложения?

Командиры обоих кораблей берегли теперь снаряды и придерживались тактики выжидания. В этой гонке за беглецом британские эсминцы постоянно отставали от крейсера, лишая тем самым командира «Глазго» того естественного преимущества, на которое он рассчитывал. Хотя по своему вооружению британец был значительно мощнее устаревшего германского крейсера.

— Предлагаю скрыться в одном из фиордов Эстадоса, — молвил Марктоб, поеживаясь на ледяном юго-восточном, возможно, прорывающемся из самих глубин Антарктиды, ветру, — и дать им бой из засады. Перебросив перед этим на берег часть команды, продовольствия и всего прочего.

Фон Келлер со смертной тоской взглянул вначале на проплывавший по левому борту изрезанный мелкими фиордами берег Эстадоса, затем, все с той же тоской, — на корветтен-капитана.

— И как вы себе это представляете, инженер?

— Рассредоточив на берегу отряд матросов-стрелков, мы сможем превратить крейсер в плавучую крепость береговой охраны. Естественно, усилив ее



фортом, в который можно перебросить хотя бы одно из 57-миллиметровых орудий.<sup>[54]</sup>

— Как только вернемся в Германию, буду рекомендовать вас на пост начальника какой-нибудь морской базы или берегового укрепления в одной из колоний, — мрачновато изрек командир крейсера, хотя чувствовалось, что сейчас ему не до устройства судьбы корветтен-капитана.

— Там я, очевидно, буду чувствовать себя увереннее и полезнее.

Марктоб, лишь недавно переведенный на крейсер из полка береговой охраны, был убежден, что по-настоящему корабли могут проявлять свои качества лишь в прибрежных боях, соединяя собственные возможности с возможностями береговых батарей и фортификационных укреплений, о чем не раз говорил с Канарисом, рассчитывая найти в нем своего единомышленника. Однако командир «Дрездена» иронично называл его планы «береговыми грезами», категорически отвергая подобную тактику.

— Пока у крейсера есть хоть какая-то возможность для маневра, — несколько запоздало известил фон Келлер своим далеко не командирским фальцетом, которого всегда стеснялся в сугубо морской компании луженых басистых глоток, — он, следуя морским традициям, будет оставаться боевым кораблем, а не береговой мишенью для корабельных бомбардиров врага.

— Как прикажете, господин фрегаттен-капитан, — пожал плечами Марктоб и с каким-то явным подтекстом добавил: — Это очень важно для командира судна: следовать морским традициям...

Команда знала, что Келлеру удалось спасти свой корабль только потому, что бомбардиры ближайшего к «Дрездену» британского крейсера «Глазго» слишком

увлеклись артиллерийской дуэлью с израненным «Лейпцигом». И если бы он не струсил, а повел свое судно на сближение с англичанином, то, совместно с «Лейпцигом», наверняка смог бы отправить этот легкий крейсер королевского флота на дно. И теперь они — «Дрезден» и «Лейпциг», — возможно, спасались бы вместе.

Однако Келлер оставил «Лейпциг» на верную гибель, а сам, воспользовавшись ситуацией, покинул район сражения. Стоило ли удивляться, что теперь фрегаттен-капитан вовсю демонстрировал перед своими офицерами храбрость и воинственность. Тем более что после возвращения из атлантического рейдирования он рассчитывал на повышение в чине; соответствующее представление уже находилось в Имперском морском управлении.

— К тому же не исключено, что через час-другой здесь могут появиться еще и корабли аргентинской береговой охраны, чтобы интернировать нас вместе с кораблем.

— Еще и эти аргентинцы, черт бы их побрал! — только таким образом и мог Марктоб отступить от своей идеи.

Избавившись от навязчивого стремления Марктоба превратить Эстадос или какой-либо иной островок в базу военно-германских робинзонов, командир крейсера тотчас же по внутрикорабельной связи велел штурману взять курс на юго-западную оконечность огненно-земельного мыса Сан-Диего, чтобы оттуда уходить к Исла-Нуэва и дальше — к чилийскому острову Осте.

Поняв, что германец решил отказаться от поиска спасения в фиордах аргентинского Эстадоса, командир «Глазго» приказал дать по беглецу три залпа, однако все они прозвучали залпами отчаяния. Того отчаяния, с которым сами германские моряки мысленно прощались с островом.

Что ни говори, а этот суровый осколок земной тверди все еще представлялся тем единственным шансом на спасение, который только и мог быть подарен судьбой после неравного боя с осатаневшими, мстившими за поражение в битве при Коронеле британцами. В битве, во время которой сумел уцелеть только этот, один-единственный, теперь яростно преследовавший их корабль англичан — крейсер «Глазго».

Единственный уцелевший в битве при Коронеле английский корабль — против единственного германского корабля, уцелевшего в битве при Фолклендах! Командиру «Дрездена», человеку, не подверженному ранее никаким предрассудкам, явственно чудилось в этом нечто мистическое. Причем фрегаттен-капитан даже не пытался скрывать этого. Не зря же в своем коротком выступлении перед офицерами, собранными в кают-компании, он вдохновенно назвал это «знаком провидения», которое

должно привести всех их к спасению. И, кажется, согласились с ним все, кроме Марктоба.

— Понимаете ли вы, Канарис, что мы упускаем последнюю возможность для спасения корабля и людей? — попытался инженер-корветтен-капитан найти союзника в лице обер-лейтенанта, исполнявшего в последнее время обязанности адъютанта командира.

— Скорее одну из возможностей, — уклончиво обронил Вильгельм.

— Здесь можно было выброситься на прибрежную отмель; к этим испещренным бухточками берегам можно попытаться уйти на шлюпках, а за его полярными сопками можно было спастись от английских карательных команд — а значит, от гибели или плена.

Тогда ни Канарис, ни Марктоб еще не могли знать, что их крейсеру, как и многим из членов команды, придется погибнуть чуть позже, в территориальных чилийских водах у Мас-а-Тьерра. Но в то время им казалось, что в этой смертельной гонке их судну и в самом деле суждено выжить.

— Вы, господин инженер-корветтен-капитан, озабочены только тем, как бы спасти крейсер и его команду, а командир одержим стремлением победить в поединке с крейсером противника, — объяснил обер-лейтенант, — и в этом ваше принципиальное расхождение.

— Дело даже не в этом. Просто я принадлежу к «людям берега», а вы с фрегаттен-капитаном — к «людям моря», — проговорил инженер, наблюдая за тем, как крейсер разворачивается в сторону мыса, замерзающего под ледяными полярными ветрами в восточной части Огненной Земли.

— Стать морским инженером и при этом не принадлежать к «людям моря»? Как вам это удалось?

— Поинтересуйтесь у судьбы и обстоятельств, — незло огрызнулся Марктоб.

— Но коль уж судьба и обстоятельства оказались настолько беспощадными к вам, — мягко улыбнулся Канарис, — что забросили на палубу крейсера, то постарайтесь переметнуться к нам, потерянными для общества истинных землян «людям моря».

Марктоб дрожащими руками достал из бокового кармана галету, пакетик с которыми всегда носил с собой, и, отломив кусочек, принялся сосредоточенно жевать. Поговаривали, что при переводе с береговой базы корветтен-капитан прихватил с собой полный ранец галет, с которыми теперь не расставался. Продовольствия на судне пока что хватало, и питались моряки, особенно офицеры, более или менее сносно, однако Марктоб всегда носил в кармане, в маленькой, похожей на кисет, матерчатой сумочке несколько галет: потребность постоянно жевать куски этих ржаных пряничков давно превратилась для него в некую инстинктивную потребность.

— Пройдет немного времени, и вы, обер-лейтенант, поймете, насколько я был прав в своих предостережениях. Жаль только, что прозрение ваше окажется слишком запоздалым, а потому бесполезным.

— Вы слишком чувствительны для моряка, Марктоб, — благодушно проворчал Канарис, не желая ссориться с ним.

— А мне почему-то казалось, что вы достаточно мудрый человек, чтобы прислушаться к моим предсказаниям, — хоть и не обиделся, но все же огорчился корветтен-капитан.

Однако время показало, что в своих расчетах прав был все-таки фон Келлер: после двух часов бегства, уже в юго-западной части пролива Ле-Мер прижимавшемуся к скалистым берегам мыса Сан-Диего крейсеру

«Дрезден» все же удалось раствориться в тумане и окончательно уйти от преследования.

Новый, 1915 год германцы встречали, затаившись между островками в одном из бесчисленных фиордов севернее Магелланова пролива. Затем, уже чувствуя острейшую нехватку боеприпасов и продовольствия, фон Келлер повел свое боевое судно к более теплым северным островам чилийского архипелага Веллингтона, а оттуда, лавируя между островами, — к архипелагу Чонос.

Казалось, самое страшное осталось позади; тем не менее на борту назревало недовольство. Матросы понимали, что их судно уже не способно вести настоящие боевые действия, как понимали и то, что не могут рассчитывать на ремонт крейсера, а также на пополнение в этих краях топлива, продовольствия и боеприпасов. Единственное, что оставалось в данной ситуации, так это возвращаться в Атлантику, где можно было надеяться на подпитку с борта германского базового судна, а также на ремонт и отдых где-нибудь у берегов Уругвая или Бразилии. Именно этого и добивалась делегация матросов, решительно потребовавшая в бухте у острова Патрисио-Линч встречи с командиром.

Бунт на боевом германском судне, на котором доселе поддерживалась жесткая дисциплина, казался Канарису — к которому, как к адъютанту, обратилась эта делегация, — делом совершенно немыслимым; и все же он назревал.

Канарис наблюдал за переговорами делегации бунтовщиков с командиром судна с особым напряжением. За день до этой встречи матросы обратились к нему с предложением возглавить их группу, однако Вильгельм благоразумно отказался от сомнительной чести предстать перед фон Келлером в роли руководителя «группы преданных Германии

спасителей корабля». Хотя мысленно поддерживал их требования. Да, тогда у него еще хватило благоразумия не оказаться в лагере висельников-бунтовщиков...

Кстати, Канарис знал, что одним из подстрекателей к бунту оказался корветтен-капитан Марктоб. И хотя тот был слишком осторожным, чтобы возглавить партию бунтовщиков в открытую, все же матросы ощущали его тайную поддержку, а самые радикальные из них даже рассчитывали, что именно он сумеет со временем возглавить команду. Правда, некоторые из них заподозрили корветтен-капитана в трусости и двуличии, а потому решились обратиться к нему, Канарису. Обер-лейтенант выслушал их молчаливо, но демонстрируя при этом полное понимание существа конфликта. Правда, о некоторых подробностях бунта доносить командиру он не стал, однако ясно дал понять корветтен-капитану, что замыслов его не разделяет.

— Мне с трудом удастся представить себе, — откровенно признался он Марктобу, — каким образом вы собираетесь объяснять свои действия германской военной прокуратуре.

— А зачем доводить дело до прокуратуры? В океане есть немало прекрасных теплых островов, на которых наша команда могла бы основать свою колонию: Полинезия, Фиджи, Соломоновы острова... Чудесный климат, богатая растительность и два форта, прикрытые на оконечностях бухты оставшимися на крейсере орудиями.

— Вам нельзя увлекаться пиратскими романами, Марктоб. Понимаю, что кое-кому не дают покоя лавры бунтовщиков печально известного судна «Баунти», но вспомните, сколь трагическим было завершение всей этой пиратско-романтической истории.

— И все же вы неубедительны, Канарис. Колония на одном из экваториальных островков — это куда привлекательнее гибели у берегов Огненной Земли или

даже лагеря интернированных на одном из малообитаемых, продуваемых всеми антарктическими ветрами чилийских островков. Убежден, что очень скоро вы со мной согласитесь.



К счастью для смутьянов, фрегаттен-капитан фон Келлер не счел появление у своей каюты небольшой делегации моряков проявлением бунта или неповиновения. Командир «Дрездена» прекрасно помнил о своем «прегрешении трусостью» у фолклендских берегов, поэтому, доброжелательно выслушав матросов, заверил, что именно это — «уйти в спасительную Атлантику» — он и намерен предпринять. Но не сразу, по крайней мере не сегодня, а как только позволит ситуация, то есть как только удастся окончательно избавиться от грозной опеки англичан да немного подремонтировать судно.

К тому же фон Келлер напомнил матросам, что англичане все еще преследуют их, и спасение корабля зависит теперь от строгой дисциплины и сплоченности команды. А также пообещал, что, как только удастся оторваться от преследовавшего их крейсера «Глазго», он устроит для всей команды двухнедельный отпуск на берегу какой-нибудь из латиноамериканских стран.

Словом, услышав традиционное: «Понимаете, к чему я клоню?» — которым фрегаттен-капитан обычно завершал любой разговор, матросы согласились, что в общем-то он прав, и, вежливо поблагодарив командира за то, что «выслушал представителей команды», разошлись по своим местам.

Действительно, дни шли за днями, а крейсер-мститель «Глазго» все еще упорно бродил где-то рядом, словно хищник, пытающийся выследить раненую, теряющую силы добычу. Со временем фон Келлер убедился, что англичанин, словно опытный охотник, не откажется от своей добычи, поэтому спокойно отсидеться-подремонтироваться в одной из тихих

чилийских бухт его крейсеру вряд ли удастся. А значит, следовало решаться на какой-то неординарный шаг. Единственный, к кому он реально мог обратиться в этой ситуации за советом и поддержкой, оставался обер-лейтенант Канарис. И в выборе своем командир не ошибся.

Еще во время службы в чине обер-фенриха на крейсере «Бремен» Канарис принимал участие в блокаде Венесуэлы.<sup>[55]</sup> Именно тогда он по-настоящему «заразился» испанским языком и традициями идадьго, а посему принялся за их изучение, упорно пытаясь присовокупить к своему прекрасному английскому, неплохому французскому и терпимому русскому еще и знание испанского языка.

И дипломатические навыки, а также знание языка и традиций аборигеновгодились Канарису, когда при входе в извилистую бухту какого-то островка «Дрезден» чуть было не протаранил небольшой катер чилийской береговой охраны «Темуко».

Как выяснилось, командир катера уже знал о бедственном положении этого малого германского крейсера и о том, что его преследует крейсер англичан. Встреча с германцем в бухте своего острова оказалась для командира катера дона Нордино полной неожиданностью, однако он не только не растерялся, но и повел себя на удивление дерзко.

Наведя на «Дрезден» свой единственный пулемет, Нордино с помощью рупора потребовал от фон Келлера разоружить команду и вместе с ней принять статус интернированного. Причем потребовал этого в таких тонах и выражениях, что Канарису, выступавшему в роли переводчика, пришлось смягчать их, дабы не раздражать командира крейсера, который и так уже схватился за пистолет и нервно поигрывал им.

Однако все старания переводчика оказались напрасными. Услышав о требовании командира катера, барон фон Келлер просто-таки озверел от наглости «чилийского аборигена». Ясное дело, подчиняться требованию сторожевика он не собирался. С какой стати?! Одного снаряда любого из орудий крейсера достаточно было, чтобы разнести этот ржавый катерок в клочья.

Впрочем, существовал и другой вариант: прижать «Темуко» к ближайшим скалам и протаранить, дабы не привлекать стрельбой внимание англичан. Именно к этому и склонялся впавший в сомнения командир крейсера.

Казалось, уже ничто не способно было изменить намерения фрегаттен-капитана, но стоило Канарису уловить суть его замысла, как он тут же предложил фон Келлеру свой вариант:

— Мы ведь по-прежнему не находимся в состоянии войны с чилийцами, разве не так? — спросил он.

— Однако некоторые из них, — кивнул командир в сторону катерка, — уже пытаются воевать с нами. Понимаете, к чему я клоню?

— Всего лишь пытаются, господин фрегаттен-капитан. Так стоит ли доводить дело до пальбы и раздражать чилийские власти? Тем более что, потопив этот катерок, мы можем спровоцировать власти Чили на объявление нам войны. Что крайне нежелательно.

— Чили? Войну Германии?! — грубовато хохотнул Келлер, но, вспомнив, что за подобную провокацию он может пойти под суд даже на родине, с трудом согнал ухмылку с лица. — Хотя вы правы: дело не в реальных боевых действиях, а в дипломатических демаршах и политическом скандале.

— Именно этого нам и следует опасаться.

— Хотите сказать, что у вас созрел какой-то план? Кажется, вы намерены что-то предложить, обер-

лейтенант, разве не так? — вдруг с надеждой спросил фон Келлер. И только теперь Канарис понял, что поигрывание пистолетом, как и желание растереть катерок о прибрежные камни, следовало воспринимать всего лишь как браваду.

— Вы правы, господин фрегаттен-капитан, намерен. Позвольте перейти на борт катера «Темуко» и от вашего имени провести переговоры.

— Переговоры? С командиром этого катера?! — презрительно поиграл желваками фон Келлер. — Разве что о том, каким способом предпочтительнее отправлять его на дно.

— Это самый нежелательный вариант, поэтому начнем с того, как бы нам мирно разойтись, сохранив достоинство каждой из команд, — объяснил Канарис.

Какое-то время Келлер наблюдал за сторожевым катером, на котором ждали его решения, и молчал.

— Ваши переговоры закончатся тем, что чилийцы возьмут вас в заложники и, во имя вашего спасения, потребуют от меня сдать крейсер. Понимаете, к чему я клоню?

— Они не похожи на пиратов. Обычные сторожевики. Поскольку раскаты мировой войны, которой охвачена чуть ли не вся Европа, докатываются и до берегов Чили, правительство этой страны пополнило свой сторожевой флот всевозможными рыбацкими шхунами и катерами. По-моему, одну из таких шхун вы и наблюдаете сейчас в этой бухте.

— Это не помешает им взять вас под арест как офицера судна, которое вторглось в территориальные воды Чили, — раздраженно объяснил фон Келлер. — Какие-либо действия против германского крейсера для капитана этой ржавчины — способ отличиться в глазах своего городка и поселка, а также в глазах властей. Поэтому они пойдут на любую провокацию, чтобы обострить отношения с нами.

— Глядя на имеющиеся на «Дрездене» следы от артиллерийских дуэлей, именно так они и могут повести себя, — признал Канарис. — К тому же они понимают, что в данном случае англичане выступают в роли их союзников.

— Значит, и этот вариант разрешения конфликта отпадает? — нерешительно, упавшим голосом предположил командир крейсера.

— Ни в коем случае.

— Неужели у вас созрел еще один план? — оживился фон Келлер.

— В подобных делах риск всегда существует, но именно поэтому прикажите как можно скорее переправить меня на борт «Тему ко».

Еще с минуту фрегаттен-капитан натужно двигал туда-сюда острыми желваками, словно пытался разорвать ими туго натянутую кожу. При этом худощавое бледное лицо его не выражало ничего, кроме запоздалой и теперь уже совершенно бесполезной прусской спеси.

— Вы, конечно, храбрый офицер, обер-лейтенант...

— Благодарю, господин фрегаттен-капитан.

— К тому же я помню, что вам уже не раз приходилось вступать во всевозможные переговоры.

— Их было не так уж и много, — попытался Канарис заполнить очередную паузу, которой командир крейсера сопровождал каждую свою фразу.

— Не время заниматься бухгалтерией; главное, что у вас появился кое-какой опыт общения с этими латиносами.

— Именно так: кое-какой опыт, — признал Канарис.

— Так попытайтесь же еще раз блеснуть своим талантом дипломата, — завершил свою мысль фон Келлер. — На свой страх и риск, естественно. Понимаете, к чему я клоню?

Канарис угрюмо помолчал и более чем сдержанно произнес:

— По крайней мере, пытаюсь понять.

Фрегаттен-капитан приказал спустить шлюпку, но прежде чем позволить Канарису сесть в нее, подошел и, немного помявшись, извиняющимся, некстати осевшим голосом проговорил:

— Я знаю, что вы проявляете недюжинные способности в дипломатии...

— Вы уже говорили мне об этом, господин фрегаттен-капитан.

— Однако не уверен, что на этой ржавой посудине найдется человек, способный оценить ваши способности. Понимаете, к чему я клоню?

— Попытаюсь быть предельно убедительным.

— Трудно предположить, как сложатся ваши переговоры, зато совершенно нетрудно понять, что чилийцы попытаются арестовать вас, чтобы допросить, или использовать в виде заложника.

— Стоит ли гадать?

— Не гадать, а предвидеть, — сухо уточнил Келлер. — Понимаете, к чему я клоню?

— Через несколько минут все прояснится, — беззаботно успокоил его Канарис.

— Мне не хотелось бы, чтобы вы оказались в их руках, обер-лейтенант.

— В таком случае наши желания сходятся.

— Вы не поняли меня, обер-лейтенант, — голос командира крейсера становился все жестче и жестче. — Я хотел сказать, что было бы крайне нежелательно, чтобы вы оказались в их руках. Крайне нежелательно, понимаете, к чему я клоню?

— Французы в таких случаях успокаивают себя: «На войне как на войне!»

— Мне плевать на то, что по данному поводу думают французы, — хрипловато проговорил фон Келлер. Он никогда не скрывал своего презрительного отношения к представителям всех наций, кроме германской. Порой Канарису казалось, что этой странной брезгливости по отношению ко всем инородцам барон подвержен от рождения. — Вы в принципе не должны оказаться в руках этого дона, как его там...

— Постараюсь.

— Да уж потрудитесь! — сейчас командир крейсера говорил таким раздражительным, агрессивным тоном, словно подозревал, что обер-лейтенант сам намерен предложить себя чилийцам в качестве заложника или пленного. — Иначе придется топить катер аборигенов вместе с вами. Вы ведь понимаете, что это совершенно недопустимо — чтобы вы предстали перед чилийской контрразведкой, а то и перед правосудием?

Они встретились взглядами, и Канарис понимающе кивнул.

— Установка ясна, господин фрегаттен-капитан. Я найду способ уйти.

— То есть сумеете бежать? — скептически уточнил командир крейсера, решив, что обер-лейтенант опять не понял его намека.

— Я сказал именно то, что сказал, господин фрегаттен-капитан: «уйти», — не стал на сей раз деликатничать с ним Канарис. — То ли от чилийских пограничников, то ли из жизни.

— Вот это уже решение истинно германского офицера, — похвалил его командир «Дрездена».

— Для меня это высшая похвала, — искренне, без малейшего налета иронии, молвил обер-лейтенант.

— И дай-то Бог, чтобы... Словом, вы понимаете, к чему я клоню.

Отходя на шлюпке, Канарис захватил с собой только бутылку французского коньяку и коробку гаванских



сигар из запасов командира. В успехе он не сомневался, а вот настроение фрегаттен-капитана ему решительно не нравилось. Единственное, чего он опасался, — чтобы командир крейсера не приказал открыть огонь еще до того, как с катера сообщат, что его офицер арестован.

И расчет обер-лейтенанта оказался точным: еще недавно этот катер был всего лишь обычной рыбацкой шхуной, и теперь его командир и владелец чувствовал себя польщенным тем, что командир мощного боевого корабля прислал к нему офицера-парламентера. Это сразу же настроило его на великодушный лад. К тому же Канарис довольно быстро сумел определить главную цель командира сторожевика: этот сорокалетний разбитной моряк, потомок какого-то испанского идадьго и настоящий морской бродяга по совместительству, хотел всего лишь одного: чтобы германцы отказались от захода в бухту, на берегу которой располагался его родной рыбацкий поселок.

Канарис попытался объяснить, в каком сложном положении оказалась команда крейсера, и заверить, что она не собирается ни нападать на поселок, ни причинять какие-либо неудобства его жителям. Наоборот, многие рыбаки смогут немного подработать, продавая морякам вино и всевозможные продукты. Однако на доне Нордино, в пропахшей рыбой и водорослями каюте которого они пытались договориться, эти его доводы никакого впечатления не производили.

— В поселке всего лишь четыре сотни жителей, — мрачно просветил Канариса «дон капитан Нордино», как он себя величал. — И очень мало ружей. Поэтому мы хотим жить в мире.

— Разве вам кто-либо угрожает?

— Уже трижды на нас нападали пираты, обосновавшиеся на лесистом острове в десяти милях отсюда.

— Господи, откуда здесь взяться пиратам?! — артистично удивился Канарис.

— В основном это моряки с какого-то затонувшего неподалеку колумбийского судна, к которым присоединились группа беглых чилийских каторжников и несколько непонятно как оказавшихся здесь аргентинцев. В стычках с ними мы потеряли шестерых жителей, в том числе двух молодых женщин, которых эти бандиты похитили. Только поэтому мы сами уговорили пограничного начальника нашего края превратить шхуну «Темуко», названую так по названию поселка, в сторожевой корабль.

— Если вы позволите нашему крейсеру войти в бухту, чтобы подремонтироваться, никакие пираты сюда не сунутся.

— Пираты, возможно, не сунутся, зато вместо них придут англичане и разнесут поселок Темуко из своих орудий, — мрачновато ухмыльнулся дон Нордино. В облике этого человека не было ничего аристократического. Это был грузный неповоротливый увалень, с морщинистым лицом беглого каторжника и взглядом человека, привыкшего к отчаянному риску. — Нет, этот вариант я уже обдумал. Все сложилось бы по-иному, если бы команда вашего крейсера сдалась.

Канарис демонстративно расхохотался, сосредоточенно всмотрелся в выражение лица командира катера и вновь расхохотался.

— Сдаться вам, дон капитан?!

— Не пытайтесь оскорблять меня, обер-лейтенант, — вспомнил о своей испанской гордыне дон Нордино. — Это никогда не остается безнаказанным.

— Тогда почему вы решаетесь оскорблять меня, германца?! Вы всерьез полагаете, что команда лучшего крейсера германского Военно-морского флота сдастся команде вашего катерка из пяти необученных военно-морскому делу рыбаков?!

— Зато мы сделаем все возможное, чтобы ваше интернирование выглядело как можно почетнее. К тому же всегда были бы благодарны за подаренный нам корабль. Если же сюда сунутся англичане, отбиваться будем вместе. Хотя вряд ли они решатся на войну с нашим государством.

— Но ведь власти сразу же отберут у вас крейсер, дон капитан, чтобы превратить его в свой боевой корабль.

Капитан решительно покачал головой.

— Этого мы не позволили бы, поскольку этот вариант я тоже обдумал. Мы посадили бы крейсер на прибрежную банку и использовали его как приморский форт. Представляете, каким мощным был бы этот форт! Ни один пират на наш остров не сунулся бы. Крейсер в виде форта и шхуна «Темуко» в роли разведывательного корабля. Оставалось бы возвести пару огневых точек на самом острове — а власти поощряют островитян, которые заботятся о безопасности своих островов, каких у нас до сотни, — и наш горный поселок превратился бы в неприступную крепость.

Канарис понимал, что дону капитану нужно выговориться, поэтому сагу его об острове-крепости и крейсере-форте выслушивал терпеливо, всячески изображая и демонстрируя неподдельный интерес. В иллюминаторе плавно покачивались на небольшой волне два грубо сработанных из дикого, почти необработанного камня строения, одно из которых, очевидно, служило рыбацким лабазом, а в другом наверняка располагалась контора местной артели. Весь остальной поселок скрывался за прибрежной грядой, и существование его угадывалось лишь по увенчанному крестом шпилю местного храма.

Нужно было отдать должное капитану Нордино: он не лишен воображения, любил пофантазировать, и

Канарис был слегка разочарован, узнав, что мэром поселка, а значит, и губернатором островка, оказался другой человек, местный учитель, — тихий, богобоязненный и нерешительный. На вопрос, почему же так произошло, что мэром оказался не он, дон капитан снисходительно пожал плечами:

— Так решили власти. Хотя какое это имеет значение? Да, со всеми своими хлопотами жители, конечно же, идут к губернатору, но сам губернатор затем идет ко мне. Оказывается, такой порядок вещей устраивает всех, даже наши континентальные власти.

— Главное, что он устраивает вас, — подыграл ему парламентар.

— Вы правильно уловили суть. Кстати, мне хотелось бы осмотреть ваш корабль. Никогда в жизни не был на крейсере, даже на чилийском... если только он у нас имеется... — и капитан вопросительно взглянул на Канариса.

— Вряд ли командир германского крейсера позволит вам это, — как можно мягче ответил обер-лейтенант. — И его можно понять: не положено. Командир чилийского крейсера поступил бы точно так же, — заверил он дону капитана. — Если вас интересует командирская каюта, то вряд ли ее можно назвать апартаментами. Никакого сравнения с каютами некоторых пассажирских лайнеров.

— Уверен, что со временем на вечной стоянке в бухте появится и пассажирское судно... — поделился своими надеждами капитан Нордино. — С детства хотелось пожить на настоящем судне, а не на этом катерке.

Только теперь Канарис вспомнил о корветтен-капитане Марктобе, давно мечтавшем основать некий островной поселок германских моряков. Вот кого следовало послать на переговоры к дону капитану, вот кто сумел бы оценить планы чилийца!

— Однако мы отклонились от сути разговора, ради которого я прибыл на «Темуко». Мой командир откажется воспринимать причину столь затянувшихся переговоров.

Они выпили по рюмке коньяку, выкурили по сигаре — и сошлись на том, что капитан «Темуко» уводит свою «грозу морей» в бухту, к причалу родного поселка, и забывает о встрече с крейсером, а командир крейсера отказывается от захода в бухту, чтобы не лишать спокойствия обитателей поселка.

— Так вы не пригласите меня на крейсер? — прищурился дон капитан. — Хотя бы из гостеприимства.

— Военные суда созданы не для демонстрации радушия, — напомнил ему Канарис. — К тому же я опасаюсь, что, выслушав ваши требования о сдаче, мой командир не только не отпустит вас, но и потребует сдачи команды катера.

Канарис не был уверен, что капитан Нордино поверил в возможность такого исхода его визита, но прощание выдалось сухим и даже несколько жестковатым.

Выслушав доклад Канариса после его возвращения с «Темуко», фон Келлер проводил взглядом уходившую в глубину бухты-фиорда сторожевую шхуну, затем, воспрянув духом, прямо у трапа объявил обер-лейтенанту благодарность и сразу же велел зайти к нему в командирскую рубку

Прежде чем спуститься по трапу в командный кубрик, Канарис взглянул на гряды зеленовато-рыжих холмов, открывающихся сразу же за береговой линией ближайшего островка. Здесь, за пятидесятой параллелью, природа теряла свою антарктическую суровость, и на прибрежных склонах появлялись приземистые сосны, обрамленные каменистыми лугами сочной темно-зеленой травы.

«А что, — вдруг подумалось обер-лейтенанту, — возможно, фантазер-романтик Марктоб и в самом деле прав: поставить крейсер на прикол в одной из бухт, превратив его в бронированный плавучий отель, затем построить на берегу некое подобие форта и таким образом сотворить своеобразное крейсерско-фортовое поселение, которое стало бы пристанищем будущих германских рыбаков и охотников. В этом что-то есть. Во всяком случае, дону капитану это понравилось бы...»

— Это верно, что вы были советником и помощником командира крейсера «Бремен» во время его дипломатических переговоров с правительственными чиновниками Венесуэлы и Колумбии? — спросил фон Келлер, как только Канарис вновь предстал перед ним.

— Так точно, господин фрегаттен-капитан. Среди прочего, мне в каком-то роде приходилось прибегать и к дипломатии. Миссия эта была не из легких, но что поделаешь?

Фон Келлер предложил Канарису кресло, сам тоже уселся за стол и заглянул в раскрытую папку.

— Следует полагать, что вы и в самом деле проявили некий талант дипломата, если командир отметил этот факт в вашей аттестационной характеристике, записав, что хорошая военная

подготовка и умение ладить с людьми дополнялись вашей личной скромностью, послушанием и вежливостью, а главное, что президент Венесуэлы наградил вас орденом Боливара V степени.

— В начале наших переговоров президент заподозрил меня в шпионаже и чуть было не отдал в руки своих костоправов-контрразведчиков, но затем так расчувствовался, что удостоил самой почетной награды своей страны, — сдержанно объяснил Канарис. — Будем считать это делом случая.

— Причем в обоих случаях президент оказался прав, — едва заметно ухмыльнулся командир крейсера.

— Если, конечно, не принимать во внимание прихоти сильных мира сего.

— Но, похоже, никакие прихоти не помешали вам создать свою собственную разведывательную сеть... — не глядя на обер-лейтенанта, отбарабанил пальцами фон Келлер. Он понимал, что вторгается в запретную часть биографии своего подчиненного, и в иной ситуации, конечно же, не решился бы затевать с ним подобные разговоры.

— Сначала мне удалось наладить агентурную сеть, а уж потом с ее помощью влиять на умонастроения венесуэльцев и прочих аборигенов, — не стал Канарис лишний раз сотворять ореол таинственности вокруг своего прошлого.

— А затем, уже во время службы на «Дрездене», по настоянию моего предшественника вы лично сумели убедить свергнутого президента Мексики генерала Гуэрта подняться на борт крейсера, чтобы покинуть страну. [\[56\]](#)

— На что он решался крайне неохотно, поскольку еще были силы, на которые он мог опереться. Удержаться у власти он уже вряд ли сумел бы, но

потянуть с официальной отставкой, навязать оппозиции вооруженную борьбу за власть...

— То есть, по существу, вы избавили Мексику от полномасштабной гражданской войны.

— Так уж сложились обстоятельства, — скромно признал Канарис, словно бы оправдывался перед командиром крейсера.

— Обстоятельства складываются так, как мы их формируем.

— Может быть, поэтому тогдашний командир германского крейсера считал себя вправе вникать в тонкости политической борьбы, разворачивавшейся в латиноамериканских странах.

— «Германского крейсера», — уловил подтекст его слов фон Келлер. — И как же к этому относились в Берлине?

— Когда как: то с пониманием, то с раздражением.

Фрегаттен-капитан налил ему и себе аргентинского вина, они пригубили его и вновь обменялись заинтригованными взглядами.

— Вице-адмирал фон Шпее уверял меня, что еще в 1908 году, во время службы на «Бремене», вам удалось создать собственную агентурную сеть в Бразилии и Аргентине. Это действительно так?

— В этом перечне вы забыли упомянуть Уругвай.

— Почему же вы не остались в разведке, на которую все это время работали? Понимаете, к чему я клоню?

— Это не я на разведку, это разведка работала на меня, — улыбнулся Канарис покровительственной улыбкой босса венесуэльского наркокартеля.

Командир крейсера недоверчиво повел подбородком и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Это он, фон Келлер, мог позволять себе изводить собеседника длительными паузами после каждой сказанной фразы; что же касается недомолвок и пауз других, то они раздражали барона, как способно



раздражать всякое проявление простаковатости или откровенного неуважения.

— Уж не хотите ли вы сказать, что исполняли обязанности командующего германским флотом в Западной Атлантике?

— Командование Кригсмарине, к сожалению, не позаботилось о моем назначении на этот пост. Зато благодаря радистам, располагавшимся на мысе Пунта-дель-Эсте в Уругвае и в устье аргентинской реки Рио-Саладо, мы получали точные сведения о базировании и передвижении английских судов в стратегическом районе залива Ла-Плата, а значит, на подступах сразу к двум столицам — Буэнос-Айресу и Монтевидео. Что, в свою очередь, позволяло нам уверенно действовать на важнейших коммуникациях противника в Южной Атлантике.

— Достойно уважения, достойно... Понимаете, к чему я клоню?

— В 1908 году с помощью, так сказать, радионаведения нам удалось потопить два судна в заливе Ла-Плата и еще одно — в районе залива Байя-Бланка. Но самое главное, что и во время нынешнего похода, благодаря активности нашей давнишней агентуры, вице-адмирал Шпее все еще обладал точными сведениями о составе и действиях английской эскадры.

— Именно поэтому адмирал фон Шпее на какое-то время перевел вас к себе, на свой флагманский крейсер «Шарнхорст», и даже выделил отдельную рубку?

— На какое-то время, как вами верно замечено. Ему хотелось держать меня под контролем, получая при этом самую свежую информацию об англичанах и действиях латиноамериканских властей.

— Благодаря чему первого ноября прошлого года адмирал фон Шпее почти полностью истребил эскадру

англичан в битве под Коронелем, — задумчиво кивал фон Келлер.

— К сожалению, в ней уцелел крейсер «Глазго», который преследует нас теперь.

— Что же касается лично вас, — подытожил командир крейсера их общий экскурс в недалекое прошлое, — то за участие в этой битве, а также за умелые разведывательные действия вы были награждены Железным крестом второй степени.

Канарис неопределенно качнул головой, и в каюте воцарилось томительное молчание, во время которого фрегаттен-капитан сидел, ухватившись руками за кончики стола и глядя куда-то в пространство.

Из раздумья его вырвал некстати оживший телефон, по которому вахтенный офицер сообщил, что перехвачена шифрограмма с крейсера «Глазго». Дешифровщик утверждает, что теперь уже англичанину известно, где прячется «Дрезден», и сообщает командующему эскадрой вице-адмиралу Стэрди, что намерен добить его, хотя еще в бою у мыса Коронель получил шесть попаданий, да и в бою у Фолклендов несколько снарядов его тоже не миновали.

— А где именно находится сейчас «Глазго»? — спросил фон Келлер.

— Приблизительно милях в двадцати от залива, в котором мы намеревались отсидеться. Причем из шифрограммы явствует, что пребывание германца в территориальных водах Чили, боевые действия в которых с точки зрения международного морского права недопустимы, командира англичан не смущает.

— А вот и ответ на все еще не заданный вами вопрос, почему я пригласил вас к себе, — молвил фрегаттен-капитан, передав Канарису смысл сообщения вахтенного офицера. — Не исключено, что вам придется вступить в переговоры и с этим мнительным англичанином — командиром «Глазго».

— Я постараюсь вступить в переговоры с ним. Но ситуация в общем-то... фронтовая и для нас почти безысходная. Если мы начнем переговоры еще до того, как состоится дуэль между нашими крейсерами, то смысл их может заключаться только в одном: условиях нашей сдачи в плен.

— Но мы сейчас говорим не о сдаче в плен.

— Мы с вами — не о сдаче. О ней разговор пойдет позже, когда моя шлюпка причалит к борту англичанина.

— Однако вы должны будете говорить с капитаном второго ранга Бредгоуном на равных.

— Не получится, — откровенно предупредил фон Келлера обер-лейтенант. — И не только потому, что существует разница в чине. Куда важнее разница в положении, в котором оказались наши суда, в боевом настрое команд.

Командир «Дрездена» недовольно побряхтел. В ответе адъютанта явно прозвучал намек на то, что ему, фон Келлеру, следовало бы самому вступить в переговоры со своим британским коллегой.

— Нет, я понимаю, что вы не можете отправиться на борт вражеского судна, — поспешил заверить его Канарис. — Это исключено уже хотя бы исходя из мер предосторожности. И потом, я ведь буду вести переговоры исключительно от вашего имени.

— Это уж как водится, — мрачновато согласился фон Келлер.

— Однако британцы в самом деле ждут от нас только одного — капитуляции. Причем, как они считают, задача их будет усложнена прежде всего проблемой размещения пленных германских моряков, их содержания. Крейсер «Глазго» — не то судно, которое способно приютить такую массу пленных и доставить их хотя бы к берегам одной из английских колоний. И потом... — Эту фразу Канарис не завершил.

И не потому, что фрегаттен-капитан удивленно уставился на него. Просто он вдруг понял, что увлекся общими рассуждениями.

— Мне нравится ваша рассудительность, Канарис, — проговорил фон Келлер, попыхивая сигарой. — Ваше умение предвидеть развитие ситуации. Но вы забываете, что «Дрезден» все еще на плаву и неплохо вооружен.

Канарис нервно поиграл-подергал правой щекой, как делал это всякий раз, когда предавался раздражению.

«Если ты как командир судна не намерен сдавать его, то какого дьявола готовишь меня к переговорам с командиром англичанина?! — мысленно возмутился он. — Какие такие условия я могу выдвинуть командиру «Глазго»?! Разве что попытаться уговорить его убраться со своим крейсером восвояси, последовав примеру капитана чилийского сторожевого «рыбака»? Или, может, прикажешь стать перед британцем на колени, чтобы ублажить его молитвами?!» Однако, не желая обижать командира крейсера, вслух произнес:

— Именно к этому я и веду, господин фрегаттен-капитан. Начинать следует с рыцарской «дипломатии корабельных орудий», а уж затем, если «стальные доводы» наших бомбардиров окажутся недостаточно убедительными, попытаемся поговорить с англичанами о чем-нибудь таком — ну, скажем, о канонах международного морского права, чилийских территориальных водах и обо всем прочем.

— Вот именно, — ухватился за эту идею фон Келлер, — о чилийских территориальных водах. Мы будем находиться в них, и англичане вряд ли рискнут нарушить один из нерушимых канонов морского права.

Канарис чуть было не воскликнул: «Можете не сомневаться: нарушат! Теперь они готовы нарушить все законы, земные и небесные», — поскольку понимал, что

команда «Глазго» жаждет во что бы то ни стало отомстить германцам за жесточайшее поражение своей эскадры в битве при Коронеле. Однако из деликатности огорчить командира не решился, поэтому сказал:

— Мы демонстративно должны держаться поближе к чилийским берегам, заставляя англичан предельно рисковать. Это должно стать нашей тактикой.

— И что она даст нам, эта прибрежная тактика?

— Пусть в погоне за германским трофеем англичане пренебрегают и международным морским правом, и опасностью того, что случайный снаряд может залететь на берег нейтральной страны. В конечном итоге это заставит капитана Бредгоуна хорошенько понервничать по поводу того, как в Лондоне отреагируют на учиненный им политический скандал.

Появившись в своем служебном кабинете к семи утра, Мюллер тотчас же принялся за изучение дела адмирала Канариса. Какое-то время он год за годом, документ за документом отслеживал страницы бурной биографии адмирала, с которой, по количеству должностных перемещений ее носителя, ни один высокопоставленный чиновник рейха сравниться не смог бы.

И что любопытно, удивлялся Мюллер, в любой должности, в любой сфере деятельности Маленький Грек преуспевал! Он был помощником военного атташе в Испании и резидентом разведки в этой же стране. Когда ему поручили командование субмариной U-34, это судно в течение полутора лет наводило ужас на команды английских и французских судов, плававших в Средиземном море. Несмотря на жесточайшее поражение Германии в Первой мировой войне, Канарис возвратился со своей непобедимой субмариной в Киль — последнюю подвластную германцам военно-морскую базу — и наладил там связь с местными отрядами самообороны, нередко вступая от их имени в переговоры с частями кайзеровской армии. Не исключено, что в те времена Вильгельм мнил себя Наполеоном и был готов встать во главе возрождающейся германской армии. Но не случилось.

Затем были: штаб министерства обороны, база в Свинемюнде, крейсера «Берлин» и «Силезия», штаб эскадры в Вильгельмсгафене и, наконец, участие в Капповском путче...

Однако наиболее пристальное внимание Мюллера все же привлекла история, связанная с организацией убийства германских коммунистов Карла Либкнехта и

Розы Люксембург. Поначалу Мюллер не придавал этому эпизоду из дела никакого значения, но потом вдруг интуитивно почувствовал: за ним скрывается кое-что интересное.

Полистав все имеющиеся по этому событию документы и свидетельские показания, группенфюрер вдруг открыл для себя любопытный факт, который даже его, шефа гестапо, удивил своим цинизмом. Канарис был одним из организаторов убийства коммунистов, и он же был включен в группу, занимавшуюся расследованием этого громкого политического преступления; затем Маленький Грек добился того, что стал членом суда, рассматривавшего дела убийц, и в конечном итоге организовал побег из тюрьмы одного из осужденных.

Ничего не скажешь, лихо закручено, лихо! Да он просто-таки мастер по организации побегов, сказал себе Мюллер. Побег из лагеря интернированных германских моряков, располагавшемся на каком-то тихоокеанском чилийском острове; более тысячи километров «бега» по территориям Чили и Аргентины; побег из камеры смертников римской тюрьмы, организация побега убийцы коммунистов... Интересно, какой сценарий «операции «Побег»» разрабатывает он на сей раз? И знает ли следователь по его делу, оберштурмбаннфюрер Кренц, о таланте Канариса как «бегуна»?

Мюллеру вдруг вспомнился один диверсант по кличке Коршун, которого русская разведка специально готовила для того, чтобы, проникая с разными документами и легендами в лагеря советских военнопленных, он мог выявлять и обезвреживать там предателей, а главное, организовывать побеги тех людей, которых разведка или Смерш хотели вытащить из плена. То ли для того, чтобы действительно спасти, то ли для того, чтобы основательно «выпотрошить» и

затем судить. Оказалось, что, прежде чем Коршун попал в поле зрения абвера и гестапо, он успел шесть раз сдать в плен, организовать шесть групповых побегов из различных лагерей и «нейтрализовать» добрых два десятка завербованных абвером или просто спасающих свою шкуру и выслуживающихся перед лагерной администрацией красноармейцев.

Когда группенфюреру сообщили об этом диверсанте-уникуме, он поначалу усомнился: неужели русские научились готовить даже таких специалистов?! Буквально в последние минуты он вырвал Коршуна из рук карательной команды, которая должна была повесить его посреди лагерной площади, и долго беседовал с ним. Это был худощавый жилистый крестьянин тридцати двух лет, с волевым, непроницаемым лицом американского индейца, сумевший осуществить свой первый, но по замыслу весьма хитроумный побег еще в детстве, из детдома женского лагеря, в котором сидела его мать. Затем были два дерзких побега из колонии несовершеннолетних и из здания милиции; были скитания по Поволжью и жесточайшая проверка на выживание во время массового голода в Украине. Кстати, в поле зрения русской разведки он попал уже после того, как бежал сначала из сибирской ссылки, затем из штрафного батальона; а еще — из германского лагеря военнопленных, куда попал в июле сорок первого, и из русского фильтрационного лагеря, где его воспринимали как германского агента.

Несмотря на свой неказистый вид, Коршун обладал немалой физической силой и почти идеальным здоровьем; он в течение нескольких суток мог обходиться без еды и воды; поедая, причем зачастую в сыром виде, все, что попадалось ему под руки, — ужей, ящериц, крыс, тараканов, стрекоз; был малочувствителен к жаре, холоду и боли.



— Ты почему так часто убегал? — спросил его Мюллер. — Очень любишь волю?

— Любил бы волю, не стал бы служить красным в роли лагерного палача и бунтовщика. Ведь всякий раз в плен к вам, а значит, и в лагерь приходится сдаваться добровольно.

— Не так уж и добровольно. Разведка красных заставляет. Вон, и язык немецкий выучил.

— Кто бы меня мог заставить, если бы желания такого не возникло? А язык — это у меня с детства, в детдоме мыкался вместе с несколькими русскими немцами.

— То есть воля, свобода как таковая тебя не очень привлекает?

— Что в ней толку?

Так ничего и не поняв, Мюллер задумчиво уставился на Коршуна, однако тот умолк, решив, что все, что он мог сказать шефу гестапо, он уже сказал.

— Ты все же объясни, солдат, объясни, — потребовал он. — Что-то я не очень понимаю тебя.

— Главное — доказать себе и всем, что, в какой бы лагерь меня ни закрыли, все равно убегу. У каждого свой интерес: у кого-то карты, у кого-то бабы или рыбалка. У меня — побег из-за колючей проволоки.

Мюллер потом связался с Канарисом и предложил самому пообщаться с Коршуном, чтобы завербовать его или, по крайней мере, изучить его способы побега и подумать о подготовке таких же агентов.<sup>[57]</sup> Но из тренировочного лагеря абвера этот русский, уже якобы полузавербованный, тоже умудрился бежать, убив при этом часового и переодевшись в его шинель.

Группенфюрер вновь попытался углубиться в дело Канариса, как вдруг адъютант сообщил ему, что на проводе обер-штурмбаннфюрер Кренц, по очень важному делу.

— Кренц — и по очень важному делу? — усомнился Мюллер. Однако вынужден был сменить свое мнение о подчиненном, как только услышал в трубке взволнованный, пробивающийся сквозь прерывистое дыхание голос следователя:

— Господин группенфюрер, докладываю: только что мои люди обнаружили дневники адмирала Канариса.

— Что-что?! Что вы там лопочете, Кренц?

— Только что, при повторном обыске, в бункере одной из тренировочных баз абвера обнаружены дневники адмирала Канариса. На этой базе обычно размещали перевербованных вражеских агентов, а в последнее время адмирал использовал этот бункер для тайных встреч с наиболее важными людьми. Свои дневники, как и некоторые другие бумаги, шеф абвера прятал в секретном, замаскированном сейфе.

Мюллер отреагировал не сразу, словно бы смысл сказанного с трудом усваивался им.

— Надеюсь, вы понимаете, Кренц, что адреса любовниц адмирала и суммы, которые ему задолжали морские офицеры-сослуживцы, меня не интересуют?

— В том-то и дело, что Канарис увлекался не девицами. То есть там действительно имеется несколько записей, касающихся Маты Хари.

— И что же?

— Совершенно очевидно, что Мата Хари была не только агенткой абвера, но и...

— О том, что танцовщица Маргарет Зелле была не только агенткой абвера, но и любовницей Канариса, давным-давно известно всем разведкам мира, — нервно прервал его рассказ Мюллер.

— Странно, я об этом почему-то ничего не слышал, — простодушно признался Кренц, вызвав при этом грустноватую улыбку Мюллера.

— Успокаивайте себя тем, что нелюбознательность — не самый страшный ваш недостаток.

— Признаю, господин группенфюрер.

— Их испанские фиесты описаны во многих донесениях агентов разных разведок. Говорят, Маргарет и в самом деле была прекрасной женщиной. Какой-то необычайной. И хотя необычайность женщины на поверку всегда оказывается всего лишь нашими мужскими грезами, тем не менее Канарису есть что вспомнить.

— Судя по записям, в Мадриде адмирал действительно не скучал.

— Мадрид, черт возьми, Испания! Бой быков и все такое прочее... — мечтательно вздохнул Мюллер, явно завидуя Канарису, который, в отличие от него, успел повидать мир.

— Мне трудно судить, как они с Маргарет проводили свои испанские каникулы, но в дневниках своих об этой стране адмирал пишет холодно, порой даже с иронией, чтобы не сказать — с отвращением.

— Ну, это он подобным образом маскировался, — отрубил Мюллер. — Своеобразная, так сказать, конспирация.

— Человек, который имеет хоть какое-то представление о конспирации, не стал бы преподносить нам в виде компромата столь пространные дневниковые записи.

— Тоже верно. Только знайте, Кренц, что душещипательные истории из молодых лет адмирала меня совершенно не интересуют.

— Если бы записи ограничивались отношениями с агенткой Зелле, я не стал бы тревожить вас, — занервничал Кренц.

— Чем же они тогда «ограничиваются»?

— Дело в том, что в дневниках имеются записи с самыми откровенными высказываниями адмирала по поводу внешней политики рейха, поведения фюрера и некоторых других лиц, а также по поводу

международной политики, причин нынешней войны и будущего Германии, когда она избавится от фюрера.

— Не может такого быть! — едва слышно вырвалось из уст Мюллера.

— Простите, господин группенфюрер?.. Если вас поразило слово «избавится», то оно взято из лексикона самого Канариса.

— Не сомневаюсь, Кренц, не сомневаюсь. Я о другом: не может опытный разведчик, шеф некогда самой высокоорганизованной разведки мира, сочинять подобные дневники. Это неестественно, Кренц, совершенно неестественно! Я отказываюсь верить этому.

Оберштурмбаннфюрер так и не понял: играл ли при этом Мюллер на публику, или же в самом деле отказывался верить в подобную оплошность Канариса. Но эмоции здесь уже ничего не решали, даже если это эмоции «гестаповского мельника».

— Когда я узнал о появлении на свет дневников Канариса, моя реакция была такой же.

— И в чем смысл этих записей? Не поверю, что адмирал собирался передать их англичанам или американцам, выторговывая себе помилование. Уже хотя бы потому не поверю, что после войны они не будут иметь никакой ценности. И потом, если бы Канарис намеревался передать их нашим врагам, то давно передал бы...

— Но дневники могут служить доказательством того, что адмирал являлся противником нынешнего режима.

Мюллер рассмеялся.

— Возглавляя при этом его разведку? Лучшую, как он когда-то считал, разведку мира? Кто в это поверит?!

— В таком случае получается, что и мы с вами тоже зря подозреваем адмирала в измене, — вкрадчиво

подсказал Кренц, заставив шефа гестапо задуматься: а ведь действительно!

— Подозрение напрасным не бывает, оберштурмбаннфюрер, уж поверьте старому полицейскому, — задумчиво произнес Мюллер, не огорчившись по поводу того, что подчиненный умудрился загнать его в логическую ловушку. — Оно в любом случае оправдано. Уже хотя бы как метод познания истины.

— Возможно, после войны адмирал собирался засесть за мемуары...

— Мемуары — да, это более правдоподобная версия. Но все же удивительно... Не мог шеф абвера подставляться нам с такими уликами. Неестественно это для профессионала такого уровня.

— Мне тоже так казалось, господин группенфюрер, — отчеканил Кренц, хотя в голосе Мюллера ему вдруг почудились то ли досада, то ли сожаление.

— И что же в результате?

— А то, что дневники Канариса — вот они, у меня на столе, и в них десятки страниц исповедей и признаний.

— Тогда чего вы тянете? Немедленно ко мне, с дневниками этого вашего адмирала-предателя!

...А в это время, пока еще не подозревающий о надвигавшейся на него угрозе «адмирал-предатель» Канарис вновь, уже в который раз, мысленно перенесся в мартовское утро 1915 года, на борт полурастерзанного вражескими снарядами крейсера «Дрезден», искавшего спасения в чилийских территориальных водах.

Сигнал боевой тревоги прозвучал около семи утра. Крейсер «Глазго» подобрался к видневшемуся неподалеку островку, очевидно, еще ночью; но только теперь, когда утренний туман стал понемногу развеиваться, с борта германского судна стали видны очертания его корпуса. Стоя на капитанском мостике рядом с командиром «Дрездена», обер-лейтенант Канарис мог наблюдать за тем, как англичанин медленно выдвигается из-за скалистого мыса, подставляясь германским пушкарям своим правым бортом.

Позиция у него была более чем удобная, поскольку в любое время он мог скрыться за извилистым скалистым мысом; но, похоже, что капитан второго ранга Бредгоун привел сюда свой «Глазго» вовсе не для того, чтобы отсиживаться под прикрытием островных хребтов.

— Неужели он решится открыть огонь? — хрипло проворчал фон Келлер, на какое-то время отрывая от глаз бинокль.

— Первый залп прозвучит максимум через минуту, — как-то беззаботно заверил его Канарис.

— Если так, то это будет наш последний бой.

— Но он все же будет.

— Судно не готово к бою, — почти с отчаянием повертел головой фон Келлер. — Сейчас самое время

поставить определиться со стоянкой и заняться его ремонтом.

«Оно и не может быть готово к бою, — мысленно вскипел Канарис, — если к нему не готов сам командир судна! Именно он, а не команда, и его уже давно следует завести в док, на вечную стоянку!» Однако вслух произнес:

— Именно поэтому нам с особой тщательностью следует готовиться к бою, господин фрегаттен-капитан. Враг не оставляет нам ни выбора, ни времени для раздумий.

— Эти слова, обер-лейтенант, должен был бы произнести я, — раздосадованно пробормотал командир крейсера.

— В конце концов, британский крейсер тоже получил несколько повреждений и достаточно истрепан в бою и походах.

— Пусть это будет нам утешением, — чуть решительнее произнес барон. И тут же приказал поднять якорь, чтобы судно получило хоть какую-то маневренность; хотя, как его командир, он прекрасно понимал, что силы действительно неравные и что его крейсер явно уступает технически более совершенному англичанину и по мощи артиллерийского вооружения (тем более что два орудия «Дрездена» были повреждены во время боя), и по скорости, и по маневренности.

В битве при Коронеле «Дрездену» пришлось принять на себя шесть снарядов противника; еще два серьезных повреждения он получил уже в бою у Фолклендов, и теперь, почти лишившись запасов топлива, продовольствия и снарядов, некогда грозный крейсер напоминал израненного в схватках кита, решившего отлежаться на мелководье.

— Вы помните наш разговор, обер-лейтенант? — спросил фон Келлер, когда первые два снаряда

англичан мощными султанами взорвались буквально у кормы корабля.

— О том, чтобы я отправился к англичанам в качестве парламентаря?

— Помнится, мы тогда предусмотрели такую возможность и даже высоко оценили ваши дипломатические способности.

— Явно преувеличивая их, — молвил Маленький Грек, поняв, что решение командир уже принял, и все его сомнения по этому поводу уже не в счет.

Однако разуверять его в этом командир крейсера не стал. По переговорному устройству он приказал артиллеристам открыть ответный огонь и, лишь когда прогремели первые, пристрелочные выстрелы, спросил:

— Так вы по-прежнему готовы к миссии дипломата-парламентаря, Канарис? Или, может быть, наделить такими полномочиями кого-то другого?

— В успех не верю, но готов предоставить себя англичанам в качестве заложника.

— Заложника?! О чем вы, обер-лейтенант? На арест парламентаря англичане никогда не пойдут, это вам не русские. Британцы, конечно, наши враги, но все же остаются вполне цивилизованными европейцами.

— Не сомневаюсь в этом. Всего лишь хотел сообщить, что готов даже к такому повороту событий. Но чтобы усилия мои не оказались напрасными... Пока я буду отвлекать капитана Бредгоуна, попытайтесь уйти в глубь залива, поближе к берегам Мас-а-Тьерра.

— Но тогда нам придется вместе с кораблем сдаться чилийским властям. То есть властям страны, с которой мы не воюем.

— Нам в любом случае придется сдаться чилийцам, поэтому не следует бояться такого исхода. Теперь это лучший и, по-моему, единственно приемлемый для нас выход.



— Сдать крейсер чилийцам?! — некстати заупрявился фон Келлер. — Не сдам! Это исключено.

— Мне и самому хотелось бы, чтобы у нас появился иной вариант, однако...

— Вы не правы, Канарис, — не стал скрывать своего неудовольствия фон Келлер, всегда отличавшийся грубоватой простотой нрава и столь же откровенной наивностью. — Команду пусть интернируют, поскольку это может спасти большинство моряков, но судно им не достанется.

Словно бы в подтверждение его самых мрачных предчувствий, у северной оконечности соседнего островка появился сторожевой катерок чилийцев. Судя по всему, до капитана докатились отголоски боя, поскольку подходить к германцу он не решился, а, застопорив машину у прибрежной скалы, поочередно осматривал в бинокль оба враждующих крейсера.

— И все же куда важнее, чтобы наш крейсер не достался англичанам, — мрачно напомнил ему Канарис.

— Только не англичанам! — произнес фон Келлер, словно заклинание.

— И прикажите, пожалуйста, радисту связаться с английским судном, а также продублируйте прожекторной азбукой: «Готов вступить в переговоры».

— Самое время, — согласился фон Келлер. — Будем надеяться на ваш дипломатический талант.

«А ведь он и в самом деле уповает на мои способности! — с удивлением отметил про себя Канарис, сочувственно глядя на своего поникшего командира. — Плохи же наши дела, если вся надежда командира боевого крейсера — только на парламентаря!»

Даже после того, как англичане приняли предложение о переговорах, они еще несколько минут обстреливали «Дрезден», и лишь когда один из снарядов искорежил его кормовую орудийную башню,

прекратили огонь, явно ожидая, что уж теперь-то немцы наверняка сдадутся на милость победителя.

Положив трубку, Мюллер еще какое-то время стоял над телефонным аппаратом, задумчиво потирая пальцами подбородок.

«Если я сейчас же доложу об этой находке фюреру, — подумал он, — тот еще, чего доброго, решит, что дневники Канариса — наша выдумка, что мы их попросту сфальсифицировали. Что мы сами сочинили их — вот что, прежде всего, придет в голову Гитлеру! Слишком уж ему не хочется представлять перед генералом Франко — как, впрочем, и перед венгерским правителем, и перед остальными — в роли палача Канариса. Однако эмоции эмоциями, а докладывать все равно придется».

Группенфюрер СС мог бы признаться себе, что представлять в роли палача лично ему тоже не хотелось бы, но, вспомнив, сколько раз Канарис собственноручно готов был затянуть петлю у него на шее, хладнокровно успокоил себя: «Что тебя удивляет? Здесь всё как на поле боя: или ты, или тебя! Кому об этом знать лучше, нежели шефу гестапо?»

Несколько минут спустя перед Мюллером предстал Кренц с тетрадками в руке; тот, не отрывая глаз от лежащих на столе бумаг, протянул руку, взял дневники и с мрачной миной на лице полистал их. Причем Кренцу показалось, что ни на одной из записей взор свой группенфюрер так и не остановил.

Отложив дневники, группенфюрер предложил следователю стул, а сам еще с минуту прохаживался по своему просторному, но неуютному, как следственная камера гестапо, кабинету.

— Что вы можете сказать по поводу этих дневников, Кренц? — наконец мрачновато поинтересовался он,

останавливаясь где-то за спиной оберштурмбаннфюрера.

— Их следует внимательно изучить.

Мюллер с интересом взглянул на затылок следователя. Более идиотичного ответа ожидать от подчиненного было трудно. Конечно же, в эти адмиральские бредни следует вчитываться очень внимательно. Но прежде всего их следовало изучить самому Кренцу. Сначала внимательнейшим образом изучить, а уж затем принимать решение: класть тетрадки Канариса на стол своему шефу или не стоит? Мюллеру вдруг показалось, что само обладание записками адмирала-предателя уже ставит под сомнение его собственную преданность фюреру.

«Когда это фюрер умудрился так запугать тебя? — язвительно поинтересовался он сам у себя. — И если уж ты, шеф гестапо, так трусишь перед ним, то как должны чувствовать себя все остальные?! И чего, черт бы его побрал, стоит такая страна?!»

— Но хотя бы поверхностно с этими чернильными слюнявчиками вы все же ознакомились? — спросил он, едва сдерживая раздражение.

— Всего лишь поверхностно...

— И к какому в принципе выводу можно прийти, вчитываясь в написанное адмиралом? Бывшим, само собой, адмиралом, — еще более нетерпеливо спросил Мюллер, все еще оставаясь за спиной у Кренца.

Шеф гестапо всегда останавливался так, за спиной у своего подчиненного, когда намеревался говорить с ним начистоту, и раздражался, видя, что, отвечая, тот пытается оглядываться. Что из этого следовало: то ли Мюллер пытался ставить своих подчиненных в положение подследственных, то ли терпеть не мог, когда они, искушенные в человеческой психологии, наблюдают за выражением его лица и его поведением, — этого Кренц пока что понять не сумел.

— Могу сказать одно: там содержится много чего такого, что может служить зацепкой для следователя.

— Это не ответ, Кренц! — слегка повысил голос Мюллер. — Зацепкой для следователя может служить что угодно, иначе какой он, к чертям собачьим, следователь? Что характерно для этих записей?

— Они достаточно откровенны и убедительны для того, чтобы хоть сейчас вынести адмиралу Канарису смертный приговор. Основываясь только на содержащихся в них фактах и умовыводах.

— Факты, Кренц, неопровержимые факты! Без них ваши умовыводы вряд ли заинтересуют фюрера. Как-никак, речь все же идет о суде над адмиралом Канарисом.

— Из дневников ясно следует, что адмирал — простите, бывший адмирал — откровенно ненавидит режим национал-социалистов. Он не желает, чтобы у власти находился фюрер, а организацию СС считает преступной.

— Не такая уж это в наши дни диковина, как вам представляется, Кренц.

— Возможно, я и не придавал бы какого-то особого значения подобным высказываниям, если бы они не исходили от руководителя абвера. — Группенфюрер не мог не заметить, что голос Кренца стал удивительно твердым, а интонации — жесткими. В какое-то время ему даже показалось, что в них явно проскальзывает злорадство, словно оберштурмбаннфюрер и сам разделяет взгляды адмирала. — К тому же Канарис явно намекает на то, что это его люди, с его же согласия, информировали голландское и бельгийское правительства о времени нападения на эти страны германских войск. Причем оправдывает он это внутренней потребностью хоть как-то противостоять национал-социализму и диктатуре Гитлера. А если к этому еще добавить...

— Этого вполне достаточно, господин эсэсовец, а также верный служака фюрера и адепт национал-социализма Кренц, — с мрачным юмором прервал его Мюллер.

— Благодарю вас, группенфюрер СС, — на сей раз уже откровенно съязвил следователь. — Но как бы мы с вами ни острили, со всей очевидностью встает вопрос: как теперь относиться к этим дневникам?

— Что значит «как относиться»?

— Можем ли мы ознакомить с ними высший командный состав рейха? Имеют ли право знать о них подопечные Геббельсу журналисты? Наконец, должны ли они возникнуть в деле шефа абвера, а следовательно, и на судебном процессе?

Прежде чем ответить хотя бы на один из заданных Кренцем вопросов, Мюллер впал в глубокое забытие. В какую-то минуту оберштурмбаннфюреру даже показалось, что шеф то ли не расслышал его, то ли попросту решил не реагировать на озабоченность своего подчиненного.

— А как вы считаете: дневники Канариса можно показывать фюреру? — наконец спросил шеф гестапо, внимательно рассматривая носки своих вечно грязноватых сапог. Они всегда выглядели так, словно «гестаповский мельник» только что вернулся с расположенной где-то в поле за селом мельницы.

— Можно. Во всяком случае, в них не содержится ничего такого, что могло бы бросить тень на вас, группенфюрер. Прежде всего я хотел сказать именно это.

Мюллер оторвал взгляд от запыленных сапог и пристально всмотрелся в затылок Кренца, будто решался: выстрелить в него или воздержаться?

— Это плохо, Кренц, что там не содержится ничего такого...

— Почему?!

Только сейчас Мюллер вышел из-за спины следователя и вернулся на свое место в кресле. Откинувшись на спинку, он мечтательно посмотрел в потолок и хитровато улыбнулся каким-то своим мыслям.

— Слишком подозрительно выглядит, Кренц.

— Что вы имеете в виду? — забеспокоился оберштурмбаннфюрер.

— Когда в записях предателя и врага рейха адмирала Канариса не содержится ничего такого, что могло бы бросить тень на шефа гестапо, в глазах фюрера это как раз и способно бросить на него самую большую тень.

— Поучительный вывод, — вынужден был признать обер-штурмбаннфюрер.

— Кому, как не вам, Кренц, знать, что больше всего вызывает подозрение у всякого опытного полицейского?

— И мне это действительно известно, по крайней мере в общих чертах...

— Что же касается круга лиц, которым будет позволено ознакомиться с содержимым дневников Канариса, то определить его мы позволим Кальтенбруннеру. Но лишь после того, как ознакомлюсь с ними я. Вы ведь не возражаете, Кренц?

Когда обер-лейтенант Канарис поднялся на борт крейсера «Глазго», его встретил худощавый бледнолицый капитан-лейтенант, невозмутимо наблюдавший за восхождением парламентаря, заложив правую руку за борт кителя и вызывающе вскинув подбородок.

— Следует полагать, что вы уполномочены заявить о капитуляции команды крейсера «Дрезден», сэр? — резко спросил он, как только парламентар отдал честь и представился.

— А командир корабля Бредгоун уполномочил вас вести со мной переговоры? — приятно удивил его Канарис чистотой своего английского. При том, что сам вопрос германца был пропитан сарказмом.

— Мне всего лишь поручено встретить вас, обер-лейтенант, и...

— ... И провести в командирскую рубку. Разве не так, сэр?

— Вы правы, мистер Канарис. Но мне следовало бы доложить капитану Бредгоуну о цели вашего визита.

— Доложите ему, что обер-лейтенант Канарис прибыл на борт крейсера «Глазго» с визитом вежливости.

— Так и прикажете доложить, сэр? — все с той же классической английской невозмутимостью уточнил капитан-лейтенант.

— Можете предложить другое объяснение, мистер?..

— Денвилл, сэр. Капитан-лейтенант Денвилл.

— Так вы способны предложить какое-то иное объяснение, мистер Денвилл?



— Бредгоун не силен в немецком юморе, мистер Канарис. Узнав, что вы прибыли с визитом вежливости, он либо прикажет арестовать вас, либо любезно распорядится выбросить за борт, на корм рыбам. Кстати, считаю необходимым предупредить, что чем жестче приказ капитана Бредгоуна, тем вежливее и любезнее становится его голос. В общем, из уважения к вам предлагаю явиться в капитанскую рубку в качестве германского парламентаря, а не гостя. Так надежнее.

— Охотно прислушаюсь к вашему мнению, сэр.

Англичанин поднес к глазам бинокль и прошелся взглядом по видневшемуся вдалеке, в распадке между «прораставшими» из побережья скалами, крейсеру. Затем «прощупал» окулярами ближайшее побережье континента и мелких прибрежных островков. Лишь после этого он опустил бинокль на грудь, закурил сигару и сочувственно оглядел низкорослого худощавого немца.

— После столь ювелирной работы наших артиллеристов, — с сугубо английской иронией произнес капитан-лейтенант, — у всей вашей команды есть только один выход: нанести нам коллективный, общекомандный «визит вежливости», со сдачей оружия и выражением горького раскаяния. Правда, у нас, у военных, — вновь снисходительно окинул он взглядом щуплого офицера, — подобный «визит вежливости» вполне определенно именуется «полной и безоговорочной капитуляцией». Понимаю, это всего лишь языковые тонкости, тем не менее...

— Мы непростительно теряем время, господин капитан-лейтенант, — сухо напомнил ему Канарис.

— Ошибаетесь, обер-лейтенант, терять вы его станете чуть позже, когда будете пытаться уговорить командира крейсера оставить ваше полузатонувшее судно в покое, чтобы отдаться вместе с ним на милость чилийских властей.

Услышав это его «полузатонувшее», Канарис непроизвольно бросил взгляд в сторону своего крейсера. Даже без бинокля было видно, что он все еще пребывает на полноценном плаву и все еще боеспособен. «Но если он все еще боеспособен, тогда что ты делаешь на вражеском корабле в качестве парламентаря? — упрекнул себя Канарис, понимая, каким жалким он покажется сейчас воинственным британцам в качестве просителя непонятно чего. — Бредгоун окажется сто раз прав, когда скажет: «Какого дьявола? Пусть победителя определит поле битвы!»

— Отдавать крейсер чилийцам команда не намерена. Как, впрочем, и британской короне. Что же касается смысла предстоящих переговоров с капитаном Бредгоуном, то у меня нет иного выхода, кроме как попытаться убедить его...

— Позвольте узнать, в чем именно... убедить, сэр?

— По крайней мере, один аргумент в пользу прекращения этого боя у меня все же имеется.

— Согласен, что в конечном итоге решение принимает командир корабля. Но он будет неправ, если не заставит артиллеристов разнести ваш крейсер в клочья.

Капитан второго ранга оказался грузноватым детиной с нездоровым, кирпично-пепельного цвета лицом. Он сидел за столом в обществе еще двух офицеров, и появление Канариса встретил с безразличием человека, который уже все давно решил для себя, и появление здесь парламентаря воспринимал как ненужную формальность.

— Если я верно понял, — буквально прорычал он, опираясь багровыми, словно бы обожженными руками о края стола, — вы прибыли сюда, чтобы объявить о готовности команды вашего крейсера сдаться?

— Но вы сами могли убедиться, что «Дрезден» все еще на ходу и вполне боеспособен, — холодно

возмутился Канарис.

— Бьюсь об заклад, что его хватит не более чем на три наших залпа.

— Ваш крейсер получил не меньше повреждений, чем наш, — огрызнулся Маленький Грек, чувствуя, что переговоры с самого начала пошли не по тому руслу, которое он себе наметил. — Вам бы не в бой с ним рваться, а брать курс на ближайший док.

— Позвольте заметить, сэр, что это не совсем так, — проговорил Денвилл, воспользовавшись заминкой командира крейсера. — Несмотря на отдельные попадания, наши разрушения незначительны. И потом, далеко не все снаряды были посланы вашим крейсером.

— Благодарю за разъяснение, капитан-лейтенант. Однако повторяю, что наш крейсер еще вполне боеспособен. Другое дело, что ваше судно современнее, с лучшими, более мощными двигателями и лучшим артиллерийским вооружением...

— Что вы хотите этим сказать, обер-лейтенант? Пытаетесь уменьшить наши заслуги, доказывая, что команды наших крейсеров изначально находились в неравном положении? Вы этого пытаетесь достичь? Вам доставляет это удовольствие, позволяет сформулировать некое самооправдание?! — медленно, с расстановкой, четко произнося, точнее, изрыгая каждое слово в отдельности, эмоционально завопил Бредгоун.

— Я всего лишь констатирую факты, поддерживая таким образом разговор, сэр.

— Но если вы прибыли на борт моего судна не для того, чтобы сдаваться на милость победителя, тогда какого дьявола вы просили моего согласия на перемирие и переговоры?! — еще яростнее, чем прежде, прорычал Бредгоун. — Что вы можете нам предложить? Каковы ваши условия? Ваша эскадра потопила лучшие суда тихоокеанской эскадры

Великобритании, и после всего вы стоите здесь и что-то там мямлите?! Что привело вас сюда?

— Я прибыл по приказу командира крейсера, фрегаттен-капитана фон Келлера.

— Вы прибыли сюда только потому, что лично вам и вашему фон Келлеру не хватает мужества умереть в морском сражении, как полагается истинным морякам! Вот почему вы стоите сейчас перед нами!

Несмотря на то что рычание Бредгоуна становилось все более грозным, Канарис стоически выслушал весь его монолог. Правда, порой ему казалось, что он находится не в командирской рубке боевого корабля XX столетия, а в каюте капитана какого-то пиратского фрегата времен Черной Бороды и «Острова сокровищ». Но обер-лейтенант понимал, что сейчас не время предаваться эмоциям.

— Германцы никогда не боялись смерти, — как можно сдержаннее напомнил он командиру «Глазго». — Но обязан обратить ваше внимание, что сейчас крейсер «Дрезден» находится в территориальных водах Чили.

— Ах, вы уже находитесь в чилийских территориальных водах?! — саркастически взревел Бредгоун, ударяя кулаком по столу — Кто бы мог предположить?!

Командир «Глазго», конечно же, успел пропустить порцию-другую виски, но это лишь укрепляло Канариса в мысли, что он действительно оказался на шхуне «Испаньола», в каюте одноногого капитана мятежников Сильвера, только что приказавшего поднять над своим кораблем «Веселый Роджер». Не хватало только пиратского попугая с его кличем: «Пиастры! Пиастры!»

— Причем находимся мы в территориальных водах Чили с согласия местных властей, которые уже извещены.

Канарис понимал, что морякам «владычицы морей» Великобритании наплевать на территориальные

амбиции каких-то там местных чилийских властей; как понимал и то, насколько унижительным является для него, офицера германского Военно-морского флота, вымаливать у них пощаду, прикрываясь суверенитетом этой нищей, совершенно беспомощной в военном отношении страны. Однако никаких иных аргументов у него не было. Унижительность его положения подчеркивалась еще и тем, что эта невоспитанная скотина Бредгоун даже не предложил ему, офицеру-парламентеру, кресло.

— Нет, вы слышали, господа? — обратился тем временем командир крейсера к сидящим справа и слева от него офицерам. — Эти боши решили, что они имеют право нападать на нас, прячась между какими-то прибрежными островками, чтобы прикрываться затем международными соглашениями о территориальных водах и прочей чепухе, которая в военное время, да к тому же у берегов полудиких латиносов, абсолютно никакого значения не имеет.

— Чили не является воюющей страной. Нападая на корабль, пребывающий в ее территориальных водах, вы грубо нарушаете соответствующие нормы международного морского права, — спокойным, официальным тоном проговорил Канарис, стараясь придать своей речи дипломатичность. — Можете не сомневаться, что реакция на ваши действия правительств и Германии, и США, не говоря уже о правительствах Латинской Америки, будет очень резкой.

Как ни странно, на сей раз аргументы Маленького Грека подействовали; во всяком случае, они заставили капитана второго ранга поумерить свой сарказм и приглушить пиратский рык. Вот только заставить его отказаться от желания окончательно расправиться с «Дрезденом» они не могли.

— Положения морского права, обер-лейтенант, мне известны не хуже, чем вам, — угрюмо пробубнил Бредгоун.

— Не сомневаюсь, сэр, — склонил голову в аристократическом поклоне Канарис.

— Однако я получил приказ уничтожить крейсер «Дрезден» любой ценой, где бы он ни находился. И я выполню этот приказ, чего бы мне это ни стоило. Что же касается юридических тонкостей, то пусть о них позаботятся наши дипломаты, которые, уверен, как-нибудь сумеют объясниться с дипломатами Чили. Так и передайте своему командиру. Вы слышите меня, обер-лейтенант?!

— Не сомневайтесь, сэр, передам.

— После того как вы вернетесь на борт крейсера «Дрезден», у фон Келлера будет ровно час для того, чтобы обсудить с офицерами создавшееся положение и сообщить о своем решении. Если к этому времени сообщения не последует, мои матросы будут говорить с вами языком бортовых орудий. Станете утверждать, что это несправедливо?

— Не стану, сэр.

— Потому что не посмеете.

— Позволю себе заметить, что наши парни тоже не прочь поразмяться у орудийных капониров, — вызываясь ухмыльнулся Канарис, понимая, что предаваться артистизму дипломатии уже бессмысленно. — И уж поверьте, дело свое они знают.

Кренц давненько не виделся с Мюллером, в последнее время их общение происходило только по телефону, поэтому с особым вниманием присмотрелся к нему. Нет, ни военные тяготы, ни годы какой-то особой печати на его лицо так и не наложили. Худощавые, скуластые щеки, широкий, слегка выступающий подбородок; узкий, слегка расширяющийся к кончику нос; высокий, с большими неровными залысинами лоб и темные, излучающие иронично-усталый взгляд, глаза...

— И все же позволю себе напомнить, Кренц: ничто так не навевает подозрение, как кристальная чистота подозреваемого.

Несмотря на свое высокое положение и особый статус «неприкосновенного» в государстве, ни во внешности шефа гестапо, ни в его манерах ровным счетом ничего не изменилось. В них по-прежнему не проявлялось ни армейской суровости, ни генеральской амбициозности. Он так и оставался обладателем простаковатого, лишенного какой-либо аристократической утонченности или арийской строгости лица крестьянина, которого только что мобилизовали и обмундировали. Словом, одного из тех лиц, которых во множестве можно наблюдать в строю только что призванных в армию состарившихся резервистов.

— Ничто так не навевает подозрение, как кристальная чистота подозреваемого, — медленно, словно бы смакуя каждое слово, повторил Кренц. — Звучит как изречение древних.

— Как изречение истинных полицейских, профессиональной чертой которых во все времена оставалась крайняя подозрительность.

— Но вы-то вне подозрения, господин группенфюрер!

— Что еще более подозрительно.

— Но уж вы-то вне всякого подозрения! — воскликнул оберштурмбаннфюрер, отказываясь воспринимать логику шефа гестапо.

— У фюрера нет людей, которые были бы вне подозрения. Их попросту не осталось.

— Кроме нас, сотрудников гестапо, — решительно покачал головой Кренц, ощущая, что за словами шефа гестапо скрывается то ли скрытая угроза, то ли мрачное пророчество.

— Как, впрочем, не осталось их и у Сталина, которому фюрер неподражаемо подражает, — не обратил внимания на его опасения Мюллер, причем фразу эту он произнес ворчливо и как бы про себя.

Кренц, конечно, понял, что эти слова не предназначались ему, тем удивительнее было слышать их. Если бы следователь не знал столь хорошо Мюллера, с которым проработал почти двенадцать лет, наверняка заподозрил бы его в провокации. Но дело в том, что шеф гестапо к мелким провокациям никогда не прибегал, во всяком случае по отношению к своим подчиненным.

— Однако для всех нас важно, чтобы вы оставались вне аргументированного... подозрения.

— Мне понятна ваша обеспокоенность, Кренц. Никому не хочется, чтобы последний оплот рейха — освященное богами гестапо — прореживали точно так же, как совсем недавно делали со штабом армии резерва после ареста ее командующего генерал-полковника Фромма. Точно так же жестоко прореживали...

— Мне кажется, что никто и не решился бы поступить с гестапо таким образом, — молвил Кренц, — это просто немыслимо.



Вот только прозвучали его слова настолько неуверенно, что Мюллер не счел нужным отреагировать на них.

— Честно говоря, мне даже не хочется читать эти адмиралописания, — постучал он костяшками пальцев по небольшой стопке тетрадок. — Поэтому прислушаюсь к вашему совету, Кренц, и сразу же передам дневники фюреру. В конце концов, судьбу Канариса обязан решить он и только он. Все остальные будут выступать в роли исполнителей его воли.

— Простите, господин группенфюрер, но прочесть эти дневники все же следует. Фюрер наверняка станет задавать неуместные вопросы и очень скоро обнаружит, что вы их не читали.

— Считаете, что его это огорчит?

— Считаю, что фюреру это покажется подозрительным, — теперь уже явно переигрывал его Кренц. — Он попросту не поверит, что вы удержались от чтения записок врага рейха номер один.

Мюллер уперся локтем в стол и, глядя куда-то в сторону, долго, сосредоточенно разминал пальцами гладко выбритый подбородок.

— Согласен, это покажется подозрительным, — наконец неохотно признал он. — Однако тревожит вас, Кренц, не это.

— Не это, — покорно признал следователь. — Опасаюсь, как бы фюрер не выразил своего недовольствия.

— Тем, что сразу же не доложили ему о найденных дневниках Канариса? — ухмыльнулся Мюллер.

— Наоборот, группенфюрер, именно тем, что мы их все же нашли.

Их взгляды скрестились, и только теперь шеф гестапо понял, что до сих пор он явно недооценивал Кренца.

— Это уже умовыводы, Кренц, а мы договаривались останавливаться только на фактах.

— Фюреру явно не понравится, что мы извлекли эти записки бывшего шефа абвера на свет Божий, и боюсь, что нам придется считаться с этим, как с самым беспощадным фактом.

— Уж не советуете ли вы уничтожить эти, — Мюллер потряс тетрадками Канариса, — неопровержимые улики?

— Этого я вам, естественно, не советовал. Но обязан сообщить, что о находке пока что известно очень узкому кругу лиц. Оч-чень... узкому.

— Скажите, Кренц, только честно: это вы специально придумали такой ход — с «недовольством фюрера», чтобы, таким образом, спасти Канариса?

— Мне плевать на Канариса, — с медлительной вежливостью проговорил оберштурмбаннфюрер. — И вам, господин Мюллер, это известно так же хорошо, как и адмиралу. Я думал только о том, как бы не навредить вам — а значит, и себе тоже.

Когда шлюпка подошла к борту «Дрездена», Канариса уже ждали на палубе фрегаттен-капитан фон Келлер и неожиданно появившийся на судне лейтенант чилийской береговой охраны. Барон был хладнокровно спокоен и доклад своего парламентарера тоже выслушал спокойно, чтобы не сказать — безучастно. Он понимал, что переговоры завершились ничем, поэтому удивить его Канарису было нечем. Другое дело, что своим визитом и красноречием Маленький Грек сумел потянуть время, которого оказалось достаточно, чтобы принять у себя на борту командира катера чилийской береговой охраны и обо всем с ним договориться. На этого лейтенанта фон Келлер полагался теперь, как на полноправного представителя власти.

Зато когда Канарис перевел смысл своего доклада чилийскому лейтенанту, тот взорвался от негодования по поводу «наглости британцев, рассматривавших Латинскую Америку как свою будущую колонию». Вот только поток его возмущения фон Келлер и Канарис выслушали с сочувственной тоской на скорбных лицах, понимая, что ничего существенного за этим извержением словес последовать не может. Единственное, чем располагал сейчас чилиец, так это пристроенным на палубе своего катерка пулеметом. Правда, неподалеку находился и катер местного «рыбака», но воинственное военно-морские силы Чили от этого не становились.

— И все же нам повезло, что здесь появился этот лейтенант, — повел подбородком в сторону чилийца барон фон Келлер. — Сейчас он сообщит по радио на свою базу о том, что команда крейсера просит у военного командования и правительства Чили права

убежища, и сам же, со своими людьми, интернирует нас.

— А что будет с крейсером?

Фон Келлер попытался что-то ответить, однако в их беседу ворвался вой снаряда, который, перелетев через крейсер, упал буквально в тридцати футах от его правого борта. Офицеры с минуту молча ждали продолжения то ли пристрелки, то ли прицельного залпа, однако ни того ни другого не последовало.

— Вон там, — указал командир крейсера в сторону двух крохотных островков в глубине пролива, — есть вполне пристойное местечко, с выступающими из воды камнями. На них мы и выбросимся со своим «Дрезденом», предварительно высадив на сушу большую часть команды.

— Англичане попытаются высадить десант, чтобы уничтожить нас на берегу, поэтому сходить следует с оружием.

— Вот и убедите в этой необходимости лейтенанта Монтерроса, — устало проговорил фон Келлер. — Организуйте вместе с капитан-лейтенантом Марктобом высадку команды по всем канонам десантирования, — скосил он глаза на стоявшего чуть в сторонке корабельного инженера. — Вспомните, как еще неподалеку от Фолклендов он призывал нас оставить крейсер и соорудить укрепленный лагерь на берегу какого-либо островка.

— Он действительно вынашивал какие-то робинзоновские планы, — пожал плечами Канарис, явно отмежевываясь от идей и фантазий Марктоба. — Но даже сам он вряд ли был готов к их осуществлению.

— Так вот, сообщите, что теперь пришло его время, его выход на арену.

— Не думаю, чтобы нынешняя высадка привела господина Марктоба в восторг, — молвил обер-

лейтенант уже в присутствии приблизившегося к ним корветтен-капитана.

— Ваши эмоции, господа, меня не интересуют. Вы, Канарис, и вы, Марктоб... Ситуация вам ясна. Поэтому выполняйте приказ, — проворчал фон Келлер таким снисходительным тоном, словно вся вина за беды, которым крейсер подвергался в течение последних недель, лежит только на этих двух офицерах.

— Уверен, что вы уже успели вызвать подкрепление, — обратился Канарис к Монтерросу, изложив ему суть решения командира крейсера.

— Два катера придут сюда с минуты на минуту, — ответил тот. — Они покрупнее моего и более вместительны.

— Вам неслыханно повезло, лейтенант: вы войдете в историю как человек, сумевший пленить германский крейсер вместе со всей его командой.

— Если бы действительно сумел пленить... Но ведь вы же затопите его. Хотя не понимаю: зачем губить такой корабль?

— А вы сумеете защитить его от захвата английскими моряками? Может, решитесь повести свой катер на таран? Если решитесь, тогда в чем дело? Бог в помощь.

— Нам запрещено вступать в перестрелки с англичанами, чтобы не провоцировать их.

— Вот и фрегаттен-капитан фон Келлер того же мнения: против англичан вы бессильны. И выступить в роли наших союзников тоже не решитесь.

— Не решимся, — признал чилиец после некоторой заминки. Он словно бы взвешивал: воздержаться от конфликта с британцами или же ударить по ним всей мощью своих катеров.

— А жаль, при виде вашего пулемета британские канониры пришли бы в ужас.

— Но такой прекрасный корабль! — азартно пощелкал чилиец пальцами обеих рук. — Нет, кабальеро, такой корабль я бы врагу не сдал. Посмотрите, на нем еще столько орудий! Мы, чилийцы, издавна недолюбливаем англичан.

— Понимаю: со времен латиноамериканских колониальных войн. Но командир крейсера уже принял решение: «В бой не вступать!»

— Так сместите этого труса! — неожиданно вошел в азарт чилиец. — Примите командование на себя, откройте огонь и пойдите на прорыв.

Поблагодарив Господа за то, что фон Келлер ни слова не понимает по-испански, Канарис мельком взглянул на него. К счастью, командир крейсера никак не реагировал на словесные излияния чилийца. Он уже вновь поднес к глазам бинокль и предался созерцанию вражеского судна и окрестных пейзажей.

— Даже если бы во время этого прорыва нашему крейсеру удалось удержаться на плаву, все равно далеко уйти он не смог бы, слишком уж уступает англичанину в скорости, — проговорил Канарис, понимая, что слова эти предназначены не для офицера чилийской береговой охраны, просто он пытается каким-то образом оправдать решение фрегаттен-капитана. Не для чилийца оправдать, а для самого себя.

— Но ведь, уходя в океан, англичанина можно истерзать так, что ему уже будет не до преследования. В любом случае это лучше, чем просто насаживать свой мощный боевой корабль на подводные камни.

— Гениальный у вас план, Нельсон вы наш, — съязвил Канарис, однако в душе признал, что в общем-то чилиец прав. Чтобы посадить крейсер на камни, много мужества и военного умения не требуется.

— Так какое решение вы принимаете, кабальеро? — поинтересовался чилиец, когда из-за ближайшего островка показались еще два сторожевых катера,

составлявших в здешних водах, вместе с катером Монтерроса и «рыбаком», всю мощь чилийского флота.

— Подчиниться приказу командира крейсера, естественно.

— Даже если он и в самом деле прикажет без боя посадить крейсер на камни?

— Отчаянный вы человек, лейтенант Монтеррос. Предполагаю, что чилийское командование вас явно недооценивает. Непростительно недооценивает.

\* \* \*

Как только катера подошли к борту крейсера и их командиры выслушали объяснения Монтерроса, фон Келлер приказал одной части команды перебраться к ним, а другой сесть на шлюпки и спасательные плоты и самостоятельно добираться до ближайшего острова, прибрежные скалы которого серели в миле от крейсера. И возглавить этот отряд, в который не вошло ни одного артиллериста, должен был сам Канарис.

Прежде чем сесть в шлюпку, обер-лейтенант взглянул на часы: до окончания перемирия оставалось пятнадцать минут. Он предупредил фрегаттенкапитана, что время на исходе, но тот резко обронил:

— Вы получили задание, обер-лейтенант, у вас теперь свой отряд. Позаботьтесь о нем.

— Есть позаботиться! Кстати, англичанин уже занервничал. Смотрите, он медленно приближается к нам!

— Понял, что мы решили потопить корабль, чтобы не достался ему, а людей высаживаем на берег.

— Старому пропойце Бредгоуну такой поворот событий явно не по душе.

— Постарайтесь договориться с чилийцами, чтобы они не обижали наших моряков, а со временем

позволили всем нам объединиться в одном лагере.

— Будет выполнено, господин фрегаттен-капитан, — козырнул Канарис, но, подумав, что командир может решиться на самоубийство, сказал: — Только помните, что германскому флоту мы еще понадобится. Опытные моряки всегда оставались в цене.

— Я не из тех, кто в подобных ситуациях спешит воспользоваться личным оружием, — отлично понял причину его обеспокоенности фон Келлер. — Там, на отмели, мы какое-то время будем скрыты от глаз британских бомбардиров, поэтому поторопите чилийцев, чтобы они еще раз подошли со своими катерами к крейсеру. Впрочем, я постараюсь выбросить его так, чтобы команда могла спастись самостоятельно, почти вброд.

А едва эта до предела перегруженная спасательная флотилия направилась к острову, он приказал открыть огонь из всех орудий и медленно двигаться в сторону прибрежных скал.

Уже стоя на высоком островном плато, Канарис видел, как артиллеристы «Дрездена» тучно накрыли снарядами слишком приблизившегося к ним англичанина. Бредгоун, конечно же, ответил залпом своих орудий, однако чувствовалось, что его бомбардиры к подобному повороту сценария дуэли готовы не были. Лишь после третьего залпа один снаряд все же угодил в «германца». Но к тому времени «Глазго» успел получить серьезные повреждения и начал основательно дымить.

Поняв, что дальнейшее преследование бессмысленно и крайне опасно, «старый пропойца» постарался как можно скорее увести свой корабль из зоны видимости вражеских бомбардиров. Наверное, германские артиллеристы восприняли его отход с ликованием, как свою последнюю победу.



Тем временем Канарис вновь обратил взор на «Дрезден». Крейсер тоже дымил и, похоже, плохо слушался руля, однако его артиллеристы продолжали осыпать снарядами отходящего и все слабее огрызающегося англичанина, которому боеприпасы еще могли ох как понадобиться.

Несмотря на поздний час, Мюллер решил немедленно сообщить фюреру об очень важной находке своих сотрудников. Возможно, он и не торопился бы с этим докладом, если бы не странная реакция на появление дневников Канариса рейхсфюрера СС Гиммлера. Когда шеф гестапо уведомил командующего войсками СС о своей находке, тот сначала принялся тщательно выяснять, где, кто и при каких обстоятельствах обнаружил записки адмирала; когда же, теряя терпение и все больше раздражаясь, «гестаповский мельник» ответил на все его уточняющие вопросы, с деланным безразличием спросил:

— А что такого особого можно найти в дневнике обер-разведчика, чтобы признать его врагом рейха?

— Там содержится немало сведений, способных решительно изобличить Канариса.

— В сорок третьем вы уже пытались изобличать адмирала, но, позволю себе напомнить, фюрер вам не поверил. Категорически не поверил.

— Он не поверил выдвинутому против Канариса обвинению, — как можно тактичнее уточнил Мюллер. — Поскольку его покрытые разведывательными тайнами действия требовали более тщательного расследования.

— Гитлер не поверил, что Канарис может оказаться предателем, — еще настойчивее произнес Гиммлер. — О скверности характера адмирала — да, фюреру известно было. Но когда вы стали подводить его под приговор Народного суда...

— Прошу прощения, рейхсфюрер, но в то время расследованием дела Канариса, как известно, занималась в основном служба безопасности СС, как,

впрочем, и подавлением заговора, созревавшего в штабе армии резерва. Это Скорцени со своими людьми кроваво прореживал ряды штабистов генерала Фромма — а он принадлежит к СД, а не к гестапо.

— В феврале нынешнего года кое-кто тоже ожидал, что Канарис окажется на скамье подсудимых, — словно бы не слышал его доводов Гиммлер, — однако фюрер лишь ограничился чем-то вроде домашнего ареста, приказал поместить его в замок Лауэнштейн, лишь на какое-то время запретив покидать пределы этого «монастыря» и общаться с посторонними лицами.

— Согласен, все происходило именно так, — хрипловато проворчал Мюллер, осознавая, что рейхсфюрер уводит его от сути разговора, от существа самого вопроса.

— Затем вдруг последовало тихое увольнение в запас, а когда все решили, что с адмиралом покончено, фюрер неожиданно назначает его начальником штаба по торговой и экономической войне при Верховном главнокомандующем.

Мюллер вновь недовольно и в то же время растерянно покряхтел. Он прекрасно понимал, к чему клонит Гиммлер. Еще несколько минут подобного общения, и рейхсфюрер прямо обвинит его в очернительстве шефа абвера и подрыве деятельности всей военной разведки. Теперь в Германии все помешаны на заговорах, обвинениях и выискивании скрытых врагов рейха, а Мюллер не хотел оказаться в числе жертв этой военно-политической истерии, этой висельничной свистопляски.

Но именно тогда, когда следовало как можно скорее свернуть разговор или хотя бы благоразумно согласиться со всеми доводами рейхсфюрера СС, Мюллера вдруг словно бы прорвало:

— Фюрер только потому и не смог поверить в предательство Канариса, что в него решительно

отказывались верить вы, рейхсфюрер, — Мюллер старался говорить как можно спокойнее и мягче, но смысл сказанного им остроты от этого не терял. — Не зря же поговаривают, что адмирал только потому и продержался до сегодняшнего дня, что на защиту его встал сам Гиммлер.<sup>[58]</sup>

Последние слова были произнесены не без ехидства, поэтому у Гиммлера были все основания оскорбиться их дерзостью. Каково же было удивление Мюллера, когда рейхсфюрер вдруг вполне миролюбиво сказал:

— А вы, Генрих, не задавались вопросом: хотел ли сам фюрер, чтобы разоблачение Канариса действительно состоялось?

— Неужели не хотел?! Даже понимая, что Канарис ведет двойную игру? Возможно, считал, что вина его недостаточно доказана?

— Я так и думал, Генрих... Если бы вы когда-нибудь по-настоящему задумывались над странностью такого поведения фюрера, то не торопились бы извлекать на свет Божий еще и какие-то писульки адмирала, черт бы его в конце концов побрал.

— То есть вы считаете, что мне не следует знакомить фюрера с дневниками Канариса?

И вот тут Гиммлер явно замялся.

— Так вопрос не стоит. Вы слишком прямолинейны, Мюллер. В каких-то моментах даже непозволительно прямолинейны. Конечно же, фюрер должен знать о дневниках бывшего шефа абвера. Было бы неправильно скрывать от него эту гнусную находку.

Услышав это, Мюллер затряс головой, словно пытался избавиться от наваждения. Он потерял нить рассуждений Гиммлера и основательно запутался.

— Вы правы, — только и смог выдавить из себя «гестаповский мельник».

— Но все зависит от того, как именно преподнести фюреру эти ваши дневники Канариса. Как забавное подтверждение неких литературных упражнений адмирала, в которых порой проскакивает непростительная вольность, — или же как неопровержимую улику его предательства?

«И эти наставления мне приходится выслушивать из уст главнокомандующего войсками СС и шефа Главного управления имперской безопасности?! — изумился Мюллер. — Что происходит в этом «Датском королевстве»? И как я в конечном итоге должен преподнести эти дневники фюреру? Или, может, прикажете сжечь их в камине?! Нет уж!...»

Когда Гиммлер положил трубку, шеф гестапо еще какое-то время нервно прохаживался по кабинету, пребывая при этом в полном бездумии и глубочайшей прострации. К действительности его вернули вой сирен и пальба зениток, заглушаемые медленно надвигающимся гулом мощных авиационных моторов. Но вместо того чтобы спуститься в бомбоубежище, Мюллер вернулся к столу, чинно, словно за концертный рояль, уселся за него и принялся дочитывать одну из тетрадей Канариса.

— Господин группенфюрер, — появился в проеме двери встревоженный адъютант, — мощный налет англо-американской авиации. Только что нам сообщили, что...

— Мне, штурмбаннфюрер, не надо ждать каких-либо сообщений, чтобы догадаться, что над моей головой уже находятся добрых два десятка «летающих крепостей», — осадил его Мюллер.

— Но существует опасность...

— С неба, штурмбаннфюрер, мне, старому пилоту, [59] ничего не угрожает. Тех, кто на небесах, я уже давно не боюсь; в последнее время бояться все больше

приходится тех, кто рядом с тобой, на этой грешной земле.

Мюллер и в самом деле был убежден, что с небом у него как у пилота заключен некий тайный союз... Впрочем, к дневникам Канариса это отношения не имело. Прочтя несколько резких суждений о методах руководства фюрера и о том, что «война против всех самых мощных держав мира неминуемо приведет Третий рейх к краху», шеф гестапо инстинктивно взглянул на дверь и, закрыв тетрадь, решительно отодвинул ее подальше.

Сейчас Мюллер вел себя так, словно бы эти слова, это кровавое пророчество, начертал не абвер-адмирал Канарис, а он сам. И как только он осознал это, тотчас же оттолкнулся от стола и, откинувшись на спинку кресла, устало закрыл глаза. Как было бы хорошо, если бы он мог связаться с Канарисом и поговорить обо всем, что написано в этих его «абверовских пророчествах», за кружкой пива! Просто посидеть и поговорить.

Подумав об этом, обер-гестаповец страны расхохотался. Если такое и могло произойти, то в совершенно иные времена и в совершенно иной стране. А еще он вдруг вспомнил, как в свое время генерал Остер бросил ему в лицо: «Разве не вы, Мюллер, со своим гестапо довели страну до такого состояния, когда все мы начали бояться родных нам людей, родных стен и даже самих себя?!»

Бомбы союзников стали разрываться где-то рядом, причем все ближе и ближе. Не хватало еще, чтобы они разнесли гестапо, дав при этом повод иностранным журналистам скалить зубы. Еще бы: пал последний оплот фюрерской власти, последний оплот Третьего рейха! Пилоты явно начали нарушать тайный сговор Мюллера с небесами.

«Гиммлер не желает быть хоть каким-то образом причастным к делу о дневниках Канариса, это ясно, —

сказал он себе. — Но это решение Гиммлера, ты же должен решать за себя. Если сегодня вечером эти дневники оказались на твоём столе, значит, завтра ты должен сделать все возможное, чтобы они оказались на столе у Гитлера. По крайней мере, ты должен добиться, чтобы фюреру было доложено об их появлении».

Теперь Мюллеру уже не хотелось, чтобы пророчества этого абвер-адмирала задерживались у него сколько-нибудь долго, да к тому же втайне от фюрера. Не те времена, не та ситуация в рейхсканцелярии...

\* \* \*

Ну а самому фюреру «гестаповский мельник» позвонил сразу же после авианалета и ничуть не удивился, что, услышав о появлении дневников Канариса, тот разразился бранной речью и по поводу адмирала-предателя, и по поводу «всей той продажной своры, которая в эти трудные дни окружает» его.

— Этот народ недостойн победы, Мюллер! — орал он в трубку. — Он недостойн того жизненного пространства, которое я пытался для него завоевать, и той воинской славы, к которой я в течение стольких лет безуспешно вел его! Кто меня предает, Мюллер? Солдаты?! Нет, солдаты сражаются на фронтах. Но здесь, в тылу, их и меня предают такие, как Штауффенберг, Фромм, Бек, Витцлебен, Остер и, наконец, Канарис! Да, и Канарис — тоже! — воскликнул фюрер с таким пафосом, словно это он, причем только что, сумел изобличить шефа абвера.

«После такой истерики на Остере и Канарисе можно поставить крест, — понял Мюллер. — Гитлер не только не освободит их, но и не оставит в живых».

— Так вы все же намерены ознакомиться с этими дневниками, мой фюрер? — как можно спокойнее, будничнее поинтересовался Генрих, когда Гитлер в конце концов уgomонился.

Тот замялся, натужно посопел в трубку и уже совершенно спокойным, почти вкрадчивым голосом спросил:

— Вы уже прочли их, Мюллер?

— Самым внимательным образом.

— Это действительно дневники предателя?

— Это дневники шефа абвера, то есть человека, который вообще не имел права на какие бы то ни было дневниковые словоизлияния.

— Но в своих записях адмирал, конечно же, предстает как мой ненавистник.

Личной ненависти к фюреру в дневниковых записях Канариса шеф гестапо не уловил, но соврал:

— Они пронизаны этой ненавистью. Причем ко всем нам.

— И Канарис — тоже, — уныло произнес Гитлер. — Странно все это, Мюллер.

— Согласен, мой фюрер, — охотно отозвался Генрих, — очень странно.

— Он по-прежнему прохлаждается в Школе пограничной охраны?

— Куда уже давненько был доставлен Шелленбергом, — ненавязчиво напомнил ему «гестаповский мельник».

— Но ведь по вашему же приказу, Мюллер, — повысил голос Гитлер.

— Так было решено на первом этапе его ареста, — уклончиво объяснил шеф гестапо, не решаясь ссылаться ни на Кальтенбруннера, ни тем более на Гиммлера. К тому же он хорошо помнил, что на самом деле ссылка эта была согласована с самим фюрером.



— А ведь ясно, что дело адмирала-изменника давно пора передавать в суд.

— Сейчас же прикажу доставить адмирала во внутреннюю тюрьму гестапо и усиленно допросить.

Произнеся это, Мюллер затаился, ожидая реакции фюрера. Тот вновь нутужно посопел в трубку, как суслик, высунувшийся из норки после зимней спячки, и едва слышно произнес:

— Только лично проследите, чтобы Канарис обязательно дожил до приговора суда.

В течение трех предыдущих допросов Кренц вел себя подчеркнуто вежливо, и хотя вопросы его становились все более конкретными и настойчивыми, однако адмиралу пока еще казалось, что задавал их следователь с какой-то благодушной ленцой. Зато слушателем он представлял идеальным. Его интересовало решительно все: и как Канарис лично спасал президента Мексики генерала Гуэрта, когда повстанцы свергли его и как после побега из лагеря интернированных германских моряков, располагавшемся на чилийском острове Квириквина, он оказался в семье германского поселенца в Аргентине фон Бюлова.

Его во всех подробностях интересовало, какую именно бумагу подписывал беглый германский офицер Канарис, получая у некоего местного английского агента фальшивый паспорт на имя чилийского гражданина Рида Розаса, с которым он нанялся на шедший в Европу теплоход «Фризия». Кто свел его с этим человеком и с какими просьбами обращался к нему «даритель паспорта». А еще Кренц долго и придирчиво выяснял, каким образом во время этого рейса ему удавалось успешно пройти тщательную проверку английских чиновников в Плимуте и нидерландских — в Роттердаме. И что способствовало его назначению в 1916 году на должность помощника германского военного атташе корветтен-капитана фон Крона в Испании...

С одной стороны, Канариса поражало, какими подробностями его сумбурной биографии оберштурмбаннфюрер уже владеет, с другой — удивляло, с каким интересом следователь выслушивает

его повествования по поводу каждого отдельного события.

— Мое руководство, — молвил Кренц после того, как, более чем скромно отобедав в своей тюремной «келье», адмирал вновь вернулся в следственную камеру, — интересуют некоторые моменты сотрудничества возглавляемого вами абвера с гестапо. В частности, причину появления на свет навязанного вами в свое время Мюллеру документа, получившего название «Десять заповедей».

— Вашему руководству прекрасно известен смысл этого документа, — неохотно проворчал адмирал. <sup>[60]</sup>

— Естественно. Неизвестно только, почему вы так упорно сопротивлялись сотрудничеству с гестапо.

— Вы, Кренц, то ли вообще в глаза не видели «Десять заповедей», то ли очень невнимательно ознакомились с его положениями. Иначе вы знали бы, что этот меморандум как раз и определял формы сотрудничества между абвером, службой безопасности СС, то есть СД, и гестапо. Но только на равноправной основе. Да, мы обязаны были делиться разведывательной информацией, сообща разрабатывать и осуществлять отдельные операции, в каких-то случаях совместно использовать нашу агентуру. Но все эти формы взаимодействия необходимо было налаживать на равноправной основе. Коль уж в государстве образовалось несколько разведок и несколько центров борьбы с иностранной агентурой, следовало выработать правила игры в интересах каждого из этих ведомств. Поэтому мне не понятны претензии вашего руководства, да к тому же слишком запоздалые.

Следователь выслушал его объяснения с нескрываемой тоской на лице.

— Но ведь вы так и не позволили агентуре гестапо работать в ваших структурах, адмирал. Где это видано, чтобы политическая полиция потеряла контроль над огромным ведомством, непосредственно связанным с работой многих сотен агентов за линией фронта и за рубежами рейха.

— А если бы вас, Кренц, назначили руководителем военной разведки, вы смирились бы с тем, чтобы за вами лично и всем руководством абвера шпионили десятки гестаповцев, отслеживая каждый ваш шаг, каждый контакт? А ведь, кроме всего прочего, появление подобных надзирателей от гестапо еще и противоречит законам конспирации. И вообще, гестаповцам и служащим СД нечего было делать в абвере, где всегда существовала внутренняя служба безопасности, занимающаяся выявлением двойных агентов и засланной вражеской агентуры. В частности, среди той части агентов, которая была набрана из числа военнопленных и перебежчиков.

Кренц закурил и долго массировал правую щеку, которая, после партизанской контузии где-то в Украине, время от времени немела.

— Лично я способен понять вас, адмирал, — заговорил он после затянувшейся паузы, — но судья вряд ли упустит возможность узреть в этом противодействие гестапо, что само по себе уже является покушением на нерушимые устои рейха, как любят выражаться в Народном суде.

Канарис промолчал, однако про себя отметил, что это первый случай, когда следователь проявил хоть какое-то понимание его действий и даже готов был оправдать их, пусть даже с оглядкой на судей.

— Но вы хоть понимали, что, выступая против главенства СД, наживаете себе врага в лице тогдашнего шефа Главного управления имперской

безопасности Гейдриха? — скользнула по губам Кренца покровительственная ухмылка.

— Врага в лице Гейдриха я нажил себе еще в те времена, когда решился выступить в качестве свидетеля на суде чести, устроенном офицерами боевого корабля над этим человеком.

— Суд над Гейдрихом?! — оживился Кренц. — Так-так, любопытно. И в чем же заключалась его вина?

— В том, что он подделал доказательства своего арийского происхождения.

— Хотите сказать, что Гейдрих не был арийцем?

— А как может быть арийцем человек, мать которого была еврейкой? Пусть даже и не чистокровной.

— И такой человек впоследствии возглавил Главное управление имперской безопасности?! — вырвалось у Кренца.

В ответ адмирал лишь грустно улыбнулся: «Если бы это касалось только Гейдриха!»

— Признайтесь, Кренц, что значительная часть компромата, которую вы сейчас прорабатываете во время моих допросов, взята из досье, сочиненного на меня именно им, Райнхардом Гейдрихом?

— И теперь мне понятно, почему оно выглядит столь обильным и желчным. И почему так воинственно настроен против вас, адмирал, его преемник, обергруппенфюрер Кальтенбруннер. Однако есть в этом досье, — постучал он указательным пальцем по папке дела, — и такие факты, оценка которых не поддается влиянию ваших внутренних врагов и недоброжелателей.

— Например? — с вызовом спросил Канарис.

— Крайне неэффективная деятельность абвера в России, когда из-за халатности вашей агентуры вермахт не получил сведений о передислокации советских войск под Сталинградом.

— Нам вообще не следовало ввязываться в битву за Сталинград, а если уж ввязались, то следовало прекратить натиск на Кавказ и в районе Каспийского моря. Нельзя было распылять дивизии вермахта, которых к тому времени и так уже катастрофически не хватало.

— Точно так же, — не стал полемизировать с ним Кренц, — вы скрыли от штаба вермахта и фюрера сведения о намечающихся высадках союзнических войск в Северной Африке, а затем в Италии.

— Какие у вас основания утверждать, что я скрыл их от верховного главнокомандования? — окрысился Канарис. — Сначала следует доказать, что я обладал ими.

— Этого и доказывать не нужно. Командование сухопутных сил не получило ваших агентурных данных — и этого достаточно.

— Этого совершенно недостаточно, оберштурмбаннфюрер. Если военная разведка не сумела получить сведений о каких-то операциях, то из этого следует только одно: плохо сработала агентура. Но слабая работа агентуры абвера — еще не доказательство того, что его руководитель — предатель. Тем более что англичанам удалось перевербовать нескольких агентов абвера, превратив их в каналы дезинформации.

— Агентов абвера в Великобритании не перевербовывали, адмирал. Это вы предательски сдали их британцам, дабы подтвердить свое сотрудничество с их разведкой. Точно так же вы использовали свою агентуру для того, чтобы выступить в роли посредника в переговорах между премьер-министром Италии маршалом Бадольо и англо-американцами. Это благодаря вам Бадольо сумел очень быстро, а главное, скрытно от фюрера, договориться о капитуляции Италии, в результате которой Германия потеряла

своего стратегического союзника, действовавшего в Западной и Южной Европе, прикрывавшего там наши тылы.

От Канариса не скрылось, что голос Кренца становился все более жестким, а формулировки, которыми он пользовался, — откровенно обвинительными.

— Так дело не пойдет, оберштурмбаннфюрер. Вам поручено объективно изучить все выдвинутые против меня обвинения. Именно объективно, непредвзято расследуя каждый эпизод. Вы же настроены обвинять меня даже в том, в чем обвинять совершенно бессмысленно.

— Откуда вам знать, адмирал, что именно мне поручено, а что исходит от меня самого?

— Вы должны взвешивать каждый факт, разбираться по каждому эпизоду. Таков принцип любого непредвзятого следствия.

— ...Которого так строго придерживались во время ведения допросов добродетельные следователи из числа сотрудников абвера! — уже откровенно издевался над ним Кренц.

— Да, представьте себе...

— В реальности же, — буквально прорычал Кренц, — мне поручено довести дело предателя рейха адмирала Канариса до смертного приговора! Довести это дело до виселицы — вот что мне поручено, адмирал, если уж вас так интересуют некоторые служебные тайны гестапо.

Услышав это, адмирал понял, что с этой минуты игра в либерализм кончилась, дальше начинаются обычные гестаповские «беседы по душам». Если до этого признания Кренца адмирал еще рассчитывал посоревноваться со следствием, побороться со своими обвинителями, то теперь он понял, что доказывать свою невиновность и вообще что-либо в ходе следствия уже бесполезно.

— В таком случае мое дальнейшее сотрудничество со следствием не имеет смысла, — угрюмо обронил он. — Ответов на «любопытательные» вопросы, а тем более исповедей впредь не будет.

С минуту они молча смотрели друг на друга, явно испытывая нервы и выясняя намерения. Никто не решался заговорить первым, и чем дольше длилось это странное молчание, тем безысходнее оно казалось. Причем обоим.

— Напрасно вы так ведете себя, адмирал! — наконец насмешливо предупредил его следователь. — Ведь у вас еще так много за душой всего того, в чем следовало бы исповедаться в этой, — Кренц вальяжно обвел рукой пространство вокруг себя, — СС-келье! А главное, кто еще способен так молитвенно и библейно отпустить вам все ваши грехи, как мы?

— Кто это «мы»?

— Мы — это сотрудники гестапо, снизошедшие на эту землю во главе с апостолом Мюллером.

— Не кощунствуйте, Кренц, побойтесь Бога, — проворчал адмирал.

— Что вы знаете о кощунстве в следственной камере, Канарис?! — голос следователя наполнил металл. — Что вы о нем знаете?

— Это вы говорите мне?! — презрительно передернулся рот адмирала.

— Вам, бывший шеф абвера, вам, — постепенно наливалось кровью лицо Кренца.

— Решили, что вам это уже позволительно? — попытался восстановить свой статус адмирал Канарис.

— Решил, что о кощунстве над человеческой сущностью вам следовало бы расспросить у тех заключенных, которых лично вы, адмирал Канарис, допрашивали и пытали в камерах предварительного следствия абвера.



Наступившая пауза оказалась томительной для них обоих. С той только разницей, что Кренц ожидал ее завершения с любопытством, а Канарис — с мучительным желанием уйти от какой-либо реакции на его обвинение.

— Это случилось крайне редко, — резким движением руки попытался отмести его обвинение адмирал.

— Вот видите, случилось...

— Я сказал: крайне редко, — напомнил Канарис следователю.

И лишь потом удивленно уставился на оберштурмбаннфюрера, словно только теперь понял истинный смысл произнесенных им слов.

— У нас имеются другие сведения — и вполне конкретные свидетельства. Причем с особой жестокостью вы зверствовали как раз в те дни, когда появлялись в камерах после очередной ссоры с откровенно игнорировавшей и отвергавшей вас красавицей женой.

Услышав это, Канарис мгновенно прекратил свое нервное покачивание на стуле и резко распрямил спину. По поводу ссор с женой — это было святой правдой, но той правдой, о которой следователь гестапо не мог и не должен был знать.

— В любом случае, мне приходилось допрашивать врагов рейха, особой мягкости к которым наши законы не предусматривают.

— А мы, по-вашему, кого допрашиваем? — оскалил прокуренные зубы оберштурмбаннфюрер. — Его истинных друзей?

— И все же какое значение могут иметь наши с женой отношения к делу о..? — адмирал запнулся, не зная, как бы выразиться поделикатнее.

— ...О заговоре против фюрера, — охотно подсказал ему Кренц, вновь ехидно оскаливая редкие,

основательно пожелтевшие зубы.

— ...К делу, по которому меня обвиняют? — нашел Канарис более приемлемый вариант.

— Ну, во-первых, к делу о заговоре против фюрера имеет отношение решительно все, что расходится с дисциплиной, законами и моралью рейха. А во-вторых, мы как раз и пытаемся понять, какое отношение к вашим вспышкам ревности к жене и ее вспышкам неприязни к вам имеет стремление пополнять свои зарубежные счета продажей важнейших тайн рейха.

— Нет у меня никаких зарубежных счетов! — буквально взревел Канарис. — Нет и никогда не было.

— А вот это нам еще только предстоит выяснить, альтруист-бессребреник вы наш.

— Здесь нечего выяснять! И так все ясно.

— Нервы у вас ни к черту, адмирал. Как с такими нервами можно было руководить абвером — ума не приложу.

\* \* \*

Двое суток спустя, после очередного изнурительного допроса, Канарис вдруг почувствовал себя плохо. Состояние его было настолько очевидным, что следователь сам прервал словесную дуэль и, вызвав конвоира, отправил адмирала в камеру.

Он уже задремал, когда в проеме двери появился тюремный фельдшер.

— Сначала требуют буквально воскрешать заключенного из мертвых, — проворчал он еще с порога, — а когда тот немного придет в себя, отправляют на казнь. Вы не скажете мне, адмирал, в чем смысл подобного лечения?

— Очевидно, в особом тюремном гуманизме.

Фельдшеру было под шестьдесят; приземистый, истощенный, с обвисшими коричневыми мешочками у глаз, он сам мог представлять интерес для целого консилиума врачей. Но из всех предполагаемых диагнозов самым очевидным и неизлечимым являлся тот, что врач был... иудеем. Причем с такими впечатляющими признаками вырождения, что дожить с ними почти до конца войны можно было, только пребывая на службе у гестапо.

— И вы — тоже о гуманизме, господин Канарис...

— А кто еще изощрялся на эту тему? — устало спросил адмирал, чувствуя, как головокружение понемногу успокаивается.

— Господин Кренц.

— О боги, еще один ценитель гуманизма!

— Я воскликнул точно так же, но оберштурмбаннфюрер Кренц сказал мне: «Сходите-ка посмотрите этого великого лютеранского гуманиста Канариса. Каким бы хворям не предавался наш адмирал, на эшафот он должен взойти походкой императорского гвардейца. Иначе вместо него взойдете вы».

— Что-что, а убеждать оберштурмбаннфюрер умеет.

— ... В чем успели убедиться многие. Но, в конечном итоге, дело не в этом. Интересно, с чего это вдруг он назвал вас лютеранским гуманистом?

— Во время последнего допроса мы как раз беседовали о гуманистических ценностях лютеранства. Естественно, первым об этом заговорил Кренц.

— За лютеранский гуманизм теперь тоже восходят на эшафот? — без какого-либо удивления в голосе поинтересовался фельдшер. — Раньше мне казалось, что только за иудейский.

Безучастно выслушав жалобы заключенного и столь же безучастно прощупав пульс, лекарь заставил его выпить какой-то порошок, затем, после пяти минут

неловкого молчания, две таблетки и, закрыв свою сумку, собрался уходить.

— Что у меня, фельдшер?

— В этой тюрьме не существует болезни, которая помешала бы палачу вздернуть вас. Разница лишь в том, что одни восходят на эшафот сами, а других волокут, как недорезанную скотину.

— Только потому и спрашиваю, что встретить смерть хочу достойно.

Фельдшер остановился у двери, оглянулся и произнес:

— Это всегда заслуживает уважения: и тех, кто будет помнить вас, и даже тех, кто будет вас казнить. Некоторые пытаются кончать жизнь самоубийством, однако делать этого не стоит. И вы прекрасно понимаете, почему.

— Понимаю.

— Говорят, вы переправили нескольких евреев в Швейцарию, а затем помогали им финансово.

— Подобные вопросы уже много раз задавал мне следователь.

— Вы не обязаны отвечать, адмирал. Важно уже то, что мне об этом известно и что именно в этом гестапо видит ваше самое страшное, непростительное преступление. Некоторые заключенные выпрашивают у меня яда, чтобы избежать страха восхождения на голгофу. Здесь это величайшая ценность.

— Выступаете в роли торговца смертью?

— Многим я не дал бы яда, даже если бы он у меня был. Не из страха перед наказанием, а по совершенно иным мотивам. Но вам, адмирал, пожалуй, дал бы. Исключительно из уважения.

Через какое-то время пилюли подействовали, и адмирал даже впал в легкую дрему, но в это время начался налет «летающих крепостей». Не только стены тюрьмы, но и земля под ней содрогались от рева их

моторов и взрывов. Причем бомбы ложились настолько близко, что не было никакого сомнения: пилоты не просто бомбят прилегающий район Берлина; нет, они целеустремленно совершают налет на здание Управления имперской безопасности.

«Погибнуть под руинами гестапо? Что ж, это было бы символично. «Здесь покоится адмирал Канарис, человек, благополучно похоронивший абвер и столь же благополучно погибший под руинами гестапо». Кто еще может удостоиться подобной эпитафии?»

Вот только погибнуть под руинами ему было не суждено. Как только отбомбилась вторая волна англо-американцев, в камеру к Канарису ворвались двое крепких охранников и сбросили его с нар.

— Что происходит? — попытался остепенить их адмирал, поскольку так бесцеремонно и грубо с ним еще не обращались.

Однако эсэсовцев хватило только на то, чтобы дать ему возможность собрать в небольшую сумочку личные вещи, с которыми они и швырнули его к двери. Затем адмирала еще несколько раз швыряли то к стенке, то на усыпанный щебенкой цементный пол.

Когда, вместе с еще какими-то заключенными, адмирала выводили из здания внутренней тюрьмы гестапо, он увидел, что часть здания Управления имперской безопасности полуразрушена, а из окон верхнего этажа вылит густой дым. «Чтобы разрушить все это, понадобится еще не один налет», — с грустью подумалось Канарису.

Только у борта машины, у которой уже стояло несколько закованных в кандалы узников, один из них, генерал Остер, успокоил его:

— Это еще не казнь, адмирал, нас везут в концлагерь. Охранник проговорился. В какой — он, очевидно, и сам не знает.

— Значит, предстоит еще и концлагерь? Напрасно вас это утешает, генерал. Уж лучше бы сразу на казнь.

— Стоит ли торопиться? Фюрер вот-вот капитулирует.

— Но произойдет это уже после нас, — успел произнести Канарис, прежде чем охранник замахнулся на генерала Остера прикладом винтовки.

Это был уже даже не сон, а какое-то предсмертное забытие. Когда к полуночи Канарис почувствовал, что сознание в его истощенном мозгу предательски угасает, он изо всех сил напряг свою волю, чтобы разорвать сети сонливости. Адмирал не мог позволить, чтобы это ночное беспамятство лишало его последних часов жизни, последних часов осознания самого себя, своего бытия.

Он хватался за свои воспоминания, как висельник, которому забыли связать руки, за небрежно намыленную петлю, чтобы хоть на несколько секунд оттянуть момент гибельного удушья. «Нет уж, — говорил он себе, — впереди у тебя целая вечность мертвецкого небытия, и предаваться сну в эти последние часы жизни, пусть даже проведенные в камере смертников, — непростительное расточительство».

Вчера под вечер у него в камере неожиданно появился оберштурмбаннфюрер Кренц, его следователь, его губитель, по существу — его палач. Он задержался у прикрытой двери, за которой топтался специально приставленный им автоматчик, и произнес то, что Канарис больше всего хотел и точно так же больше всего боялся услышать:

— Это произойдет завтра, адмирал.

Канарис медленно поднялся с нар, отошел к стенке, в которой где-то там, под потолком, излучало свою серость лагерное небо, и одернул китель. В отличие от пребывавшего в соседней камере генерала Остера, который уже был облачен в грубую тюремную робу, адмирал все еще оставался в своем мундире. И хотя на кителе его уже не оставалось ни наград, ни погон, ни

каких-либо знаков различия, тем не менее Канарис был по-своему признателен тюремщикам за то, что они не лишили его этого последнего флотского атрибута.

— Вас специально прислали ко мне, чтобы сообщить это? — попытался смертник оживить свой сдавленный волнением и простудой голос.

— Я пришел сам, господин адмирал, — молвил Кренц. И Канарис вновь обратил внимание на то, что в обращении гестаповец употребил его чин, хотя в последние дни перед отправкой в лагерь принципиально избегал этого.

— Что ж, воля ваша. Очевидно, я не имею права лишать вас такой возможности.

— И не стоит, адмирал. Я действительно пришел сам, хотя подобные визиты в камеры приговоренных к казни, как известно, не поощряются. Посодействовал начальник лагеря.

— ...Или Кальтенбруннер, решивший, что перед казнью я вдруг стану разговорчивее?

— Напрасно вы так, адмирал, — едва слышно пробормотал Кренц.

Но вместо того чтобы убеждать адмирала, что появился он в камере по собственной воле, уселся на краешек нар и, упершись руками в коленки, загнал свой взгляд куда-то в угол, между тускло освещаемой фигурой заключенного и сырой, словно только что специально увлажненной, стеной.

— Значит, все-таки Кальтенбруннер... — наседал на него Канарис.

— Ваши показания, адмирал, обергруппенфюреру не нужны, особенно теперь, после суда. Начальник Главного управления имперской безопасности и так никогда не сомневался в вашей виновности. Ему даже не требовались какие-либо факты, хватало собственной убежденности.



— Значит, это по приказу Кальтенбруннера я был переведен из внутренней тюрьмы РСХА в лагерь?

— По его приказу сюда, в лагерь Флоссенбург, были переведены все заключенные внутренней тюрьмы РСХА. И произошло это после налета авиации союзников на Главное управление. Замечу, однако, что относительно вас последовал особый приказ.

— Понятно, Кальтенбруннер испугался, что мы можем погибнуть под развалинами внутренней тюрьмы гестапо и ему некого будет вешать, — мрачновато ухмыльнулся адмирал.

— Мне не хотелось бы обсуждать действия шефа РСХА, господин Канарис, тем более с заключенным, — резковато предупредил его Кренц. — И не только потому, что опасаюсь, — просто это не в моих правилах.

— Мне стоило бы пожалеть, что я не придерживался тех же правил, — тяжело вздохнул адмирал. — Тогда не появились бы на свет все эти дурацкие дневники и прочие бумаги, которые ваши люди обнаружили в бункере одной из тренировочных баз абвера.

— Прятать их там было крайне неосторожно, — признал оберштурмбаннфюрер. — Цель ваша понятна: сохранить свои записи и некоторые документы до окончания войны. Однако место и способ утаивания были избраны крайне неудачно.

— Я оказался плохим разведчиком, Кренц; слишком много небрежности в работе, слишком много ошибок и упущений...

— Не стану убеждать вас в обратном. У каждого из нас свои ошибки.

Канарис видел, что Кренц появился в зале лагерного суда, однако особого значения этому не придал. Оберштурмбаннфюрер являлся следователем, «подводившим под приговор» не только его, но и генерала Остера, а также пастора Дитриха Бонхёффера, поэтому не было ничего странного в том,

что, решив подстраховаться, председатель суда доктор Гуппенкотен предпочел держать его под рукой. Судьба подсудимых, конечно же, была решена задолго до начала этого судебного процесса, но все же — так, на всякий случай...

К моменту суда пастор Бонхёффер уже во всем сознался, покаялся и теперь предавался молитвам во спасение; генерал Остер был морально сломлен и почти заискивающе соглашался со всем, что ему предъявляли и в чем обвиняли, словно бы в душе все еще рассчитывал на некое снисхождение. Но адмирал... адмирал все еще продолжал упорствовать! Он упрямо отметал все обвинения в предательстве, ссылаясь то на свою неосведомленность по поводу действий подчиненных, то на собственные разработки разведывательно-диверсионных операций, которые свидетельствовали о его преданности рейху; то на верноподданническую телеграмму сочувствия, посланную им фюреру сразу же после покушения на него полковника фон Штауффенберга... Да мало ли на что мог ссылаться этот опытный шпион и контрразведчик, сам не раз допрашивавший внешних и внутренних врагов рейха, а теперь яростно сражавшийся уже даже не за свое спасение, а хотя бы за право оставить в судебном деле максимум доказательств своей непричастности к заговорам против фюрера и вообще к какой-либо деятельности, направленной против рейха!<sup>[61]</sup>

— Так что же вас все-таки привело сюда, Кренц?

— В ходе следствия мы с вами много общались...

— Даже слишком много, если судить по толщине двух папок, которыми потрясал на суде доктор Гуппенкотен. Представить себе не мог, что в них наберется столько бумаг!

— Вы не смеее упрекать офицера гестапо в том, что он честно выполнял свой долг, — жестко отрубил Кренц, — даже если его действия были направлены против вас. Уже хотя бы потому не смеее, экс-шеф абвера, что, как никто иной, не имеете на это морального права.

— Согласен, не мне упрекать вас, Кренц. Но все же это не ответ по существу. Что привело вас сюда? Следствие завершено, Кальтенбруннеру мои показания не нужны. Тогда в чем дело? — забывшись, адмирал вдруг начал говорить со следователем привычным начальственным тоном. Словно обер-штурмбаннфюрер вторглся к нему не в камеру смертников, а в служебный кабинет.

— Я уже сказал, что мы с вами много общались; к тому же я внимательно ознакомился с вашими дневниками, вашими суждениями.

— Хватит исповедей, оберштурмбаннфюрер. Вам удалось убедить и Мюллера, и Гуппенкотена, и даже фюрера в том, что это дневники предателя рейха.

Кренц приподнял голову и задержал свой взгляд на сером, исхудавшем лице обреченного.

— Извините, адмирал, мне не следовало приходить к вам, отбирая своими разговорами драгоценные минуты вашей жизни.

— Вы не отбираете их — наоборот, наполняете и скрашиваете, — поспешно проговорил адмирал, по-настоящему испугавшись, что следователь может сейчас же подняться и уйти.

— Время перед казнью — это, следует полагать, время воспоминаний, поэтому мой приход и в самом деле оказался несвоевременным, — посочувствовал Кренц.

— Через все воспоминания и раскаивания я уже прошел. Впереди — только бессонная ночь и

жутковатое ожидание гибели. Впрочем, все мы теперь находимся в ее ожидании.

— С каждым днем это ощущается все острее, — подтвердил Кренц.

— Кстати, что происходит сейчас там, на фронтах?

— Ситуация крайне сложная. Кольцо вокруг Берлина стягивается. Фюрер все еще уверен, что нам удастся избежать полного краха, и рассчитывает на то, что получится поссорить англо-американцев с русскими; но обстоятельства таковы, что остается только молиться, — и Кренц развел руками.

— Нам и в самом деле удалось бы их поссорить, но только в том случае, если бы удалось убрать фюрера. Пока у власти Гитлер, на мирные переговоры с нами ни одна страна не решится. Они уже чувствуют запах жертвенной крови, запах дичи, и не успокоятся, пока не поставят нас на колени.

— Вынужден признать, что в офицерской среде вермахта царят теперь точно такие же пораженческие настроения. Появилось множество дезертиров, которых суды безжалостно расстреливают или вешают.

— То, что Геббельс все еще называет «пораженческими настроениями», на самом деле является трезвой оценкой ситуации.

Даже когда адмирал умолк, Кренц все еще продолжал согласно кивать головой. Это там, за стенами камеры, его тоже могли обвинить в пораженческих настроениях и предать суду, а здесь, в камере смертников, бояться ему уже нечего. Теперь он и сам чувствовал себя обреченным.

— И как долго, по вашим оценкам, адмирал, Германия еще в состоянии продержаться?

— Больше месяца агония рейха не продлится, как бы фюрер и его последователи ни пытались оттянуть час позорной капитуляции.

— Это ужасно.

— И попомните мое слово, оберштурмбаннфюрер, очень скоро высших руководителей рейха будут вешать так же, как теперь вешают они. Только нас казнят как врагов фюрера, а их будут казнить как врагов человечества. И в этом, именно в этом, заключается принципиальная разница.

После этих слов Кренц метнул встревоженный взгляд на дверь и резко поднялся.

— Я наведалься к вам, потому что внимательно прочел дневники, и многое из того, что там излагается, мне запомнилось, — поспешно, приглушив голос, проговорил он. — Полагаю, запомнилось до конца дней. Хотя согласен я далеко не со всем, особенно с характером ваших отношений с англичанами...

«А ведь по фигуре Кренц вполне подошел бы, — вдруг мелькнуло в сознании Канариса, и он медленно, по-кошачьи, стараясь не спугнуть свою жертву, стал приближаться к эсэсовцу — И не такой уж он крепкий, чтобы противостоять мне...»

— Вы правы, Кренц, вы правы, — взволнованно проговорил адмирал, нервно потирая вмиг вспотевшие руки о бока кителя. — Мне хотелось бы еще кое-что сказать вам, Кренц, очень важное для нас обоих, Кренц...

Узник остановился в шаге от следователя, однако за дверью слышались шаги часового, да и сам эсэсовец, словно бы почуяв что-то неладное, попятился к приоткрытой двери.

— Все, адмирал, все!.. — лихорадочно проговорил он, уже стоя в мрачном квадрате проема, под защитой часового. — Наше время истекло. Казнь, как я уже сказал, — на рассвете. Утверждают, что она будет какой-то особой.

— Что значит «особой»? — переспросил Канарис. — Какой еще... «особой»?

— Очевидно, особо жестокой.

— Но ведь приговор уже последовал: «Казнить через повешение».

— Судя по всему, особо... мучительной, — поспешно проговорил Кренц. — Вешать ведь можно по-разному.

— Очевидно, да, по-разному, — растерянно пробормотал адмирал, не ожидавший подобного завершения разговора.

— Существует множество способов повешения, адмирал, уж поверьте мне, — с каким-то затаенным сладострастием заверил его Кренц.

— И каким же способом станут казнить меня? — не в состоянии был скрыть дрожь в голосе Канарис.

— Вам этого лучше не знать. Так что мужайтесь, адмирал, мужайтесь! — уже на ходу обронил следователь гестапо, оставляя камеру.

Металлическая дверь перед лицом арестанта уже давно с грохотом закрылась, а он все стоял и стоял перед ней, осознавая всю безнадежность своего ожидания, как проклятый Богом грешник — перед воротами рая.

А ведь еще мгновение, и ты мог бы наброситься на этого негодяя, мысленно сказал себе Канарис. Только теперь он признался себе, что чуть было не повторил опыт побега из камеры смертников римской тюрьмы.

Да, побега... Тогда он тоже оказался на волоске от гибели, и вроде бы ничто уже не способно было спасти его: из Германии помощи ждать было не от кого, денег для подкупа стражи у него не было, в Италии ни одного влиятельного знакомого не обнаруживалось. И тогда он разработал гениальный план побега, который осуществлялся у него под кодовым названием «Операция «Каин»».

Началась она с того, что, как только Вильгельм Канарис слышал шаги приближающегося к двери охранника, он тотчас же становился на колени, спиной к окошечку, в которое заглядывал итальянский карабинер Моллино, и начинал истерично отмаливать свои грехи.

Моллино был человеком исключительно набожным, а поскольку был обязан докладывать представителю контрразведки майору Согдини обо всех особенностях поведения Германца, как называли Канариса в этой тюрьме и охрана, и заключенные, то, среди прочего, он доложил о том, что Германец вдруг впал в фанатичную религиозность.

Согдини воспринял это как многообещающий признак и предложил неплохо владевшему немецким

языком Моллино наладить с Германцем более тесные контакты. В частности, почаще, якобы в тайне от начальства, вступать с ним в разговоры об Иисусе и загробной жизни. Со своей стороны майор обещал всячески готовить заключенного к мысли о том, что его неминуемо казнят.

Согдини, конечно же, блефовал. Он давно подозревал, что Германец явно не тот, за кого выдавал себя по документам, однако кто он на самом деле, этого майор пока что не знал. В то же время ему и в голову не приходило, что человек, которого он допрашивал, уже имел чин контр-адмирала германских Военно-морских сил и что Гитлер послал его в Италию как одного из своих самых близких и доверенных людей. Как не догадывался Согдини и о том, что Германец был обязан не только создать в Италии надежную, профашистски настроенную агентурную сеть, но и попытаться наладить связь с людьми, близкими к Муссолини, чтобы иметь в его окружении свои глаза и уши. И даже кое-что в этом направлении успел сделать.

Маленького роста, худощавый, слегка сутуловатый, Германец мог напоминать Согдини, офицеру гладиаторского телосложения, кого угодно, только не адмирала и одного из организаторов гитлеровской разведки. Наверное, только это и помогало Канарису до сих пор сохранять свое инкогнито.

Через несколько дней после того, как арестант «впал в фанатичную религиозность», контрразведчик поинтересовался, не желает ли он исповедаться перед пастором, а когда тот довольно неохотно согласился, намекнул, что визиты пастора могли бы стать регулярными, если, конечно, арестованный действительно станет на путь раскаяния. Майору и в голову не приходило, что он оказался втянутым в операцию «Каин» и что в эти минуты Германец торжествует первую победу.



Как оказалось, пастором-исповедником Германца-Канариса вызвался стать священник какого-то орденского монастыря,<sup>[62]</sup> расположенного рядом с тюрьмой. Во время первого же своего посещения этот уже далеко не молодой монах признался Канарису, что собирается стать доктором философии и что тема его диссертации связана с особенностями восприятия смерти верующими и неверующими обреченными. В этой связи Германец якобы представлял для него особый интерес, поскольку ему угрожала смертная казнь, при этом он раскаивался во всех земных грехах и в самые страшные дни занимался богоискательством.

Пастор даже не догадывался, что сам он как личность тоже представлял интерес для заключенного. С первой же встречи Канарис начал превращать их беседы в четко отрежессированный ритуал. Как только пастор входил, Вильгельм усаживал его на стул спиной к двери, а сам становился перед ним на колени и долго исповедовался и молился, а перед его уходом обязательно спрашивал какого-нибудь совета. Пастора это просто-таки умиляло.

Когда же расчувствованный пастор уходил, Германец обязательно бросался на нары вниз лицом и плакал или же только изображал из себя плачущего — особого значения это уже не имело. Особенно старательно придерживался Вильгельм канонов этого ритуала во время дежурства капрала карабинеров Моллино. При этом добродушному капралу даже в голову не приходило, что в течение каждого из пасторских визитов заключенный тщательно изучает не только походку, жесты, голос и манеру речи пастора, но и реакцию на свое поведение его самого, своего тюремщика.

И когда во время очередной исповеди Канарис в течение нескольких секунд умудрился задушить

пастора, капрал Моллино смог увидеть в смотровое окошечко только то, что видел всегда: сидевшего к нему спиной пастора, покрытая монашеским капюшоном голова которого низко склонилась над стоявшим на коленях Германцем. Наблюдая эту умилительную сцену раскаяния блудного сына Христова, богобоязненный капрал воздавал хвалу Господу и себе: как-никак, на земле одним грешником становилось меньше.

Ну а затем, как обычно, последовал условный троекратный стук в дверь, и из камеры старческой, шаркающей походкой вышел пастор. Оглянувшись на тяжелую тюремную дверь, пастор осенил ее крестом и, склонив голову, побрел впереди капрала к выходу. Прежде чем закрыть дверь на ключ, карабинер заглянул в камеру и увидел, что, как обычно, Германец лежит на своих нарах, уткнувшись лицом в матрац. И только вечером, когда обнаружилось, что заключенный упорно не желает откликаться на многократные требования взять миску с тюремной похлебкой, карабинер выяснил, что на самом деле на нарах лежит давно остывшее тело убиенного пастора. Сам же Канарис к тому времени уже был далеко за пределами Рима.

Да, «Каин», несомненно, стала лучшей из его операций — им самим разработанная и им же осуществленная. Не зря же со временем она стала своеобразной классикой побега из камеры — побега, который, как всегда казалось тюремщикам Канариса, даже в принципе был невозможен.

Спустя много лет эта операция не только стала одной из легенд адмирала Канариса, но и подробно анализировалась на занятиях по подготовке разведчиков в специальных разведшколах и тренировочных лагерях абвера. В том числе и в лагере «штаба Вали», развернутого в июне 1941 года под

Варшавой и нацеленного исключительно на разведывательно-диверсионную деятельность в тылу русских. Хотя «трюк с пастором» в целях использования его в тылу русских коммунистов-безбожников казался не только неприемлемым, но и лишенным какого-либо смысла.

Знал ли об операции «Каин» оберштурмбаннфюрер СС Кренц, задавался теперь вполне резонным вопросом адмирал, нервно прохаживаясь по камере смертников концлагеря Флоссенбург. Наверняка знал. Гестапо ведь очень подробно прослеживало все этапы его вхождения в германскую разведку и все круги его восхождения к вершинам абвера. Как они могли упустить такой странный,стораживающий эпизод из биографии Канариса? А вдруг на самом деле он не бежал, а был завербован итальянской разведкой, которая инсценировала это бегство?

Ведь заинтересовались же и Кренц, и Мюллер тем, как он, тогда еще только капитан цур зее,<sup>[63]</sup> организовывал побег одного из убийц германских коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Хотя в свое время следствие было прекращено только потому, что к власти пришли нацисты во главе с Гитлером, а значит, объективно этот эпизод из биографии лишний раз доказывал его преданность нацистской идеологии.

Наверное, во время встречи с ним Кренц попросту вспомнил о сценарии бегства адмирала из римской тюрьмы и решил, что Канарис решит повторить свой трюк с убийством и переодеванием. Хотя теперь, слегка поостыв, адмирал, понимал, что дважды такие трюки не удаются. Тем более что не было никакой возможности подготовиться к нему — ведь появление Кренца оказалось полной неожиданностью.

Что ж, сказал себе Канарис, будем считать, что на сей раз, в своем втором исполнении, операция «Каин» не удалась; тем не менее о ней как о шпионской классике в Европе будут помнить до тех пор, пока хотя бы в одной стране будет существовать разведка.

\* \* \*

Впрочем, и эта встреча со следователем теперь уже была в прошлом. Как ни старался Канарис уберечь себя ото сна, все же в какое-то время он уснул, словно бы впал в забытие. И вот теперь, вновь придя в себя, встревоженно посматривал на посеревшее тюремное окно, в котором зарождались первые проблески рассвета.

«Только не поддавайся панике, — сказал себе адмирал. — Сейчас ты должен вести себя так, как подобает капитану тонущего корабля: достойно встретить смерть, подавая пример мужества и силы воли всей команде. Положим, команды здесь не предвидится, зато наверняка будут генерал Остер и пастор Бонхёффер, а еще — палачи, доктор, представители суда, да и просто желающие поприсутствовать на казни самого адмирала Канариса.

И помни: уже сегодня вся верхушка рейха, весь высший состав СД и гестапо во всех подробностях будут знать о том, как Канарис вел себя перед казнью, что сказал на эшафоте; хватило ли у него духа умереть, как подобает бывшему шефу абвера, моряку, а главное, адмиралу».

Надев китель, Канарис старательно застегнул его на все пуговицы, попытался разгладить складки на груди, одернул полы.

Кренц что-то там говорил о том, что его будут казнить по-особому, каким-то исключительно жестоким

методом. Но это не должно сломить его, это вообще уже не имеет никакого значения. Для разведчика поход на эшафот — то же самое, что выход на сцену Выход, к которому он должен готовиться в течение всей своей шпионской карьеры. Правы самураи: «Вся жизнь воина — это всего лишь приготовление к смерти». Только бы не заставили снять мундир! Единственное, чего он сейчас панически боялся, — чтобы его не лишили мундира. Пока на нем мундир — он солдат, а значит, и умирать обязан по-солдатски.

«Вспомни, — сказал он себе, — как вела себя во время казни где-то там, под Парижем, Мата Хари». Поцеловала сопровождавшую ее монахиню, улыбнулась офицеру и помощнику прокурора, благословила солдат, которые через несколько минут должны были расстрелять ее. Кстати, попал в нее только один из команды, остальные выстрелили мимо. Очевидно, в этом тоже проявляется уважение к мужеству.

## 29

... Первым увели на казнь генерала Остера. Канарис слышал, как охранник прокричал: «Осужденный Остер, на выход! Пришло время ответить за свое предательство!» Оскорблять обреченного на казнь — самое последнее дело, самый большой грех на душу; это было известно всем тюремщикам и во все века. Тот, кто обречен предстать перед судом Божьим, человеческому осуждению уже не подлежит.

Когда обреченного вели мимо его камеры, адмирал прислонился к двери: вдруг генерал решит что-либо крикнуть ему на прощание. Однако тот прошел молча. «...И правильно, — смирился с таким поведением своего начальника штаба бывший шеф абвера. — Какой смысл в этих криках, которые всегда воспринимаются и

другими обреченными, и конвоирами как предсмертные вопли души? Умирать нужно достойно».

Конвоиры вернулись на удивление быстро — не прошло, наверное, и двадцати минут. Канарис отступил от двери, одернул китель и, вскинув подбородок, приготовился встретить их, как подобает морскому офицеру; но оказалось, что «обер-предателя рейха», как назвал его когда-то Кальтенбруннер, палачи оставили напоследок. Очевидно, для того, чтобы на казнь он шел уже мимо трупов своих товарищей. Что ж, момент устрашения присутствует во всех казнях, особенно когда речь идет о дезертирах и...

Произнести слово «предателях» адмирал так и не решился, даже мысленно.

А вторым во двор тюрьмы повели пастора Бонхёффера. Следует полагать, как можно хладнокровнее подумал Канарис, что сегодня они ограничатся казнью только «группы Канариса». Так и будет сообщено во всех служебных донесениях, а также по Берлинскому радио и в газетах. Если только в Берлине еще выходит хотя бы одна газета.

Увидеть бы, что произойдет с этим городом и этой страной через месяц-полтора, со смертной тоской в душе подумал Канарис. И ведь всего каких-нибудь полтора месяца! Но если счет жизни пошел на минуты, они тоже кажутся вечностью.

Адмирал уже знал, что, несмотря на пытки, которые применяли во время допросов к этому упрямцу пастору, ничего существенного гестаповцам он так и не поведал. Хотя мог бы. Кренц сам как-то проболтался, что на допросах пастор «пока что упрямствует и, вместо того чтобы, подобно весьма кстати разговорившемуся генералу Остеру, сыпать интересующими следствие фактами, предпочитает сыпать разве что цитатами из Святого Писания и словами молитв», да все норовит

отпустить следователю и всем прочим палачам грехи, нынешние и будущие.

Следователь Кренц, правда, говорил об этом спокойно, даже с легкой иронией, но все равно пригрозил, что в конце концов выбьет из него эту религиозную дурь. Только удалось ли?

Впрочем, возможно, следователь и не проболтался, а умышленно допустил утечку информации, главной сутью которой было не молчание пастора, а непростительная — «подобно весьма кстати разговорившемуся генералу Остеру» — болтливость генерал-майора. То есть он давал знать заключенному Канарису, что многое из того, что тот считает тайным, уже давно стало явным. Но что за этим стояло: стремление сломить волю адмирала или же, наоборот, предупредить его, чтобы он был готов к неудобным, губительным вопросам судей?

— Благослови вас Господь, господин адмирал! — едва донесся до слуха Канариса приглушенный, дрожащий голос пастора.

— И вас — тоже, пастор! — прокричал в ответ адмирал.

— Бог всех нас рассудит: и жертв, и палачей!

«После этой войны, — мысленно ответил ему экс-шеф абвера, — Господу придется хорошенько попотеть, чтобы разобраться, кто же в ходе ее выступал в роли палача, а кто в роли жертвы. Причем особенно трудно Ему придется решать это в случае с нами, абверовцами. Как, впрочем, и с гестаповцами, которым изначально уготовано место в аду».

Канарис вдруг почувствовал, что готов выйти и присоединиться к пастору. С ним, почему-то решил он, идти на казнь было бы легче. И тут же поймал себя на мысли: «А ведь страха нет! Какого-то особого, парализующего страха не возникает. Да, есть волнение. Но это естественно». Неестественным оказалось другое:

адмирал вдруг открыл для себя, что готов идти на казнь уже сейчас, в эту минуту. Тягостным казалось само ожидание этого «выхода на сцену». Ждать больше не имело смысла, да и не хотелось.

Когда-то он удивился настойчивости одного заключенного, бывшего морского офицера, который сначала упрашивал судью, а затем забрасывал прошениями прокуратуру и тюремное начальство, добиваясь, чтобы ему заменили двадцатилетний срок тюремного заключения смертной казнью. Канарис специально устроил себе встречу с ним, чтобы выяснить: блефует он, куражится или же в самом деле готов идти на казнь. Это был длинный разговор по душам. Оказалось, офицер этот в самом деле предпочел бы схлопотать расстрельную пулю. Тюремная жизнь никакой ценности для него не представляла.

...Как только захлопнулась дверь блока, Канарис по привычке потянулся к левому запястью, чтобы взглянуть на часы, которые у него давно отобрали. Теперь, по его прикидке, до выхода из камеры оставалось около двадцати минут. А до восхождения на эшафот — около получаса.

«До восхождения на эшафот! — мрачно ухмыльнулся Канарис этой мысли. — Много всяких восхождений у тебя случалось, адмирал: по чинам, по должностям... Но кто бы мог предположить, что в конечном итоге все завершится вот таким вот предрассветным восхождением на эшафот? А главное, что казнить тебя будут свои же... Судьба, якорь ей в брюхо!»

Этими же словами в свое время Канарис встретил и весть о казни Маты Хари. «Да, Мата Хари... Не исключено, что это она, становясь к стенке, и прокляла тебя на такую же, палачом начертанную судьбу».

Адмирал вспомнил ее прекрасное личико, по-восточному угловатые плечи, крепкие, не по-женски



мускулистые ноги профессиональной танцовщицы. Как-никак, это была единственная женщина, которая по-настоящему любила его. Да что там «по-настоящему»! Единственная из всех, которая просто хоть как-то любила его. Мог ли Канарис предположить, что последние минуты своей жизни он полностью посвятит воспоминаниям об этой женщине?!

А ведь черт возьми! Маргарет, хрупкая женщина, дочь шляпника из какого-то провинциального голландского городишка — и вдруг такая слава; еще при жизни, и даже после смерти...

«Нет, Вильгельм, — молвил себе обреченный, — тебе такой славы не выпадет. А жаль. Впрочем, кто знает...»

...Сколько лет прошло с тех пор, а подробности ее последнего «выхода на сцену со смертельным номером» по-прежнему пересказывают как романтическую легенду о последних минутах храброй и мужественной разведчицы Маты Хари. Правда, знающие люди обязательно завершают изложение этой легенды прозрачным намеком на то, что в руках французской контрразведки Мата оказалась только потому, что ее предательски сдал агент-двойник Канарис. Однако вряд ли кому-либо удастся доказать это, да и вообще теперь это уже неважно. И потом, сколько можно? Он, адмирал Канарис, и так уже достаточно покопался по этому поводу — и в слухах, и в своей собственной совести.

«...Так неужели ты думаешь, — вернулся Канарис к тому самому важному, — с чем должен будет взойти на эшафот и сойти с него в вечность, что твое поведение во время казни и твои последние слова останутся забытыми, неосмысленными, не облеченными в пересказы, домыслы и легенды? Нет, не тот ты теперь человек, адмирал Канарис, чтобы уйти с эшафота незамеченным. Так что бодрись и мужайся. Тебе еще в

какой-то степени повезло, что казнят тебя как личного врага этого преступного негодяя Гитлера, а не как его сообщника».

Адмирал всегда считал, что перед казнью время пролетает убийственно быстро, но сейчас оно словно бы остановилось. Во всяком случае, прошло значительно больше тех двадцати минут, что отделяли выход из камеры пастора от выхода генерала Остера. Как ни странным это казалось, Канарис вновь и вновь ловил себя на том, что задержка внутренне тяготит его, что он в одинаковой степени и боится своего восхождения на эшафот, и с нетерпением ожидает его. Наверное, так и в самом деле чувствует себя актер перед первым — или последним, завершающим в его артистической карьере, — выходом на сцену.

Он вспомнил жену Эрику. Эта женщина никогда не любила его — в лучшем случае терпела, хотя в душе всегда и за все презирала. Всегда и за все — даже за то, за что всякая другая женщина, а тем более жена, гордилась бы — вот в чем дело! Тем не менее она была прекрасной скрипачкой и пианисткой, в душе которой, возможно, умирала талантливая актриса. Уж кто-кто, а она оценила бы этот его выход. Если бы только сумела хоть на несколько минут погасить в себе презрение «к этому ничтожному Маленькому Греку».

Иное дело дочери. По ним он действительно истосковался. Впрочем, они появлялись в его воспоминаниях уже не раз, так что ни к чему сейчас эти излишние сантименты.

Публика оказалась немногочисленной. Лица присутствовавших на казни офицеров скрывала серость утра и сумеречность замкнутого тюремного двора, за обводом которого располагался сам концлагерь Флоссенбюрг, с его бараками для заключенных, казармой охраны и всевозможными хозяйственными постройками.

«Публика на это представление, прямо скажем, не повалила, — пытался адмирал сохранить остатки мужества и стойкости. — Бенефис не удался, это уже ясно. Вопрос лишь в том, для кого он не удался: для тебя, актера-висельника, или для них, палачей-устроителей? Скорее всего, для них, — обвел он снисходительным взглядом нескольких офицеров и солдат охраны, рассредоточившихся по небольшому тюремному дворику — К тому же, кажется, ни одного известного почитателя твоего таланта здесь не наблюдается. Как, впрочем, и ни одного истинного «театрала»».

Канарис и не пытался всматриваться в их лица, выражения которых его уже не интересовали. Пусть лучше они всматриваются в выражение его собственного лица — лица гладиатора, идущего на смерть.

Зато по-настоящему его взгляд остановился на двух грубо сколоченных, неприкрытых ящиках — неких жалких подобиях гробов, в которых уже покоились тела генерала Остера и пастора Бонхёффера. Похоже, что гробовщики специально выставили их таким образом, чтобы путь обреченного к эшафоту пролегал между ними. Однако на адмирала этот прием психологического давления не оказал. «Не

подействовал этот прием — вот в чем дело, господа устроители висельнического представления!»

...Так что там сделала Мата Хари перед казнью? Ах, да, поцеловала сопровождавшую ее монахиню, призывно улыбнулась офицеру и помощнику прокурора и благословила стоявших с ружьями у ног солдат расстрельного отделения.

Что ж, монахиню он, возможно, и сам был бы не прочь поцеловать, на прощание. Окажись она, к тому же, не слишком перезрелой. Но поцеловал бы лишь как женщину. Все остальное — улыбки и благословения — здесь явно не проходят. «Не из вашего это репертуара, адмирал! — как любила говаривать в подобных случаях сама Маргарет Зелле, она же Мата Хари. — Не пытайтесь вторгаться в чужую роль!» А что, справедливое замечание. Впрочем, именно это он и пытался делать в свои последние дни: вторгаться в ее актерскую судьбу, в отведенную ей судьбой-режиссером роль. Знала бы эта, некогда им завербованная и им же преданная и проданная агент Н-21, как своим поведением перед казнью она вдохновляет кумира и учителя в эти последние часы его сумбурной жизни!

Правда, ему обидно было, что Маргарет Зелле, его Мату Хари, французы все же расстреляли, то есть казнили как бы по-солдатски, а его, боевого офицера, адмирала, свои же германцы вешают, как разбойника с большой дороги или неудачливого пирата. Его, адмирала Канариса, — как пирата! Несправедливо, якорь им в брюхо! Обидно и несправедливо.

— На эшафот, предатель, на эшафот! — фальцетно сорвался чей-то незнакомый голос — возможно, начальника лагеря, который нередко сам руководил казнями важных осужденных.

— К чему такая спешка, офицер? — Канарис так и не понял, произнес ли он эти слова вслух или же молвил их

мысленно.

— Ты-то наверняка рассчитывал, что фюрер помилует тебя! На самом же деле фюрер потребовал казнить тебя, как самого страшного врага рейха, со всей возможной жестокостью!

Только теперь адмирал осознал, что он и в самом деле остановился у лесенки, ведущей на виселицу. Не из страха перед казнью, а только потому, что задумался, что сознание его на какое-то время попросту отключилось.

«О, да! — мелькнуло в сознании адмирала. — Лучше бы ты не приходил в себя, а по-прежнему пребывал в спасительной прострации»:

Запрокинув голову, Канарис обратил внимание, что палач, плечистый коротышка, неуверенно передвигавшийся на своих то ли ревматически полусогнутых, то ли искалеченных на фронте ногах, возится с какой-то слишком уж странной петлей.

Медленно поднимаясь по ступеням, Канарис все напряженнее всматривался в нее, пока, наконец, не понял, что на самом деле это не обычная веревочная петля, наподобие той, что валялась на краю помоста и с помощью которой, очевидно, были удушены двое предыдущих заключенных, а пока еще расстегнутый металлический ошейник!<sup>[64]</sup>

«Так вот на какую особенно мучительную казнь намекал оберштурмбаннфюрер Кренц! — сказал себе адмирал. — Даже трудно представить, насколько тягостной и болезненной будет твоя смерть. Кстати, где он сам? Взял бы уж на себя и роль палача, воспринял бы ее как плату за исключительное усердие на допросах».

— По приговору Народного суда!.. — начал зачитывать кто-то из присутствовавших, однако Канарис старался не слушать его. Зато, наконец, сумел различить фигуру следователя Корнелия Кренца; тот

стоял чуть в сторонке от остальных, нервно сомкнув на животе пальцы в кожаных перчатках.

Странно, что Кренц решил присутствовать на казни, следователи этот обряд обычно избегают. Что там сейчас творится у него в душе и в мозгу? Сожалеет о том, что слишком рьяно доводил Канариса до смертного приговора? Вряд ли. Исполнительный служака — только-то и всего! «А вот что его на самом деле привело в мою камеру — стремление провести предсмертный допрос или желание хоть как-то искупить свою вину перед смертником, — так и не объяснил. Впрочем, это уже не столь важно».

— ...Учитывая исключительную тяжесть совершенных им преступлений, адмирала Вильгельма Канариса, лишив всех чинов и наград, — пробились до его сознания последние слова эшафотного обвинителя, — казнить как врага и предателя рейха!

— Я не предатель! — собрав остаток физических и душевных сил, попытался прокричать адмирал, уже ощущая на своем затылке крепкую пятерню палача-коротышки, не пожелавшего скрывать свое лицо под традиционной маской. — Я не предатель! — крикнул он чуть громче, хотя и в этот раз слова его расслышали далеко не все присутствовавшие. — Как истинный германец, я всего лишь исполнял свой долг перед родиной!<sup>[65]</sup>

Что прокричать эти слова пафосно, с артистизмом у него не получилось — понять адмирал успел. А еще — успел с глубочайшим оскорблением и ужасом возмутиться: «Что ж вы берете меня, адмирала, на металлический ошейник, как бешеную собаку?! Что ж вы со мной так вот?!»

Тела всех троих казненных еще только сжигали на костре, разложенном во внутреннем дворе лагерной тюрьмы,<sup>[66]</sup> а Кренц уже спешил связаться по телефону с Генрихом Мюллером:

— Господин группенфюрер, докладываю: возмездие свершилось!

— Вы действительно уверены, что оно, это возмездие, свершилось? — рассеянно спросил шеф гестапо.

— Простите, группенфюрер... — не понял его Кренц. — Вы... сомневаетесь в том, что..?

— ...Что этот каналья абвер-адмирал казнен? Как можно? Что-что, а Народный суд у нас работает преданно и безотказно, даже после гибели незабвенного Роланда Фрейслера.<sup>[67]</sup> Хотя некоторым казалось, что после казни, совершенной над ним американскими пилотами, германское правосудие развалится.

— В таком случае, еще раз простите, группенфюрер, но...

— Будет вам без конца, подобно провинциальному интеллигенту, извиняться. Как офицер гестапо, которому приходилось длительное время работать с врагами рейха, вы, полицейский Кренц, должны были бы знать, что казнить преступника — еще не значит совершить надлежащее ему возмездие. Порой они несоразмеримы.

— Но, выполняя ваше распоряжение, я лично присутствовал при казни и могу засвидетельствовать...

— Ну, допустим, вы сами рвались во Флоссенбург, — проворчал Мюллер. — Я всего лишь дал согласие на вашу поездку и на последнюю встречу с адмиралом.

— Но рвался я туда исключительно в интересах дела. Что же касается казни Канариса, то, в отличие от казни генерала Остера и пастора, проведена она была со всей возможной жестокостью: железный ошейник, медленное удушение и все прочее... Агония адмирала...

— Меня не интересуют подробности его агонии! — сорвался Мюллер. — Что вы заладили, Кренц?!

— Просто я помню ваши наставления по поводу способов ужесточения...

— Ужесточения требовал не я, а Кальтенбруннер! — буквально прорычал Мюллер. — Вы слышали меня, Кренц, его требовал обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер! И, следует полагать, что при этом он исполнял волю самого фюрера, — тотчас же подстраховался он.

— Значит, мне не следует излагать подробности казни в специальном рапорте? — следовательно оставался верным своей профессиональной занудности. — Или же стоит составить его так, чтобы..?

— ...Меня больше интересует другое, — не желал выслушивать его уточнения Мюллер. — С чего это вдруг вы, Кренц, попытались выступить в роли пастора?

— Меня проще назвать безбожником, нежели пастором.

— До сегодняшнего дня мне тоже так казалось. Но слишком уж долго вы «исповедовали» своего адмирала.

— Обычная беседа следователя с заключенным, — огрызнулся Кренц, с опаской поглядывая на появившегося в приемной коменданта лагеря, штурмбаннфюрера Нортюнга. За то недолгое время, которое Кренц провел во Флоссенбюрге, один из подчиненных Нортюнга выдал ему жестокую правду: немцев этот пятидесятилетний комендант-шведогерманец, с грубым и властным лицом вождя викингов, ненавидел с тем же испепеляющим презрением, с каким ненавидел русских и евреев. Но



при этом всегда оставался на короткой ноге с Мюллером.

Остановившись в двух шагах от Кренца, шведогерманец несколько раз качнулся на носках сапог и взглянул на него с саркастической ухмылкой.

— А что касается возмездия... — не ведал страхов своего подчиненного шеф гестапо. — Предательство рейха действительно следует наказывать смертной казнью, но не только. Не нужно забывать еще и о казни дискредитацией и забвением.

— Казни дискредитацией? — меланхолически пробормотал Кренц.

— И забвением, Кренц, — со все с той же нагловатой ухмылкой подсказал ему комендант, давая понять, что прекрасно знаком с характером подобных наставлений, — и забвением.

— Смысл возмездия, которое должно постигать предателей такого ранга и такой известности в народе, заключается именно в этом, — продолжал философствовать Мюллер, — в полной дискредитации и в полном забвении.

— Поучительная мысль, — вынужден был признать Кренц.

— С этим убеждением вы и должны немедленно сесть в самолет, чтобы прибыть в Берлин, пока еще представляется такая возможность. Он ждет вас на аэродроме, Кренц, это уже обусловлено. Тот же самолет, которым вы прибыли в Мюнхен. Не советую терять ни минуты. Всё!

Мюллер повесил свою трубку, а Кренц еще несколько мгновений держал свою на весу, словно надеялся, что она вновь отзовется голосом столь же сурового, сколь и коварного шефа.

Если бы Корнелий Кренц пытался быть честным перед самим собой, то признал бы, что Мюллер прав: он действительно рвался сюда, в Мюнхен, в Баварию. Но

вовсе не для того, чтобы провоцировать адмирала на покаянные исповеди предателя. Суд над Канарисом служил всего лишь поводом для того, чтобы вырваться из Берлина, который вот-вот окажется в осадном положении.

— Как и следовало ожидать, Мюллер требует вас в Берлин? — поинтересовался Нортюнг, когда следователь, наконец, распрощался с трубкой.

— Вы, как всегда, проницательны, штурмбаннфюрер.

— «Проницательный» — это в данном случае не обо мне, это о «гестаповском мельнике», — уточнил комендант. — У вас еще есть время подумать об этом и по дороге до аэродрома, и в воздухе. Но хотел бы предупредить, что вы единственный человек, который знает теперь о Канарисе даже больше, чем знал о себе сам адмирал.

— И что из этого следует?

— В наше время это крайне опасно.

— Намек на то, что меня тоже могут убрать?

— Я в своих предположениях так далеко не заходил, — пожал борцовскими плечами шведогерманец, — но ошейник адмирала на всякий случай сохраню.

— А вы, Нортюнг, храбрец! — окрылся следователь гестапо. — Решили, что можете позволять себе даже такие намеки?

— Просто не хочу потом брать за горло местных кузнецов, которые давно — даже престарелые — мобилизованы на заказы для фронта.

— Опасность сейчас представляю не я, а дневники Канариса.

— Уже не представляют, — повертел головой комендант. — Сейчас они у Кальтенбруннера, а это значит, что начальник Главного управления имперской безопасности уничтожит их, как только...

— ...Как только вы доложите ему о казни адмирала, — попытался угадать Кренц.

— ...Как только лично выудит из них все мыслимые связи адмирала-предателя с другими заговорщиками и неблагонадежными, — теперь в словах Нортюнга прозвучала уже неприкрытая угроза. — Но будем надеяться, что вас, лично вас, обер-штурмбаннфюрер Кренц, это никоим образом не коснется.

— Мои связи с адмиралом Канарисом?! — воинственно осклабился следователь. — Это ж кому могло прийти такое в голову?

Вместо ответа Нортюнг открыл входную дверь.

— Вам нельзя терять ни минуты, оберштурмбаннфюрер, — произнес он уже вслед гестаповцу. — Машина подана, двое моих охранников будут сопровождать вас вплоть до посадки в самолет.

— Стоит ли отрывать от дела сразу двух охранников? — лукаво поинтересовался Кренц, бегло взглянув на двух верзил, очень смахивающих на отпетых уголовников, которых местные власти теперь охотно вербовали в лагерные надсмотрщики. Не оставалось сомнений, что эти громилы будут не охранять его, а конвоировать, дабы в дни военной агонии рейха он не вздумал затеряться где-нибудь в предгорьях Альп.

— Стоит, Кренц, стоит! Хотя не вам это решать! — неожиданно взъярился комендант лагеря. — И не теряйте времени, вас ждут в Берлине.

— Ну, смотрите, сами жаловались, что людей у вас слишком мало, да и тех грозятся отправить на фронт.

— Не волнуйтесь так, Кренц! Ради выполнения приказа Кальтенбруннера я готов отдать для вашей охраны последних своих людей. Как носитель сведений, полученных от шефа абвера, вы для всех нас теперь неоценимы, — мстительно заверил его Нортюнг.

В течение всей поездки на полевой аэродром, находившийся в двадцати километрах от лагеря, да и потом, уже перед самой посадкой, томясь в ожидании пилотов, которые по каким-то причинам задерживались, охранники так и не произнесли ни слова. В их присутствии Кренц чувствовал себя жертвенным бараном, которого велено торжественно, ритуально доставить до места жертвоприношения. У него и в самом деле время от времени возникало желание бежать из-под их охраны в так манившие его сейчас весенние горы. Даже момент выдался удачный — когда над аэродромом появились два звена союзных бомбардировщиков.

«А ведь на твоём месте Скорцени наверняка воспользовался бы такой возможностью и скрылся, — с презрительным укором молвил себе Кренц, у которого всегда хватало мужества ловить себя на проявлениях нерешительности, а то и откровенной трусости. — Ты и впрямь слишком много знаешь теперь, чтобы начальство позволило тебе оставаться в живых».

Однако насладиться самоистязанием ему не дали. В комнатке для важных персон, в которой он ожидал вызова на летное поле, появился какой-то обер-лейтенант и выдал сразу два сообщения: первое — что летчики уже в самолете и ждут его; второе — что его требуют к телефону из приемной Мюллера.

— Как оказалось, Кальтенбруннер тоже желает видеть вас, Кренц, — без лишних слов сообщил ему адъютант шефа гестапо.

— И что из этого следует?

— А то, что сначала вы все же должны побывать у группенфюрера.

— Естественно.

— Не так уж и естественно, — назидательно обронил адъютант, — если учесть, что из приемной обергруппенфюрера Кальтенбруннера уже дважды интересовались, когда именно вы прибудете в Берлин. Поэтому в ваших интересах, Кренц...

— В этом вы меня уже убедили.

— Даже постараюсь организовать для вас машину, хотя теперь это непросто...

— Буду вспоминать о вас как о благодетеле.

Адъютант что-то проворчал в трубку, а затем негромко произнес:

— Не нужно обладать большой фантазией, Кренц, чтобы предположить, с какой «признательностью» все вы будете вспоминать о бедном адъютанте самого шефа гестапо.

— Не сомневаюсь, что о нас обо всех будут вспоминать с такой же «признательностью», — успокоил его Кренц.

«Интересно, — подумал он, — приставят ли ко мне на берлинском аэродроме точно таких же уголовничков?»

Первое звено вражеских самолетов пронеслось мимо машины, в которой находился Кренц, минут через десять после того, как она поднялась в воздух.

— На Мюнхен пошли! — прокричал на ухо следователю оказавшийся рядом с ним полковник артиллерии. — Причем обратите внимание: в воздухе ни одного нашего самолета, да и зениток тоже не слышно.

— Они встретят англо-американцев на подходе к Мюнхену, — сквозь зубы процедил оберштурмбаннфюрер. — И давайте прекратим эти рассуждения.

Второе вражеское звено проходило значительно ближе к ним, однако их перехватили два германских штурмовика. Но, как и после первой встречи, Кренц

почему-то пожалел, что ни один из вражеских самолетов не обстрелял их. Вдруг это нападение завершилось бы вынужденной посадкой где-нибудь в предгорьях Франконского Альба?<sup>[68]</sup> Но в этот день Кренцу чертовски везло, хотя он все еще не был в этом уверен.

— И какого же характера задушевные разговоры с Канарисом вы там, во Флоссенбюрге, вели в ночь перед казнью? — еще с порога оглушил его своим любопытством Мюллер. — Не отмалчивайтесь, Кренц, не отмалчивайтесь!

— Я готов составить подробный рапорт.

— При чем здесь рапорт, Кренц? Задушевные разговоры с самим адмиралом Канарисом всю ночь напролет, в последние часы и даже минуты перед казнью... Это уже даже не доклад шефу гестапо, а захватывающие мемуары.

«Неужели камера прослушивалась, и «гестаповскому мельнику» успели донести смысл нашей с Канарисом беседы? — мелькнуло в голове Кренца. — Хотя все может быть... Русские и союзники уже под Берлином, а, поди ж ты, служба слежки и доносов продолжает действовать безотказно!»

— По существу, это был еще один допрос, — солгал обер-штурмбаннфюрер. — И не в течение всей ночи, а какое-то совершенно непродолжительное время.

— Допрос, говорите, Кренц? А я уж подумал, что вам захотелось побывать в шкуре того несчастного римского монаха, которого в свое время Маленький Грек задушил в камере смертников прямо во время исповеди, чтобы затем бежать из тюрьмы в его одеянии. Только поэтому позволил коменданту лагеря разрешить вам посетить адмирала, — мрачно сыронизировал обер-гестаповец рейха.

— Задушил монаха?! — удивленно переспросил Кренц. — Он действительно задушил некоего монаха и таким образом сумел бежать из римской тюрьмы? Это реальный факт или одна из абверовских баек?

— Вы что, впервые об этом слышите?! — не меньше него удивился Мюллер.

«Так вот почему по телефону Мюллер спросил, не стремился ли я уподобиться пастору или что-то в этом роде!..» — только теперь понял Кренц истинный смысл этой загадочной фразы шефа гестапо.

— Нечто похожее слышать приходилось, но я не связывал это с Канарисом. Очевидно, это происходило очень давно, — уже явно оправдывался оберштурмбаннфюрер. Не знать о таком факте из биографии адмирала было явным его проколом как следователя. — В деле Канариса, которое мне вручили, об этом ничего не говорилось.

— Потому, что в вашем деле содержались материалы, которые компрометировали адмирала, а не те, которые могли свидетельствовать в его пользу.

— Я же, в свою очередь, тоже интересовался только теми событиями, которые в основном были связаны с заговором против фюрера. Ну, еще с передачей сведений о готовящемся наступлении наших войск на Голландию, новейшими связями руководителей абвера с разведками союзников, а также с передачей агентами абвера денег тем евреям, которых сами же они, спасая от истребления, переправляли в Швейцарию. Вам хорошо известно, о ком именно идет речь... [\[69\]](#)

— Понятно, Кренц, понятно, — нетерпеливо, нервно прервал его Мюллер. — История и в самом деле давняя. Но вас-то интересовали подробности участия адмирала в июльском заговоре против фюрера, разве не так?

Подобная реакция шефа гестапо Кренца ничуть не удивила. Как ни странно это выглядело, однако точно

так же его прерывали все, с кем Кренц пытался заговорить о «еврейском предательстве Канариса». Хотя было понятно, что еще в то время адмирала следовало арестовать или, по крайней мере, лишить должности начальника абвера, да и саму эту службу тщательно прошерстить.

Однако дело не в этом; выслушав замечание шефа гестапо, Кренц вдруг со всей отчетливостью вспомнил и то, как по-лисьи приближался к нему адмирал во время завершения встречи в камере смертников, и каким хищным было выражение его лица, и как нервно он вытирал о бока кителя свои вспотевшие от волнения руки... Неужели действительно готов был напасть?! Даже несмотря на то, что дверь камеры оставалась приоткрытой, а по ту сторону находился охранник-эсэсовец? Невероятно! Так, может, только присутствие охранника и остановило его? Хотя что ему, приговоренному к повешению, было терять?

— Когда человеку уже известны и приговор, и время казни, то есть терять ему уже нечего, он может позволить себе оставаться откровенным, — окончательно прояснил Кренц причину своего появления в камере адмирала.

— Согласен, может позволить... Но только не Канарис.

— Адмирал и в самом деле был слишком шокирован жестокостью суда и тем фактом, что с ним все же намерены окончательно расправиться.

— А на что он рассчитывал?! — изумился Мюллер. — Нет, действительно, чего он ожидал от нас?

— Судя по всему, надеялся, что ему позволят дожить до капитуляции Германии.

— Ему, бывшему шефу абвера?! — по-лошадиному заржал Мюллер. — Нет, Канарис не мог рассчитывать на это. Только не Канарис! Иначе как он мог в течение многих лет возглавлять лучшую разведку мира?



— Тем не менее адмирал был почти уверен, что фюрер ограничится его заключением в лагерь, и даже питал иллюзии по поводу того, что в руки англо-американцев он попадет уже в тоге одного из руководителей антигитлеровского заговора, эдакого бунтовщика.

— Я всегда считал, что Канариса погубила не его ненависть к рейху, — постучал пальцами по столу Мюллер, — а его исключительная наивность.

«А ведь только что ты был о нем иного мнения!» — заметил про себя Кренц, однако вслух произнес:

— Вы правы, группенфюрер: его иллюзии проскальзывали буквально во всем — в наводящих вопросах, в высказываниях, в оценках ситуации внутри Германии и на фронтах.

Мюллер долго, грузно оставлял свое кресло; затем, словно уставший крестьянин по свежей пахоте, прохаживался по кабинету.

— Все, что вы слышали от Канариса, должно быть изложено в письменном докладе, — наконец произнес он, останавливаясь по ту сторону стола. — Самым подробнейшим образом.

— Но сразу же замечу, что во время этой беседы не проскальзывало ничего такого...

— Самым подробнейшим образом, — прервал его Мюллер. — Мы сами в состоянии решить, что «такого» проскальзывало в его ответах. Тем более, — хитровато ухмыльнулся он, упираясь кулаками в поверхность стола, — что никто не в состоянии проверить правдивость ваших слов, поскольку адмирал уже мертв. Зато, увидев у себя на столе ваш отчет, обергруппенфюрер вспомнит, что теперь у него есть дела поважнее, нежели предсмертные стенания Канариса. И молитесь Богу, Кренц, — проникся суровостью голос шефа гестапо, — чтобы именно так он и решил.

— Через полчаса отчет будет на вашем столе, группенфюрер.

— Оставьте его у адъютанта, — холодно обронил Мюллер. — Уверен, что дополнительных вопросов не возникнет, но на всякий случай подождете в приемной. Сейчас последует мой доклад Гиммлеру. Что касается Кальтенбруннера, то с ним мы поговорим уже после того, как вы составите свой доклад.

Об умении Мюллера так, на всякий случай, томить своих сотрудников в приемной, известно было во всех управлениях РСХА. Как и о том, что нередко шеф гестапо попросту забывал о ждущих и томящихся. Но на сей раз Кренцу пришлось смириться.

— С вашего позволения, господин группенфюрер, я составлю его прямо сейчас, в вашей приемной.

— Вы уже должны были сидеть в приемной и составлять его, Кренц.

\* \* \*

Кальтенбруннеру обер-гестаповец действительно принялся звонить сразу же, как только пробежал взглядом отчет Кренца.

— Как мне представляется, обергруппенфюрер, ничего нового из предсмертных откровений адмирала мы с вами не узнаем.

— И не должны были узнать.

Удивленный столь неожиданной реакцией, Мюллер запнулся на полуслове, но затем все же попытался продолжить свой доклад:

— Из отчета оберштурмбаннфюрера Кренца следует, что в тех материалах, которые уже имеются в деле...

— Отчет Кренца уничтожить, — решительно прервал его начальник РСХА.

— Но имеются еще протоколы допросов...

— Я непонятно выразился, Мюллер? Протоколы допросов — тоже уничтожить. Самого Кренца — на ваше усмотрение.

— Принято к сведению, обергруппенфюрер. Материалы будут уничтожены. Кроме тех дневников и прочих записей, которые вы недавно запросили, — рискованно напомнил Кальтенбруннеру шеф гестапо.

— Дневники сожжены еще час назад, — отрубил тот.

— Принято к сведению, обергруппенфюрер, — вежливо произнес Мюллер, не поверив ему.

— Они сожжены, Генрих, — словно бы уловил его сомнения Кальтенбруннер.

— Не смею усомниться в этом, — лукаво заверил его Мюллер, хотя слова его прозвучали так, словно он хотел сказать: «Ох, и сомневаюсь же я!»

— И знайте, — неожиданно окреп и прорезался голос начальника Главного управления имперской безопасности, — что общее мнение руководства таково: Канарис должен уйти из истории рейха вместе со своими заслугами и предательствами, исповедями, дневниками и воспоминаниями. Слово такого адмирала в рейхе никогда и не существовало.

*Мюнхен — Берлин — Одесса*

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

События происходят после неудачного покушения на Гитлера, осуществленного полковником графом Шенком фон Штауффенбергом 20 июля 1944 г., когда в ходе кровавых чисток в рядах генералитета прямая угроза ареста нависла над многими, в том числе и над шефом абвера адмиралом Вильгельмом Канарисом. — *Здесь и далее примеч. авт.*

Обергруппенфюрер (генерал-полковник) Шауб. Личный адъютант фюрера. После нацистского путча в ноябре 1923 г. сидел вместе с Гитлером в Ландсбергской тюрьме и поэтому до конца оставался его наиболее доверенным лицом. Именно Шаубу в апреле 1945 г. фюрер поручил вылететь в Мюнхен и уничтожить свой секретный архив, в частности, все стенографические отчеты проводимых им военных совещаний, которые хранились в Мюнхене с 1942 г.

Здесь — напоминание о том, что начальник штаба армии резерва полковник граф фон Штауффенберг пронес взрывчатку в ставку «Вольфшанце» в своем служебном портфеле, и это было справедливо расценено фюрером как серьезная недоработка охраны.

Здесь — напоминание о том, что начальник штаба армии резерва полковник граф фон Штауффенберг пронес взрывчатку в ставку «Вольфшанце» в своем служебном портфеле, и это было справедливо расценено фюрером как серьезная недоработка охраны.



Имеется в виду дивизия «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», которая считалась избранной даже среди дивизий войск СС.

Вильгельм Франц Канарис (1887–1945) — немецкий военный деятель, адмирал. Родился в г. Аплербеке (теперь это один из районов Дортмунда), в семье управляющего металлургического завода. Закончил Морской кадетский корпус в Киле. Служил на крейсере «Дрезден», командовал субмариной, занимал различные штабные должности. В 1938–1944 гг. был начальником разведывательного управления Верховного командования вооруженных сил Германии (то есть начальником абвера; в некоторых источниках его еще называют «начальником военной разведки и контрразведки»). Казнен в апреле 1945 г. как один из участников июльского (1944) заговора против фюрера.

По одной из версий, предком адмирала был один из руководителей греческого национально-освободительного движения, морской офицер Константин Канарис, возглавлявший борьбу с турецкими захватчиками в 20-е гг. XIX в. и сумевший в одной из битв разгромить турецкий флот. Родство с этим национальным героем Греции так и осталось недоказанным, а вот «греческий след» в его родословной биографы вроде бы действительно установили.

Исторический факт: несколько германских офицеров-добровольцев, которые, перед отлетом в Испанию для войны на стороне Франко, допустили утечку информации, попали в гестапо и были преданы суду.

Мата Хари, она же Маргарет Гертруда Зелле (встречается также написание: Целле, Залле, Зале, Зеле, 1876–1917), — голландка по национальности, германская и французская шпионка-«двойник». Происходила из семьи ремесленника-шляпника, из голландского городка Лауварден. Профессиональная танцовщица. Влюбившись в молодого германского морского офицера и разведчика Вильгельма Канариса, стала агентом под кодовым номером «Н-21» германской разведки. Расстреляна как германская шпионка по приговору французского суда 15 октября 1917 г. под Парижем.

## 10

Око Дня (то есть солнце) — одна из версий перевода псевдонима Маргарет Зелле, предложенной самой Матой Хари.

Еще во время следствия французскими спецслужбами было установлено, что Мата Хари действительно работала на германскую и французскую разведки, однако отрабатывала свои гонорары крайне бездарно. Что же касается якобы переданных германской разведке секретных сведений, в результате чего французская сторона будто бы потерпела ряд поражений и потеряла до 50 тысяч военнослужащих и мирных жителей, то, по одной из весьма правдоподобных версий, это обвинение было сфабриковано французской разведкой, чтобы раздуть в стране шпиономанию и отвлечь внимание прессы от поражений на фронтах Первой мировой.

Речь идет об аристократическом салоне Анны Зольф, вдовы бывшего министра колоний в правительстве императора Вильгельма II. Этот салон посещали германские аристократы, не смирившиеся с режимом национал-социалистов. Мюллеру удалось заслат в него своего агента, доктора Рексе, и 12 января 1944 г. все присутствовавшие на антигитлеровском «чаепитии» в салоне фрау Зольф были арестованы, а затем почти все приговорены к смертной казни. У фюрера и в СД существовало подозрение, что Канарис был тесно связан с некоторыми из арестованных или подозреваемых по этому делу, которые к тому же являлись агентами абвера.



Мюллера часто называли «гестаповским мюллером» (мюллер — мельник), то есть, в переводе с немецкого, «гестаповским мельником», а еще — «первым мельником» или «обер-мельником» рейха, подразумевая его служебную страсть к перемалыванию костей и душ своих подследственных.

Должность бригадефюрера (генерал-майора СС) Шелленберга в разных источниках трактуется по-разному. Официально он являлся начальником VI управления (разведки и диверсий) Главного управления имперской безопасности (РСХА) и подчинялся начальнику РСХА обергруппенфюреру Кальтенбруннеру. В других же источниках его называют «шефом политической разведки СД», или «шефом отдела разведки и диверсий СД», то есть службы безопасности СС, что по своему существу тоже верно.

Гауптштурмфюрер СС барон Адриан фон Фёлькерсам, один из ближайших соратников Отто Скорцени. Происходил из прибалтийских немцев, был крупным землевладельцем и отлично владел русским языком. В качестве командира батальона, сформированного из курсантов разведывательно-диверсионной школы, расположенной в замке Фриденталь неподалеку от Берлина, принимал участие в подавлении заговора против Гитлера в июле 1944 г. В январе 1945 г., командуя истребительным батальоном СС «Ост», погиб на территории Польши, во время разведывательного рейда, которым готовил прорыв своего окруженного красноармейцами батальона, а также нескольких других подразделений.

Речь идет об «Аненербе» («Аннербэ») — институте «Общества исследований наследия предков», основанном в 1933 г. профессором-мистиком Фридрихом Гильшером. К началу войны включал в себя 50 секретных специализированных научных институтов и лабораторий, занимавшихся «изысканиями в области локализации духа, деяний и наследства индогерманской расы». Институт находился в ведении рейхсфюрера СС Гиммлера.

Чин фрегаттен-капитана в германском Военно-морском флоте (Кригсмарине) соответствовал званию капитана второго ранга (подполковника) советского флота. А чин корветтен-капитана соответственно приравнивался к званию капитана третьего ранга.

Фенрих — кандидат на получение офицерского чина. Ими становились выпускники морских училищ, которые прибывали на судно для несения службы после выпускных экзаменов в училище, то есть при прохождении преддипломной практики.

После женитьбы Канарисы поселились в аристократическом пригороде Берлина Целендорфе. Канарис действительно множество раз устраивал своей супруге сцены ревности. В частности, одна из них, которая интерпретируется в этом романе, подтверждена многими исследователями, поскольку отголоски ее нашли свое отражение и в отрывочных, эмоциональных воспоминаниях самого адмирала, и в последовавших после их ссоры излияниях души фрау Эрики Канарис.

Реальный факт. О пристрастии Канариса к ночным визитам в камеры и избиениям заключенных знала вся правящая верхушка рейха.



Сикрет Интеллидженс Сервис (СИС) — английская секретная разведывательная служба, британский аналог абвера, агентом которой Канарис являлся с 1915 г.

К «черной знати» Ватикана принадлежат люди, являющиеся родственниками того или иного папы римского. Именно из этого круга традиционно формируется чиновничий аппарат Ватикана, его служба безопасности, банковская, дипломатическая и прочие сферы.

На волне шпиономании французский суд обвинил Маргарет Зелле (Мату Хари) в том, что она выдала разведке Германии сведения, позволившие ее войскам провести операцию, в ходе которой погибло порядка пятидесяти тысяч французских военнослужащих и мирных граждан. Именно эта, явно надуманная, как считают серьезные исследователи, цифра потерь послужила основанием для сотворения мифа о Мате Хари как супершпионке.

Есть все основания считать, что именно с помощью своего агента Элизабет Шрагмюллер Канарис «по-джентльменски» сдал Мату Хари французской контрразведке, сопроводив это «предательство во имя собственного спасения» необходимыми компрометирующими материалами.

То есть Главного управления имперской безопасности.

«Черная капелла» — кодовое название операции, связанной с антигитлеровским движением адмирала Канариса и его сообщников. По имени одной из капелл в Риме. Название это оправдывалось тем, что первую, «предательскую» в восприятии фюрера, попытку повести переговоры с англичанами о примирении Канарис предпринял как раз с использованием своей римской и ватиканской резидентуры еще в 1939 г. Именно тогда шеф РСХА Райнхард Гейдрих и завел на него «дело» под кодовым названием «Черная капелла».

Любовная связь с начальником берлинской полиции фон Яговым, породившая в начале Первой мировой войны немало сплетен в берлинских и парижских кругах, во время суда над Матой Хари стала одним из доказательств того, что она уже давно завербована германской разведкой. Тем более что суду стал известен ее гонорар (получение которого Мата Хари во время судебного допроса не только не отрицала, но и хвастливо оправдывала своими сексуальными достоинствами) — 30 тысяч марок; по тем временам сумма более чем солидная.

Англичанка Эдит Кавель была руководительницей школы медсестер в Брюсселе. По заданию английского подполковника Гиббса возглавила подпольный центр, который занимался переправкой в войска союзников бельгийских добровольцев, а также раненых или отставших от своих частей и теперь скрывавшихся в оккупированной немцами Бельгии английских и французских солдат. Когда германская контрразведка арестовала Эдит, у англичан была реальная возможность выкупить ее, но они решили, что смерть этой, уже достаточно пожилой, англичанки с пропагандистской точки зрения куда выгоднее, нежели ее побег. По приговору суда она была расстреляна.



Такие дневники действительно существовали; гестапо охотилось на них и, в конце концов, обнаружило в одном из тайников абвера. Именно эти записи Канариса послужили основным обличительным материалом при вынесении Народным судом смертного приговора адмиралу. Но об этом чуть позже...

К тому времени Шелленбергу шел всего лишь 34-й год. Известно, что приход к власти Гитлера он встретил двадцатидвухлетним юношей.

Исторический факт. Произвести арест адмирала Канариса действительно было поручено бригадефюреру СС Вальтеру Шелленбергу. Причем Мюллер приказал это в довольно грубой, требовательной форме, явно провоцируя Шелленберга на неповиновение.

Именно в таком духе и тоне состоялся в действительности Разговор между Г. Мюллером и В. Шелленбергом, что и засвидетельствовано мемуарами Шелленберга.

К верховой езде Канарис пристрастился еще в 15 лет, когда отец подарил ему верховую лошадь. Во время бегства из Чили это умение по существу спасло ему жизнь, поскольку многие километры горных дорог обер-лейтенанту удалось преодолеть только благодаря тому, что он вовремя завладел вьючной лошастью.

В германской армии не принято было щелкать каблуками, что и вызвало удивление адмирала. Эта привычка осталась у полковника как наследие от прусской воинской традиции.

Ханс Остер, генерал-майор, начальник штаба военной разведки абвера (1933-1944), заместитель Канариса. Принимал активное участие в заговоре против Гитлера. Арестован и казнен. Во время ареста в сейфе Остера были обнаружены материалы, изобличающие в участии в заговоре самого адмирала В. Канариса, что и было затем использовано при обвинении в измене бывшего шефа абвера.

Адмирал Канарис, в самом деле, был близким другом испанского диктатора генерала Франко. И, по одной из распространенных среди исследователей версий, фюрер действительно опасался, как бы арест Канариса не усилил его трения с Франко, отношения с которым и так становились все более прохладными из-за того, что испанский правитель не позволял Гитлеру полномасштабно втягивать Испанию в войну.



Карл Герделер (1884–1945) — доктор права, обер-бургомистр Лейпцига и рейхскомиссар по ценообразованию. Видный участник движения сопротивления. Использовался участниками оппозиции в качестве парламентаря в переговорах с представителями французского и английского правительств, в ходе которых, однако, никаких успехов не достиг.

Эвальд фон Кляйст-Шменцин (1890–1945). В 1929–1933 гг. возглавлял движение «Главное объединение консерваторов». После прихода к власти Гитлера долгое время держался в тени, отсиживаясь в своем поместье в Померании, затем присоединился к заговорщикам.

О своем намерении ввести войска в Судеты Гитлер объявил на совещании высшего командного состава вермахта и СС в Ютеборге 18 августа 1938 г. Генерал-полковник, начальник Генштаба сухопутных войск вермахта Людвиг фон Бек решительно выступил против этого решения и в знак протеста подал в отставку. Позднее он стал активным участником заговора против фюрера.

В 1940 г. Эрвин фон Вицлебен (Витцлебен) был произведен в генерал-фельдмаршалы и командовал группой армий «Д», а также являлся главнокомандующим войск Германии на Западе. В 1944 г. казнен за участие в заговоре против фюрера. Заговорщики рассматривали его в качестве будущего главнокомандующего сухопутными войсками Германии.

Одно время Вильгельм Хайнц являлся руководителем организации «Стальной шлем», затем, в чине подполковника, служил в отделе контрразведки Генерального штаба вермахта. Один из наиболее решительных участников заговора против фюрера, судьба которого после провала путча в июле 1944 г. остается невыясненной.

Лорд Эдуард Фредерик Вуд Галифакс (1881–1959), в свое время министр иностранных дел Великобритании. В 1940 г. был назначен послом Великобритании в США, где пробыл до 1946 г. Некоторые заговорщики были склонны обвинять лорда Галифакса в нежелании активно поддержать их, точнее сказать, продемонстрировать активную поддержку путчистам, что было очень важно для поднятия духа оппозиционеров.

Конференция глав правительств четырех стран — Германии, Англии, Франции и Италии — по вопросу о Судетах открылась 29 сентября 1938 г. в Мюнхене, в только что построенном «Доме фюрера» на Кёнигсплац. Представители самой Чехословакии для участия в конференции допущены не были. Мирное присоединение Судет к Германии действительно воспринималось многими германскими политиками как небывалый дипломатический успех фюрера. Таковым он, собственно, и являлся. Иное дело, каковы были его последствия для Европы.

Реальный факт. Жители Мюнхена слишком бурно аплодировали английскому премьеру Невиллу Чемберлену, когда тот проезжал по улицам Мюнхена. Такое поведение германцев, само зрелище подобного триумфа Чемберлена, очень огорчило фюрера, уже помышлявшего о войне против Англии. Раздраженный, он пришел к «оскорбительному» выводу, что германцы еще не готовы к настоящей большой войне, они как нация попросту не созрели для нее.



Все источники сведений о Вильгельме Канарисе свидетельствуют, что жила семья адмирала Канариса более чем скромно.

В данном случае ситуация интерпретируется, исходя из лаконичных мемуаров по этому поводу самого Вальтера Шелленберга.

Мекленбургское Поозерье — историческая область, граничащая с Передней Померанией и известная огромной россыпью мелких озер и заливных лугов.

Шеф абвера и в самом деле поражал всех тем, что «украшал» свой служебный кабинет обычной железной кроватью, позволявшей ему частенько задерживаться на работе до утра. Появление в его кабинете кровати Гитлер воспринял как чудачество, и однажды даже что-то проворчал по этому поводу, однако резкого запрета с его стороны не последовало.

Реальный факт. В телетайпограмме на имя Мюллера бригадефюрер СС Шелленберг в самом деле указал, что подробности ареста Мюллер может узнать от Гиммлера, что, конечно же, вызвало раздражение у шефа гестапо.

Такой телефонный разговор между Шелленбергом и Гиммлером действительно состоялся на следующий же день после ареста Канариса. Подробности его никогда и никем не воспроизводились, поэтому он лишь вольно интерпретируется мною. Однако сам факт разговора, как и факт ареста им Канариса, засвидетельствован в воспоминаниях Вальтера Шелленберга.

Исследователям так и не удалось с достоверностью установить, встречался ли Гиммлер с Канарисом после ареста последнего. Но принято считать, что встреча все же состоялась, поскольку адмирал не был сразу же казнен, а поначалу всего лишь отправлен в располагавшийся во Флоссенбюрге (Флоссенбурге, Бавария) концлагерь. В мемуарах Шелленберга обнаруживаем запись: «Он (Гиммлер) заверил меня, что обязательно побеседует с Канарисом. По-видимому, такая беседа имела место, так как иначе нельзя объяснить тот факт, что Канарис был приговорен к смертной казни лишь в самые последние дни перед крушением Германии».

Эскадра вице-адмирала фон Шпее состояла из тихоходных броненосных крейсеров «Шарнхорст» и «Гнейзенау», легких крейсеров «Нюрнберг», «Лейпциг» и «Дрезден», а также из нескольких вспомогательных судов. Все корабли к тому времени уже считались устаревшими, в том числе и по своему вооружению.



Свое название «Восточноазиатская» эскадра вице-адмирала фон Шпее получила потому, что перед появлением в Атлантике базировалась в Китае, в арендованной у китайцев бухте Киаочао (у Цзяочжоу), и предназначалась для защиты германских колониальных территорий.

Вооружение легкого крейсера «Дрезден» (постройки 1909 года) состояло из десяти 105-мм, четырех 57-мм артиллерийских орудий и двух торпедных аппаратов.

На крейсере «Бремен» Канарис начал службу в октябре 1907 г., после окончания Императорской морской школы в Киле и сдачи экзаменов на фенриха, то есть кандидата на чин лейтенанта Военно-морского флота. В этом же году крейсер, на борту которого в сентябре 1908 г. Канарис получил свой первый офицерский чин, участвовал в блокаде берегов Венесуэлы.

Это произошло в 1914 г., в ходе мексиканской революции 1910-1917 гг. Крейсер «Дрезден», базировавшийся в порту Веракрус, помогал тогда европейцам бежать из охваченной гражданской войной Мексики. Обер-лейтенанту Канарису удалось лично уговорить свергнутого президента страны генерала Гуэрта взойти на борт крейсера и покинуть страну, дабы, таким образом, и спасти ему жизнь, и прекратить гражданскую войну.

Агент Коршун уже стал героем романа, над которым я сейчас работаю.

Исторический факт. Гиммлер действительно до конца, демонстративно, вопреки фактам и логике старался если не защищать Канариса, то, по крайней мере, не придавать значения звучащим в его адрес обвинениям. До поры до времени это сдерживало Кальтенбруннера, Мюллера и прочих высокопоставленных недоброжелателей Канариса, а главное, позволяло Гитлеру проявлять по отношению к этому «предателю рейха» необычайную мягкость. Именно покровительство Гиммлера является самой большой загадкой сложного, уникального по своему характеру «дела Канариса».

Во время Первой мировой войны Мюллер сражался летчиком в составе 278-го германского авиаполка, где прославился своим мастерством и хладнокровием.

Такой документ, по настоянию Канариса, действительно был подписан. Его «заповедями» разграничивались полномочия и определялись формы сотрудничества между абвером, гестапо и СД. При этом Канарис решительно воспротивился внедрению агентуры гестапо в структуры абвера, чего в руководстве гестапо ему так никогда и не простили.



Канарис и в самом деле до конца яростно сражался и со следователями, и с судьей, стараясь доказать свою преданность рейху и войти в его историю невинно казненным патриотом, павшим жертвой политических интриг в верхушке агонизирующей империи. И даже свои тайные связи с разведками противника он объяснял и оправдывал исключительно заботой о дальнейшей судьбе Германии. Об этом же, кстати, свидетельствовали и его последние слова, произнесенные уже на эшафоте.

«Орденскими» монастырями принято именовать обители, которые создаются определенными монашескими или монашеско-рыцарскими орденами — госпитальеров, иезуитов, капуцинов, кармелитов и т. д.

Капитан цур зее — чин в Военно-морском флоте рейха, который приравнивается к чину капитана первого ранга (полковника) в российском флоте.

По одной из существующих версий, адмирала Канариса казнили именно повешением на металлическом ошейнике — необычным, варварским способом, и мучения его длились в течение получаса. Сохранились также воспоминания одного из присутствовавших на казни офицеров, который утверждал, что перед повешением обреченных якобы заставляли раздеваться догола, чтобы таким образом окончательно унижить их. Однако эти сведения документально не подтверждены. В то же время сохранилась запись тюремного врача, который должен был засвидетельствовать смерть Канариса. Так вот, его лаконичная запись в акте о смерти гласила: «Адмирал умер спокойно». Вопрос только в том, что за ней скрывается: то, что адмирал спокойно, хладнокровно вел себя во время казни, или же то, что смерть его была немучительной? И вообще, насколько можно верить этой записи?

Здесь цитируются последние, предсмертные слова адмирала Канариса.

Исторический факт. Тела казненных действительно сожгли во дворе тюрьмы.

Роланд Фрейслер был председателем Народного суда, который судил всех основных личных врагов Гитлера и врагов-предателей Третьего рейха. Отличался исключительной жестокостью, кровожадностью и откровенно хамским поведением во время ведения судебных заседаний. Его кровожадность порой шокировала даже верхушку рейха. В исследовательской литературе палача-фашиста, председателя Народного суда Германии Фрейслера нередко сравнивают с палачом-коммунистом, председателем Верховного Суда СССР А. Я. Вышинским, зверствовавшим во время массовых репрессий в 30-е гг. в Советском Союзе. Погиб Фрейслер незадолго до процесса над Канарисом, 3 февраля 1945 г., во время налета американской авиации, прямо в здании Народного суда.

Горный массив, находящийся на юго-востоке Франконии, неподалеку от Нюрнберга.



Кренц имел в виду историю с арестом мюнхенского агента абвера Шмидтхубера, которого еще осенью 1942 года германская таможня задержала в связи с контрабандным провозом валюты в Швейцарию. Когда Шмидтхубер убедился в том, что Канарис не стремится спасти его от правосудия, то показал, что на самом деле он как агент абвера действовал по приказу руководства этой организации, а валюта предназначалась для евреев-беженцев, которым абвер помог укрыться на территории Швейцарии. Именно этот агент назвал в качестве заговорщиков полковника (в то время еще полковника) Остера и юриста Ганса Донаньи — двух очень близких к Канарису служащих абвера.